

Вадим Шефнер. Сестра печали

1. Беспринципный щипок

В этот день последние два часа посвящались военному делу. Я мог бы и пропускать их: у меня была отсрочка по призыву из-за легких. Правда, всё давным-давно зарубцевалось, а все равно — отсрочка. Но на занятия эти я все-таки ходил, не ходить было как-то неловко: все ходят — а я рыжий, что ли? Вот и Костя ходит, а он чистый белобилетник.

Военный кабинет временно помещался в подвале техникума, в бомбоубежище, в одном из его отсеков. Мне там нравилось. Нравилась побеленные своды потолка и шершавый бетонный пол, и эти столы с ножками крест-накрест, сколоченные из необструганных досок, и легкий запах земляной сырости, смолы и ружейного масла. Все здесь было не так, как в других аудиториях техникума, все здесь было просто и определено. По стенам висели учебные плакаты. На одних — винтовка Мосина и как ее разбирать; на других — изображения полевых орудий; на третьих — ходы сообщений, разрезы окопов полного профиля. Блиндажи на этих плакатах выглядели удивительно чистыми и аккуратными — в таких бы жить да жить. А на брустверах траншей росла ровная, будто подстриженная садовником, трава. И над пулеметным гнездом, открытым у гребня холма, склонялись густолиственные деревья. Казалось, война всегда происходит только летом и только в хорошую погоду.

И лишь на одном плакате шел дождь, и небо было в рваных тучах, а деревья, видневшиеся вдаль, уже обронули листву. Плакат назывался «Час атаки». Некоторые красноармейцы еще вылезали из траншеи, а некоторые уже бежали вперед с винтовками наперевес. Они бежали к невзрачной высотке, где залег неприятель. Перед ними вставали черные столбы разрывов, но они все-таки бежали вперед. Были и убитые. Эти как-то стыдливо лежали в сторонке и казались очень маленькими по сравнению с живыми. Наверно, художнику не слишком-то хотелось помещать их здесь, но что ж поделаешь — война есть война.

Глядя на этот плакат, я иногда пытался представить себе, что я — один из этих бегущих вперед красноармейцев. Что я буду чувствовать в этот миг? Очень ли мне будет страшно? По книгам я знал, что чувствует человек, идущий в атаку, но самого себя представить этим человеком очень трудно. Тогда я начинал размышлять о том, что ведь если будет война, то для каждого из нас, сидящих в этом подвале, настанет час атаки, — кроме девушек, конечно, и кроме чистых белобилетников. А так — для всех. Для успевающих и неуспевающих, для болтливых и молчаливых, для плохих и хороших — для всех может настать час атаки. Но когда это будет — никто не знает. Может быть, мы все состаримся, а никакой войны не случится. Кто полезет на нас? С Финляндией война только что кончилась, Англии и Франции не до нас, они ведут «странную войну» с Германией. А Германия воюет с Англией и Францией — ей тоже не до нас. Правда, в Германии Гитлер, фашизм, от Гитлера всего можно ждать. Но как-никак у нас договор о ненападении.

Хоть войны и не предвиделось, военным делом занимался я с охотой, Юрий Юрьевич, преподаватель военного дела, относился ко мне хорошо. Иногда он просил меня остаться на часок после его лекции, и я оставался и помогал ему наводить порядок в его хозяйстве.

Юрий Юрьевич мне нравился. Это был суховатый, подтянутый, сдержанный человек. Иногда у него случались припадки кашля, и тогда он вставал лицом к стене, упирался в стену руками и, весь дрожа, кашлял несколько минут. Потом продолжал лекцию. Кашель этот был из-за того, что во время мировой войны Юрий Юрьевич попал в газобаллонную атаку. От роты осталось пять рядовых и один прапорщик, — вот он и был этим прапорщиком.

Юрий Юрьевич знал, что его предмет не главный. Он занимался с теми, которые сами

хотели заниматься, а хорошие отметки ставил всем. Вся разница была только в том, что к охотно занимающимся он обращался на ты, а к уклоняющимся от занятий — на вы.

В этот день лекция была обязательна и для девушек — проходили противохимическую защиту. Девушки все время болтали и пересмеивались, на них не действовала некоторая таинственность и подземная обособленность бомбоубежища. Особенно трещала Веранда Рязанцева, сестра Люсенды. Эти сестры были очень похожи одна на другую, хоть и не были близнецами. Одевались они одинаково, но характерами не походили друг на друга: Люсенда была аккуратистка, цирлих-манирлих, а Веранда — хохотушка и болтушка. Настоящее имя Люсенды было Людмила, Люся, но Костя прозвал ее Люсендой. Он утверждал, что это испанское имя, — и все подхватили. А Веру уже для симметрии кто-то окрестил Верандой, и вначале она злилась, а потом привыкла.

Противогазов хватило на всех, и по команде Юрия Юрьевича они были надеты. Группа двадцать минут молча сидела за необструганными столами на длинных скамейках, а Юрий Юрьевич громко и отчетливо, чтобы слышно было сквозь маски, толковал о хлоре, об иприте, примененном впервые на реке Ипр в Бельгии, о люизите — росе смерти и о других газах. Он говорил о том, что во время недавней финской кампании газы не применялись, но это была война локальная, местная. А в больших войнах следует ожидать от противника ОВ, и надо быть готовыми к противохимической защите.

Рты у всех были закрыты противогазами, и, когда он умолк, наступила такая тишина, будто газовая война уже прошла по всей земле, и никого на ней не осталось. Но вскоре девушки начали хихикать под масками, и Юрий Юрьевич приказал всем снять противогазы, а мне велел собрать их и сложить в шкаф. Я первым делом подошел к тому столу, за которым сидели девушки. Некоторые из них, видно, замешкались, а может быть, им просто понравилось сидеть в этих резиновых намордниках. Они сидели на скамейке спиной ко мне и смеялись под масками.

— Ну, пошевеливайтесь, девчата! — сказал я. — Эй, Веранда, гони противогаз. — И с этими словами легонько ущипнул ее пониже спины, ведь это была девчонка своякая.

И вдруг Веранда сорвала с себя маску, резко обернулась ко мне — и оказалась не Верандой, а Люсендой.

— Хулиган! Хулиган! — выкрикнула она. — Он еще издевается! — и обиженно заплакала. Все столпились вокруг нас. Подошел и Юрий Юрьевич.

— Что это такое! — строго сказал он. — Двдцатилетняя девица плачет, как малютка! Не хватает мне сырости в этом подвале!

Но Люсенда все плакала и твердила: «Хулиган! Хулиган! И за что он меня ненавидит!»

Тогда выступил вперед Костя и произнес:

— Ничего Толька тебе не сделал, чего ты к человеку прицепилась!

А добрая Веранда стала утешать сестру:

— Люська, не реви! Он думал, что это я, а я его прощаю. Улыбнись, кулема!

Все могло мирно уладиться, но тут в это дело встрял Витик Бормаковский, наш показательный общественник.

— Он совершил беспринципный щипок! — сказал Витик, указывая на меня. — Он сильно ущипнул Люсю в порядке мести и запугиванья. Это он проводит месть за то, что Люся вчера разоблачила его на политэкономии, когда он вместо слушанья лекции играл с Петровым в шахматы. Но не бойся, Люся! Наш спаянный коллектив защитит тебя от враждебных вылазок!

Некоторые зашикали на Витика, а некоторые скисли и отошли в сторонку. Витика даже и преподаватели некоторые побаивались. Хоть учился он так себе, но зато знал, кому что снится и откуда пахнет керосином. Он был членом редколлегии стенной газеты и часто сам писал в нее. Все его заметки начинались словами: «В то время как...»

Тут Юрий Юрьевич, чтобы замять инцидент, строго обратился ко мне на вы:

— Идите в соседнее помещенье и займитесь чисткой винтовок.

Он занял свое место и снова повел речь о газах, а я открыл тяжелую, обитую железом

дверь и вошел в большой соседний отсек, где виднелись широкие, похожие на банные, скамьи, где стояли фанерные шкафчики с дырочками в дверцах и поблескивал большой бак для питьевой воды с прикованной к нему на цепочке алюминиевой кружкой. Бак этот покоился на двух швеллерных балках, торчащих из стены, и казалось, что он висит в воздухе. Я открыл один из шкафчиков, вынул винтовку, потом другую, потом третью. Винтовки эти были учебными, с черными прикладами, с просверленной казенной частью, для стрельбы непригодные. И все — чистые-пречистые, — я же сам их и чистил недавно. Тогда я открыл крайний шкафчик, куда Юрий Юрьевич иногда ставил свою собственную винтовку, — он вел стрелковый кружок на стадионе «Красный керамик» и в те дни, когда должен был идти туда после занятий в техникуме, приносил оружие в военный кабинет.

Винтовка стояла здесь. Она была с желтым прикладом и с серебряной дощечкой на нем — личное оружие. Я взял это личное оружие, лег с ним на скамью и изготовился к стрельбе из положения лежа. Но так держать винтовку было неудобно — нужен был какой-то бугорок впереди. Тогда я встал, открыл дверь в соседний маленький отсек, зажег там свет и снял с гвоздя свой пальтукан на рыбьем меху. Юрий Юрьевич позволял нам приносить сюда верхнюю одежду, чтобы потом не толкаться в раздевалке, — после конца занятий туда устремлялись все группы, там начиналось столпотворение, и гардеробщица тетя Марго еле-еле справлялась с работой.

Я вернулся на скамью, сложил пальто вчетверо, лег животом на доски, примостил винтовку на пальто и стал наводить ее на цель. Мне видны были пальто, висящие на гвоздях в соседнем помещении. Вот потертая кожанка Малютки Второгодника, вот дурацкое Костино пальто из серого бумажного сукна, вот Володькина куртка из черного бобрика, вот рядом два одинаковых сереньких пальтеца — это Люсендино и Верандино... Я представил себе, что я снайпер, лежу в засаде, и стал целиться в гвоздь. Этот гвоздик не в соседнем помещении, — он где-то очень далеко, да это вовсе и не гвоздик, это неприятель. Надо его укокать, а не то он укокает меня. Я клацнул затвором, дослал патрон, считая, что патрон воображаемый, и мягко нажал на спусковой крючок. И вдруг меня оглушило, толкнуло прикладом в плечо.

Первым вбежал в отсек Юрий Юрьевич.

— Черт знает что! — крикнул он. — Что это за дурацкие детские выходки! Кто вам позволил трогать мое оружие?

— Извините, это я по ошибке, — глупо ответил я. — Извините, Юрий Юрьевич!

— Ну ладно, поставьте ее на место.

Пока шел этот разговор, все ребята и девушки группы ввалились в отсек. Люсенда смотрела на меня испуганными глазами и не то смеялась, не то снова собиралась плакать. Я даже смутился — чего это она такая? А Костя подошел ко мне и негромко, но отчетливо произнес:

— Дураком родился, дураком живешь, дураком женился, дураком помрешь.

— Я еще не женился, — невпопад ответил я. — Такой выстрел с каждым может случиться.

— Люся! Это он в твое пальто стрелял! — послышался вдруг голос Витика, нашего показательного активиста.

— Смотри, гвоздь искалечен, вешалка оборвана! Я поднял твое пальто с пола.

— Это я случайно, Люсенда, — сказал я. — Честное слово!

— Нет, это не случайность! — ораторским голосом начал Витик, — Это продуманная система мести за выявление антиобщественных действий! Он стрелял в Люсино пальто, и Люсе просто повезло, что пальто было не на ней! Но мужайся, Люся! Мы поднимем гневный голос советского студенчества против вражеских наскоков!

Тут я вдруг увидел, что Костя придвинулся к Витику и, кажется, хочет ударить его. Володька тоже, похоже, готов был начать драку. Я кинулся к Косте, чтобы успокоить его, — Костя и так на плохом счету, драться ему сейчас никак нельзя.

— Не связывайся с ним, Синявый! — крикнул я Косте и отпихнул его от Витика.

Но Витик, очевидно в порядке самозащиты, выбросил руку вперед, и она уперлась мне в подбородок. Тогда я, не соображая толком, что делаю, ткнул его ладонью в нос, — именно ткнул, а не ударил.

Витик отпрыгнул и схватился за нос. Из носа у него пошла кровь. Он уставился на меня, потом обратился ко всем окружающим, показывая на меня рукой:

— Вы свидетели! Вы свидетели! Избиение студкора! — и пулей вылетел из помещения. Но затем он вбежал обратно и, встав перед Юрием Юрьевичем, закричал: — И вы свидетель! — После этих слов он опять выбежал — покотился жаловаться начальству.

Юрий Юрьевич посмотрел на часы и объявил:

— Перерыв. Прошу не опаздывать на следующий час.

Все ребята побежали наверх, в курилку. Мы тоже, всей троицей — Костя, Володька и я, — поспешили туда. В курилке, большой комнате перед мужской уборной, было уже шумно и тесно, дым стоял — хоть ведрами вычерпывай. Электровентилятор, вделанный во фрамугу, выл и скрежетал, с усилием скручивая этот дым и выпихивая его за окно.

— Ну, всыпались мы, — сказал Костя, закуривая «Ракету». — И надо было тебе эту паиньку щипать! Нашел объект! Вот и влипли.

— Это я влип, — высказался я. — Я влип, я и расхлебывать буду.

— Если тебя вышибут, я тоже из техникума уйду. Опять пойдем на завод работать, — сказал Костя.

— Я тогда тоже уйду, — заявил Володька. — Уж все втроем...

— Неужели это дело на вышибаловку тянет? — спросил я. — Ведь ерунда какая-то.

— В том-то и дело, что вышибить могут, — сказал Костя. — У тебя уже два выговора. И период сейчас такой. Недели не прошло, как Рыбакова за допущение случаев хулиганства в техникуме сняли — значит, новый директор будет на дисциплину жать.

— Ты, Чухна, поговори с Верандой, — посоветовал мне Володька. — Может, она на сестру повлияет, чтоб та на тебя не капала лишнего.

— Шкилет дело говорит, — подхватил эту идею Костя. — Поговори с ней, может, что и выйдет... Ты тут, конечно, ни в чем не виноват. Я где-то читал, что события ходят не в одиночку, а табунами. А вообще-то тут проявился закон рядности событий. Не осуществившиеся еще события как бы заранее расставлены в пространстве и во времени, и только ждут первого толчка для воплощения. Они подобны спичечным коробкам, которые стоят на ребре на некотором расстоянии один от другого. Ты толкнешь один коробок — и, уже независимо от тебя, падает и второй, и третий, и десятый. Это волна рядности. Тем, что ты ущипнул Люсенду, ты вызвал волну рядности. Первично и случайно — щипок, вторично и неизбежно — выстрел, третично же — удар в нос...

— А четвертично — я тебя сейчас трахну по черепу, если ты не заткнешься! — заявил я Косте. Костя подо все норовил подвести теоретическую базу и часто выбирал для своих рассуждений самое неподходящее время и место.

* * *

После занятий, когда все вышли из подъезда техникума, я нагнал Веранду.

— А где сестрица твоя? — спросил я.

— Она еще с отстающими по химии будет заниматься. А будто так уж она тебе сейчас нужна, — улыбнулась Веранда.

— И правда, не больно-то она мне нужна. Очень уж она обидчивая.

— Если б ты ущипнул ее персонально-индивидуально, то она, может быть, и не обиделась бы. А то ты назвал меня, а щипнул ее. А ты ей, между прочим, нравишься.

— Ну, ты какую-то сложную психологию разводишь, — возразил я. — С чего разревелась она?.. Просто ей власть в голову ударила. Подумаешь, староста группы!

— Ничего вы, ребята, не понимаете. Люська ж тоже человек. Она тут мне жаловалась,

что с тех пор, как ее в старосты выбрали, к ней как к чиновнику какому-то относятся. То выполни, это проверь, а на нее ноль внимания. А ведь она на вид девочка симпатичная, не хуже меня, — засмеялась Веранда и толкнула меня плечом.

— Верно, ты девочка что надо, — согласился я. — Если б мы не были в одной группе, я бы в тебя, наверно, по уши втрескался. Но раз ты все время рядом торчишь — то неинтересно.

— Правда, — подхватила Веранда, — в своих влюбляться неинтересно. Мне лично один артист нравится, он в фильме «Дальний пост» играет. Там про будущую войну.

— Все артисты — пижоны. Если на самом деле начнется война, твой артист первым в тыл смоеется.

— И никуда он не смоеется! И никакой войны не будет, это в кино только. Финская только что кончилась — какая тебе еще война! Гитлер нас побойтся. И вообще, не люблю я этих разговоров.

— Слушай, Веранда, черт с ним, с этим артистом и с этой войной. Ты вот что сделай: поговори с Люсендой, чтобы она обо мне вопрос на собрании не подымала. А то меня из техникума могут попереть.

— Ладно, я с ней потолкую, — согласилась добрая Веранда. — Но последнее время мы с ней не так уж крепко дружим. Она считает меня легкомысленной девицей, у нас вкусы расходятся.

— Вкусы расходятся, а платья и пальто одинаковые шьете, — подкусил я Веранду.

— Чудак ты, ведь это же дешевле получается, вот и шьем. А насчет тебя я с ней поговорю... А как Гришино здоровье? Лучше ему?

— Нет, не лучше. У него тяжелое ранение. Ему уколы все время делают.

2. Улицы

Я попрощался с Верандой, сел на трамвай и поехал на Васильевский остров. Но, выйдя из вагона, домой направился не сразу. В дни, когда случались какие-нибудь неприятности, я любил бродить по улицам — и мне становилось легче. Город был моим старым другом, и он все время чем-то потихоньку полегоньку помогал мне. Он не вмешивался в мои печали — он молча брал их на себя. Я родился в нем, в одном из его домов, но на какой улице, в каком доме — это знал только он, потому что я был подкидышем и родителей не помнил и помнить не мог.

Мартовские сумерки тихо, слой за слоем ложились на Васильевский, и он зажигал свои вечерние огни. Еще недавно город был затемнен, только в подъездах горели синие лампочки. Но недели две тому назад затемнение отменили. Город вырвался на свет, как поезд из длинного туннеля. Я шагал по улице и смотрел, как на темных стенах вспыхивают прямоугольники окон. Свет их уютен и праздничен. Казалось, все дома давно уже до краев полны этим теплым, уютным светом, но до поры он виден только тем, кто живет в этих домах. И вот теперь, в снежных сумерках, кто-то гигантским бесшумным штампом вырубает в темных стенах прямоугольники — и свет устремляется наружу. Вдали, где, казалось, нет ничего, кроме сумерек и серого неба над снежными крышами, возникла световая башня: несколько окон одно над другим и — сверху — круглое окошечко. Какой-то дворник-волшебник нажал на лестничный выключатель и за одно мгновение воздвиг эту башню.

Я вышел на людный Средний проспект и направился было в сторону Гавани, но потом свернул на линию Грустных Размышлений. В дни неудач и невзгод я любил пройтись по этой тихой улице. Конечно, официально она так не называлась, это я дал ей такое название. Дело в том, что на Васильевском почти все линии-улицы безымянны, у них только номера. А я никогда не любил чисел, цифр и номеров. Поэтому некоторым василеостровским линиям я дал свои названия. Пользовался я этими названиями в одиночку, для всех других людей на свете значения они не имели. Была у меня Пивная линия — там находилась одна уютная

пивнушка, в которую мы с Костей, Гришкой и Володькой иногда заглядывали; была Многособачья улица — там почему-то всегда гуляли собаководы со своими псами; была Сардельская линия — там в магазине мы покупали сардельки; была Похоронная линия — по ней проходили похоронные процессии на Смоленское; была Интересная линия — однажды летом я увидел человека, который ехал по ней на велосипеде, надев на шею деревянное очко от унитаза, — багажника на велосипеде не имелось, и для велосипедиста это был единственный выход из положения; со стороны все выглядело очень интересно. Одну линию мне пришлось переименовать. Однажды я нашел на ней трешку и назвал Счастливой, но вскоре получилось так, что мы с Костей ввязались на этой улице в драку, и сила была не на нашей стороне; нам надавали батух. Пришлось переименовать эту линию из Счастливой в Мордобойную. А сейчас я шагал по линии Грустных Размышлений и размышлял о сегодняшних неприятностях.

С тихой линии Грустных Размышлений я свернул на проспект ЗНД — Замечательных Недоступных Девушек. Это был Большой проспект ВО. Но для меня он был проспектом Замечательных Недоступных Девушек. По вечерам здесь было очень оживленно, происходило нечто вроде гулянья. Здесь можно было увидеть самых разных девушек, и все они в сумерках казались такими красивыми и симпатичными. Я знал, что некоторые ребята здесь даже знакомятся с девушками, но я мог только завидовать смелости этих ребят. Сам я был смел и развязен только с Верандой да еще с некоторыми девчонками, — но ведь то были обыкновенные девушки. А по проспекту ЗНД ходили девушки необыкновенные, неприступные.

С деловым видом шагал я по проспекту ЗНД и исподтишка поглядывал на них. Несмотря на мороз, они шли куда-то не спеша, — может быть, на танцы, может — на свидание, может — в кино. На меня они не обращали внимания — какое им дело до меня! У каждой из них своя жизнь: таинственная, праздничная. Кто меня впустит в эту жизнь! Они шли мне навстречу, взяв друг дружку под руки, тихо разговаривая о чем-то своем. Иногда они улыбались, слушая тихую речь подруги, иногда принимали озабоченный вид. Они проходили совсем близко — и все же были далеки, очень далеки от меня. И я молча шел среди них, очарованный и растерянный, — будто разведчик, сброшенный с Земли на неведомую счастливую планету и позабывший свое задание.

Но только не подумайте, что я был таким уж зеленым юнцом, — как-никак мне шел двадцать второй. Кое-какой опыт в таких делах у меня уже был, я в теории и на практике знал все, что надо знать. Но мне почему-то везло только с такими девушками, с которыми везло и другим. И не то чтобы эти немногие девушки, с которыми мне везло, были такими уж плохими, — нет!

Но мне казалось, что есть девушки гораздо лучше. И среди них есть где-то одна, которая лучше всех — самая лучшая, необыкновенная. Может быть, она сейчас идет в сумерках по городу. Может быть, когда-нибудь я ее встречу. Но, быть может, я не встречу ее никогда.

3. Наше жильё

С чем нам повезло — так это с жильем. Нам — это значит Гришке, Косте, Володьке и мне. Мы были из последнего выпуска детдома, потом он закрылся. Когда мы вчетвером пошли работать на фарфоровый завод, который шефствовал над нашим детдомом, нам предоставили комнату в обыкновенной жактовской квартире, но мы жили в ней на льготных правах, как в заводском общежитии, и ничего за нее не платили. А когда мы поступили в техникум, то техникум взял над нами шефство, и наше жильё стало считаться филиалом его общежития. У нас была казенная мебель и казенное постельное белье, а жили мы будто дома, и никакого контроля, и никакого коменданта над нами не было.

Комната была большая — тридцатидвухметровая, светлая, с широким окном и с большим стенным шкафом. В шкафу было отделение без полок — туда мы вешали одежду, и

было отделение с полками — там мы держали тарелки, ложки, хлеб, тетради, книги и всякое свое барахло. И все-таки несколько полок оставались пустыми — вот какой большой был шкаф. На белых его дверцах мы записывали разные изречения, услышанные от людей и вычитанные из книг. «Горе, разделенное с другом, — полгоря; радость, разделенная с другом, — двойная радость» — это было написано Гришкиным почерком. «Не бойся смерти. Пока ты жив — ее нет, а когда придет она — тебя не будет. Эпикур». Это я записал. И дальше тоже была моя запись: «Ужас — это непреодоленный страх. Не страшись обжечь пальцы и погасить искру страха. Не то разожжет она костер ужаса, и ты будешь вопить и корчиться в нем, и не будет тебе исхода».

Ниже Гришкиной рукой было дано пояснение: «Страх — это двойка по спецтехнологии, не исправивший двойку лишается стипендии и впадает в состояние ужаса». Дальше шло изречение, которое мог записать только Костя:

«Красота объекта раскрывается наиболее полно через его функциональную суть. Что рационально — то красиво, что нерационально — то уродливо».

Надписей было много, им уже не хватало места на наружной стороне дверец. На внутренней стороне Володькой был выписан из какой-то книги по археологии длинный кусок текста и обведен двойной рамкой. Но этот длинный текст звучал как стихи. Когда я открывал шкаф, чтобы взять тарелку, или хлеб, или еще что-нибудь, глаза невольно упирались в эту запись, и я до сих пор помню ее наизусть:

...Истинно вам говорю: война — сестра печали, горька вода в колодцах ее. Враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать. Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури. Говорю вам: кто пил и ел сегодня — завтра падет под стрелами. И зачавший не увидит родившегося, и смеявшийся утром възрыдает к ночи. Вот друг твой падает рядом, но не ты похоронишь его. Вот брат твой упал, кровь его брызжет на ноги твои, но не ты уврачуешь раны его. Говорю вам: война — сестра печали, и многие из вас не вернуться под сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю эту...

В комнате имелся и умывальник — мойся сколько хочешь, на кухню к раковине бегать не надо. А в углу торчал старинный радиатор водяного отопления; он был зеленый, вертикальный и напоминал кактус. Правда, отопление в доме не действовало, но, кроме радиатора, в комнате имелась большая красивая печь, облицованная серыми кафельными плитками. Она была вполне исправна и могла бы давать много тепла, а что она его не давала, это уж не ее вина.

Несмотря на все свои достоинства, комната наша была со странностями. Излишне придирчивые люди, быть может, не захотели бы в ней жить. Дело в том, что до революции вся эта большая квартира принадлежала какому-то врачу, а эта самая комната представляла собой не то приемный покой, не то операционную. Поэтому пол в ней был не деревянный, а из метлахских плиток — белых и голубых, расположенных в шахматном порядке. Гришка с Володькой иногда даже играли на этом полу в шашки — доски не требовалось. Что касается стен, то они до самого потолка были облицованы холодно-белыми кафельными квадратами, как в бане или в культурной общественной уборной. Из-за такого оформления комната на первый взгляд казалась неуютной. Но мы к ней давно привыкли и ясно сознавали ее преимущества: пол мыть не надо, он и так всегда чистый, стены всегда чистые, клопы не заведутся, на обои тратиться не надо.

Когда я, вдоволь набродившись по линиям, вернулся домой, Костя полусидел-полулежал на своей постели и брэнчал на гитаре. Это было одним из его любимых занятий, хоть музыкальным слухом он и не обладал. Обычно гитара лежала у него под кроватью, а не висела на стене, как у всех порядочных гитаристов, — гвозди в наши

стены вбивать было не просто.

— Какие последние слухи из убежища Марии Магдалины? — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, не в лад аккомпанируя, затянул куплет из «Гоп со смыком» с перевранными словами:

Мария Магдалина там живет, — да-да!
Техникума нашего оплот, — да-да!
Заведение открыла, райских девок напустила,
С ангелов червончики гребет, — да-да!

— Ну, был у меня разговор с Верандой, — доложил я. — Может, она воздействует на Люсенду. Тогда, может, рассосется это дурацкое дело.

— Хорошо бы так, — ответил Костя, откладывая гитару. — Появляется просвет... И ты все это время с ней проразговаривал?

— Нет. Я еще прошелся немного по Васину острову. Один.

— Шлифовал асфальт на Большом? Рад, что кончилось затемнение? Глазел на девушек? — начал задавать Костя наводящие вопросы.

— Да, девушек там чертовски много ходит, — признался я. — Несмотря на мороз.

— Взял бы да и познакомился с какой-нибудь хорошей интеллигентной девушкой. Или даже с двумя.

— А ты что ж не знакомишься?

— Мои девушки, увы, на Большой в этот час не ходят. Они в это время нянчат чужих детей. Не та у меня рожа, чтобы знакомиться с интеллигентными девушками.

Действительно, в смысле внешности Косте не повезло. Парень сильный, стройный, но левый глаз — стеклянный и вся левая щека в синих точках-порошинках. За это его и прозвали Синявым. Давно, еще шкетом. Костя мастерил пистолеты-самопалы, и однажды самоделку разорвало. Он тогда был левшой, поэтому стрелял с левой, и покалечил левый глаз. В наш детдом он прибыл с черной повязкой, а уж потом ему вставили искусственный глаз. Когда Костя смотрел на вас, у него был какой-то глупо-нахальный вид, — это из-за того, что левое глазное яблоко не двигалось. Костя очень переживал этот свой недостаток. Он старался быть как все, он даже переучился на правшу. Он даже выучился играть на гитаре, чтобы блистать в женском обществе, но все равно блеска не получалось. Ему почему-то везло только — одним словом, прозрачная жизнь. Однако каждый раз не то интеллигентная девушка разочаровывалась в нем, не то он в ней, и Костя оставался при пиковом интересе. И он обрывал прозрачную жизнь и снова возвращался к домработницам.

У него был знакомый инвалид мировой войны, дядя Вася, который жил на Петроградской стороне в отдельной квартире, состоящей из одной комнаты, кухни и уборной. Этот дядя Вася охотно давал приют Косте и его временным подругам — дядя Вася работал ночным сторожем где-то на Елагином острове. Дяде Васе нравилось, что в его жильё бывают молодые женщины, хотя они приходят и не к нему. К нему женщины никогда не приходили, и он никогда не был женат — он не годился для этого дела. Его мобилизовали в 1915 году совсем молодым, и он сразу же был контужен. Его ударило взрывной волной от немецкого «чемодана» — крупнокалиберного снаряда. С тех пор он все время трясся, и лицо его все время перечеркивали гримасы, и говорил он нечетко. Я раза три бывал у дяди Васи — надо было помочь с электропроводкой; и каждый раз мне казалось, что вот сейчас дядя Вася успокоится и перестанет трястись. Как-то не верилось, что он всегда такой. Но он трясся уже больше двадцати лет и должен был трястись до конца жизни. Никакого лекарства против этого не было. Вот в жилище-то доброго дяди Васи водил Костя своих подруг. А утром возвращался домой. «Ну, как прошла ночь любви к ближнему?» — насмешливо спрашивал его Володька. «Нет больше Пиренеев!» — кратко отвечал Костя, не вдаваясь ни в какие подробности. А в душе он мечтал об интеллигентной девушке и о прозрачной жизни.

И сейчас, желая его утешить, я сказал:

— Мы оба вполне могли бы познакомиться с симпатичными девушками там, на Большом. Нам бы только с тобой одеться пошкарнее. Пальтуганы у нас — так себе, а шакары — узковатые. Давно пора нам носить оксфорды.

Костя взял гитару, тронул струну и запел нарочно противным голосом:

Толя-фрайер понравился Ниночке,
В красоте он поставил рекорд:
Полубокс, рантовые ботиночки
И широкие брюки «Оксфорд».

Затем он сунул гитару под кровать и строго сказал:

— В будущем никакой одежды не будет. Ношение одежды развивает ложный стыд, а разнорядной в одежде приводит к неравенству и к обывательской зависти. В недалеком будущем люди будут носить несколько проволочек, обматывающих тело в наиболее охлаждающихся местах. Путем включения и выключения миниатюрной клавиатуры на приборчике можно будет регулировать нагрев тела в зависимости от внешних температурных условий. Этим будет нанесен еще один удар по мещанству.

— Ты сам до этого додумался? — спросил я Костю.

— Эта реформа носится в воздухе! — заявил Костя.

— Интересно, что будет делаться в трамваях в часы пик после такой реформы? Придется ввести мужские и женские вагоны.

— Ты просто сексуальный пошляк, — обиделся Костя. — Так можно оплевать любую идею... Но у нас здесь собачий холод!

— Протопим камин! — предложил я.

— Я «за»! — ответил Костя, подымаясь с кровати. — Двадцать поленьев! Кто больше?

— Двадцать пять! — крикнул я.

— Тридцать! — крикнул Костя. — Зажигаем! Мы оба сорвались с места и начали бегать вокруг стола, стираясь делать круги пошире...

— Раз!.. Два!.. Три!.. — выкрикивал Костя. — Двадцать!.. Двадцать семь!..

Каждый виток вокруг стола заменял в тепло-калориях одно полено. Этот способ отопления придумал Гришка. Реальных дров у нас не водилось. Правда, нам выдавались дровяные деньги, однако они уходили на другое. Даже в эту лютую зиму, когда под Ленинградом померзли все яблони, мы жили без дров. Мы норовили по ночам держать дверь комнаты открытой, чтобы к нам шло тепло из коммунального коридора.

Когда «камин был протоплен» и мы немного согрелись, я пошел на кухню готовить ужин, — сегодня я дежурил. Первым долгом разжег примус и поставил вариться сардельки. На керосинку взгромоздил большой чайник, потом подготовил кастрюлю, чтобы заварить в ней сухой кисель. Супы у нас были не в моде. Из месяца в месяц питались мы сардельками, сухим киселем и, конечно, хлебом. Такой сарделечно-кисельный уклон ввел Володька. Это он стал кормить нас так в дни своих дежурств, — а придумал он такой рацион от лени, великая лень натолкнула его на это великое открытие. А Костя подхватил эту идею потому, что она была рациональна. И Гришка тоже нашел такой способ питания удобным и целесообразным, и я тоже ничего не имел против. И теперь мы со стипендии сразу купили сухого киселя впрок, а сардельки прикупали через день. Иногда за неделю до стипендии денег на сардельки не хватало, — тогда мы питались одним киселем с хлебом. Не так уж это страшно: кисель тот очень питателен.

4. Первая смерть

Я принес еду в комнату, вынул из шкафа три тарелки — на Костю, на Володьку и на себя — и расставил их на столе. Четвертая тарелка осталась в шкафу — ведь Гришка Семьянинов лежал в госпитале, на Охте. Во время финской кампании он вступил

добровольцем в лыжный батальон, и его тяжело ранило под Кирка-Кивенаппа.

— Садитесь, господин Синявый, кушать подано, — объявил я Косте. — А Володька опять где-то шляется!

— За Володьку не бойся, — усмехнулся Костя. — Он на литкружок остался. Но к сарделькам он еще ни разу не опоздал. Поэт — поэт, а жратву за версту чует.

Действительно, не успели мы приступить к киселю, как ввалился Володька. Он быстро вымыл руки и кинулся к столу.

— Внемлите и трепещите! — сказал он, принимаясь за еду. — С Амушевского завода пришло в техникум письмо с просьбой временно выделить им одного студента-теплотехника. Они горны с дров на мазут переводить будут. На этот Амушевский завод никто добровольно кочегарить не пойдет, так что будут выделять добровольца.

— Где ты это разнюхал? — спросил я. — И какое отношение это имеет к литературе?

— К литературе — никакого. Просто это мне сообщил Малютка Второгодник, он все знает. Я его встретил у техникума, он шел с дополнительных занятий.

Женька Рябинин, длинный и нескладный парень, прозванный Малюткой Второгодником, действительно всегда все знал — все, за исключением того, что он выслушивал на лекциях. Учился он туго, зато все слухи прямо-таки липли к нему, и он ими охотно делился со всеми.

— А на литкружке что сегодня было? — спросил Костя. — Выявился ли новый гений?

— Сегодня разбирали мои стихи, — скромно ответил Володька. — Как я и ожидал, всем очень понравилось мое «Предчувствие». Особенно начало. Ну да вы знаете:

Мы будем все мобилизованы.
Вдали военный слышен гром,
Войны ботинки зашнурованы
Тугим бикфордовым шнуром.
Все громче с Запада доносится...

— Мы этот твой гром уже слышали, — перебил его Костя. — Ты уже раз десять топтал нас этими несчастными ботинками.

— Почему «несчастливыми»? — взъелся Володька и даже тарелку с сардельками отодвинул от себя — правда, не очень далеко. — Сами вы несчастные! Все говорят, что это творческая находка.

— Пользуйся своими находками единолично, не дели их с нами, — сурово проговорил Костя. — Или читай свои вирши глухонемым, этим ты убережешь себя от побоев.

— Тупицы вы недорезанные, товарищи, вот вы кто! — с печальной улыбкой сказал Володька.

— От тупицы слышу! — крикнул Костя. — Бейте его! — С этими словами он схватил с койки подушку и подбежал к Володьке. Володька бросился к своей постели и тоже схватил подушку. Вооружился и я. Через мгновение с хохотом бегали мы по комнате за Володькой, били его подушками, а он отбивался от нас.

Вдруг раздался стук в дверь.

«Опять недоволен сосед», — подумал я.

В соседней комнате жил бухгалтер, который любил тишину, и он иногда просил нас вести себя потише. Это был человек пожилой, и мы всегда выполняли его просьбу. Но нет, на этот раз в дверях показалась тетя Ыра, жиличка из комнаты, что рядом с кухней. Когда-то в этой квартире жила девочка, которая не выговаривала букву «и». Девочка выросла, вышла замуж и переехала. А тетя Ира навсегда осталась тетей Ырой.

— Вас к телефону, Константин Константинович! — сказала тетя Ыра.

— Объявляется перемирие! — крикнул Костя, бросая подушку на койку. — Через пять минут избиение поэта продолжится.

Володька тоже бросил подушку и сел доедать сардельку. На него приятно было

смотреть, когда он ест. Он ел не причавкивая, как некоторые, ел аккуратно — но очень быстро и целеустремленно. Он не был жаден, не был запаслив, не был скуп — но он был очень прожорлив. Несмотря на прожорливость, у него была дурацкая привычка не есть хлебных корок, это при здоровых-то зубах. Он норовил забрасывать корки на печку, и мы всегда ругали его за это. Вот и теперь, видя, что Костя вышел и что ругать буду только я, он ловко метнул на печь выгрызенную горбушку.

— Все-таки свинья ты, — сказал я. — Говорим, говорим тебе...

Из коридора послышались Костины шаги. Это были какие-то медленные шаги, обычно Костя ходил быстро. Он вошел в комнату, и по лицу его я понял, что что-то произошло. Но что — понять было трудно. Такого лица у Кости я еще не видел.

— Гриша умер, — почему-то очень громким голосом сказал он. — Он еще днем умер, они второй раз звонят. Днем не дозвонились сюда... Это из госпиталя звонили. — Костя торопливо подошел к столу, взял пачку «Ракеты» и жадно закурил папиросу. Лицо его покрыла бледность, и от этого еще отчетливее стали видны на нем синие порошинки.

Мы молчали. Володька положил недоеденную сардельку на тарелку и испуганно посмотрел на койку Гриши Семьянинова.

— Неужели Григорий умер? — спросил я, ни к кому не обращаясь, и сам почувствовал, как по-дурачки звучит мой вопрос и в особенности это полное имя — Григорий. Никогда мы не звали его ни Григорием, ни Гришей — всегда Гришкой или даже Мымриком — его детдомовской кличкой. А теперь как его называть?

— Они ничего не могли сделать, — сказал Костя. — Ранение было тяжелое, и все это было предрешено. Это они по телефону сказали.

Володька тоже закурил «Ракету», а за ним и я. В холодном воздухе комнаты дым легко подымался вверх, скапливаясь у потолка. Мы курили одну папиросу за другой и изредка обменивались какими-то ровно ничего не значащими словами. У нас еще не было опыта потерь, и мы не знали, что надо говорить в таких случаях и надо ли вообще говорить. Для меня это была первая смерть. Родителей своих я не знал, их вроде бы и не было, мне некого было терять. Смерть я видел только издали — когда похоронные процессии проходили по тихой Похоронной линии к Смоленскому кладбищу, — туда, где у тихой речки стоят спокойные старые деревья.

* * *

Мы легли спать в обычное время, но почему-то впервые не погасили на ночь свет. Голая стосвечовая лампочка, висящая на запыленном проводе, казалась мне ослепительно яркой, и я долго не мог уснуть, но не хотелось вставать и бежать по холодным плиткам пола к выключателю. Опершись локтем на подушку, я лежал на боку с открытыми глазами. Мне видна была койка Гришки Семьянинова, — она была аккуратно застелена. У изголовья Гришкиной постели виднелась открытка, приклеенная хлебным мякишем к холодной изразцовой стене. Там три верблюда шли по желтым песчаным барханам. Странно, Гришка (теперь он Григорий) был хорошим лыжником, умел крутить слалом, но мечтал о Средней Азии, о Каракумах, — оттого и приклеил он эту картинку. Он умер, а верблюды, тяжело и медленно преодолевая пески, все идут и идут сквозь зной к своему неведомому оазису.

Мне стало грустно смотреть на этих верблюдов, и я перевел глаза к Костиной койке. У его изголовья тоже висела картинка — по его вкусу. Это был город будущего, весь состоящий из нагроможденных друг на друга кубов, призм и треугольников; город, где поезда мчались сквозь дома, — город, который мог построить только сумасшедший для сумасшедших, но который нравился Косте потому, что все там было рационально. «Нет, не хотел бы я жить в таком городе, — подумал я, — вот у Володьки над постелью висит куда лучше картинка: море, корабль, на пирсе девушка прощается с моряком. Открытки этой с моей постели не видно, но я ее отлично помню... Странно, Володька человек мирный, войны

он не хочет, но вешает на стену такие вот рисунки, читает Клаузевица, книги о морских боях, пишет стихи о будущей войне. Странный наш Володька...»

А у меня над изголовьем висела картинка, вырезанная из дореволюционной «Нивы». Она называлась так:

«Когда улетают ласточки». Там был нарисован какой-то старинный дом, и сад, и листья, падающие с кленов. И девушка с красивым и задумчивым лицом смотрит на улетающих ласточек. На ней длинное темное платье, и она в нем такая легкая и стройная... Когда я глядел на нее, мне становилось и грустно и радостно, и начинало казаться, что в моей жизни должно когда-нибудь случиться что-то очень-очень хорошее и что я буду счастлив.

Но пока что счастья в моей жизни не прибавлялось, оно даже убывало. Вот было нас четверо — теперь нас трое. Умер Гришка (теперь он Григорий). А верблюды на картинке все идут и идут сквозь зной пустыни к неведомому оазису.

5. В то время как...

На следующий день мы все трое опоздали на занятия. Нас разбудила тетя Ыра. Перед самым уходом на работу она постучала нам в дверь. Мы сразу проснулись, но вставать не хотелось. В комнате было очень холодно, — на эту ночь мы не открыли дверь в коммунальный коридор.

— Вставай, Чухна! — крикнул мне Костя.

— Вставай, Шкилет! — крикнул я Володьке, соскакивая с постели. В серьезные моменты жизни мы всегда звали друг друга по старым детдомовским кличкам. А сейчас момент был серьезный: за опоздание могло здорово влететь, в особенности мне. Ведь я уже на примете после вчерашнего. Да и Костя тоже на плохом счету.

Я быстро оделся и побежал к умывальнику. Над фарфоровой раковиной, на гвоздике, вбитом в зазор между облицовочными плитками, висела на веревочке фанерка — ее повесил Костя, когда стал капитаном комнаты вместо ушедшего на финскую Гришки. На фанерке Костя вывел синей тушью:

ПНЧ

(Полный Процесс Наведения Чистоты)

1. Чистка зубов.
2. Умывание лица и рук.
3. Причесывание головы.
4. Чистка обуви.
5. Заправка коек.

Но если мы торопились, Костя перевортывал табличку другой стороной — этого проделать он никогда не забывал. А на той, другой стороне было написано красными тревожными буквами:

КУУО

(Краткое Ускоренное Упрощенное Омование)

Костя во все вносил систему. Если б он задумал утопиться, то и здесь он прежде всего разработал бы для себя инструкцию, как надо тонуть. Но, при всей своей любви к порядку, человеком он был беспечным и безалаберным. И если он хорошо учился, то не за счет старательности, а из-за общего развития. Да и память у него была очень хорошая.

В это утро, совершив КУУО, то есть наскоро ополоснув лица, мы надели свои нетяжелые пальто, съели по куску хлеба и вышли в коридор. Дверь мы закрыли, но не

заперли — она у нас не запиралась. В квартире жили люди честные, да и воровать у нас нечего было.

— Пойдите, ребята! — серьезным голосом сказал вдруг Володька. Затем он кинулся обратно в комнату, открыл шкаф, вынул оттуда хлеб и отрезал себе два куска. На один кусок насыпал сахарного песка и прикрыл его вторым. Шкиля Володька всегда помнил о еде. Если бы Земле угрожало столкновение с Луной, то он, за пять минут до мировой катастрофы, воспользовавшись всеобщей паникой, забрался бы в продовольственный магазин и погиб бы не из-за столкновения миров, а из-за своей прожорливости.

Дождаясь Володьку, я бросил взгляд в нашу комнату. Койки, конечно, остались неприбранными. И только постель Гришки была аккуратно заправлена. Серое, с тремя синими полосами, одеяло лежало ровно, без единой складочки, и подушка в изголовье белела, как маленький сугроб, пухлая и непримятая.

Мы добежали до трамвайной остановки, и скоро подошел наш номер. Ехать было не близко: техникум находился на другом конце города, на окраине. В трамвае было свободно, главный поток пассажиров уже схлынул. Нам достались сидячие места. Вагон был весь заморожен, он скрипел от тряски. Пассажиры стучали ногами в пол, чтобы хоть немного согреться. В вагоне стоял топот — можно было подумать, что мы не едем, а все куда-то бежим на месте. На стеклах лежал толстый бархатистый слой инея, и на нем видны были следы метлы, — должно быть, ночью в трампарке пробовали счистить со стекол людское дыхание, да так и не счистили, а за утро иней naros сызнова. Мне было зябко в моем полубумажном пальтеце. Морозы все продолжались, хоть теперь они стали не такими лютыми, как в дни недавней финской войны.

Я сидел, топал ногами и думал о том, как же это так вышло с Гришкой. Когда его привезли с Карельского перешейка в госпиталь, нам сразу же позвонили и сказали, что у него серьезное ранение, но первые четыре дня к нему не пускали. Наконец позвонила дежурная сестра и сказала, что впуск к Семьянинову свободен и что Гришку мы можем посещать втроем, по его личной просьбе. И вот мы поехали к нему в гости все втроем. Потом мы навещали его поодиночке.

Когда мы пришли все трое, гардеробщица вначале заартачилась и не хотела дать сразу три халата для посещения одного больного. И тогда Костя пошел к дежурному врачу. Пришел дежурный врач и коротко приказал гардеробщице выдать халаты всем троим. Он быстро и внимательно оглядел нас и ушел, ничего больше не сказав. А мы помогли друг другу натянуть на себя белые халаты, и нас сразу охватило чувство необычности происходящего.

— Значит, тяжелый, если так вот родню пускают, — сказала гардеробщица.

— Он и не родня нам, — с какой-то непонятной обидой буркнул Володька. — У нас нет родни. И у него нет.

Мы молча поднялись по широкой лестнице на второй этаж и пошли по коридору. Коридор тоже был очень широкий, чистый и почти безлюдный. Я ожидал, что здесь обязательно будет пахнуть лекарством, но нет, — лекарствами не пахло, и вообще больницей почти не пахло. Только от нагретых батарей слегка тянуло запахом масляной краски. Окна госпитальные были высоки, с полукружьями наверху. Стекла были чисты, свет морозного дня легко ложился на чуть блестящие серые стены, на коричневый линолеум пола.

Мы вошли в одиннадцатую палату. Здесь стояло всего четыре койки, как у нас в комнате. На одной из коек, справа от двери, лежал Гришка. Я думал, что увижу его исхудалым, с лицом, искаженным от боли, но он был почти такой, как и раньше, до всего этого. В первую минуту я обрадовался, что Гришка такой, как всегда, но потом мне это показалось странным и даже испугало.

— Аха, вот и пришли, — сказал он, увидев нас. — А я, видите, лежу-полеживаю. А что новенького?

— Да ничего новенького, — бодро ответил Костя. — Вот только у Шкилета двойка по спецтехнологии набухает. Если не сдаст — снимут со стипендии, и придется нам его

кормить. А жрет он — сам знаешь как!

— Ну вот, — улыбнулся Гришка, — как я с поста капитана комнаты ушел, так Шкилет учиться перестал. Стыдно, Шкиля! Ведь мы четверо — самые старшие в группе.

— А ты, Мымрик, совсем неплохо выглядишь, — произнес Володька, будто читая по книге. — Скоро ты опять капитаном будешь, а Синявого мы с этого поста сгоним.

— Они, дураки, недовольны моими нововведениями, — слишком широко улыбаясь, заявил Костя, — и Чухна, и Шкилет — оба недовольны... А тебе больно, Мымрик?

— Нет, теперь ничего. Колют все время. Уколы, понимаешь, Синявый...

— Ну это уж такое дело — уколы, — вмешался я. — Это уж надо потерпеть. Терпи, Мымрик, атаманом будешь.

Как всегда в трудные моменты жизни, мы в нашем этом разговоре звали друг друга по детдомовским кличкам, а не по именам, и Гришка охотно включился в эту игру. Но слишком уж обычен и естествен был его голос, слишком уж будничны интонации. Мне вдруг почудилось, что Гришка теперь много старше нас и знает то, чего мы не знаем. Мне стало казаться, что он подыгрывает нам, как ребятишкам, чтобы не огорчать вас, чтобы мы думали, будто все остается по-прежнему.

— Нас, Мымрик, к тебе пускать не хотели, халатов сестричка не давала, — сказал вдруг Володька. — Еле у врача допросились... А там у тебя тоже был халат? Лыжникам же дают.

— Да, был. Был белый маскхалат...

— А ты видел того, который стрелял в тебя? — спросил Володька. — Это тебя из автомата?

— Да нет, не пулей! Разве вам дежурный доктор не объяснил?.. Меня осколком... А дома как у нас? Как дядя Личность?

— Дядя Личность все пьет, — с готовностью ответил я. — А к тете Ёре из жакта опять приходили, агитировали ее против бога. Ну да разве ее сшибешь с ее позиции!

— Она и за тебя молится, — вмешался в разговор Костя. — К Николе два раза ездила.

— Теперь уже поздно молиться, — без выраженья, ровным голосом сказал Гришка. — Так уж получилось...

— Ну ничего, Мымрик, поправишься, — промолвил Костя. — Ты не горюй.

— Да я и не горюю.

Выйдя из госпитального большого здания, мы долго молча шли по длинной аллее. В морозной тишине снег звонко и грустно скрипел у нас под ногами. Здания, стоящие вдали, были как бы обведены синеватой туманной каймой.

— Ребята, Гришка умрет, — сказал вдруг Володька. — Он умрет. Я знаю, он умрет. Он умрет...

— Чего ты каркаешь! — сказал я. — Заткни плевательницу!

Трамвай пустел. Приближалось кольцо.

— Ребята, нам надо на медпункт смотреть, — сказал Костя. — Попробуем справки добыть, чтоб опоздание было уважительное. Если Валя дежурит в медпункте, она сделает. Помните, в прошлый раз она дала справки — и все сошло. Только надо болезни с умом придумать. Такие, чтоб температура не влияла.

— У меня, чур, зубы, — невнятно сказал Володька; рот у него был набит хлебом: всю дорогу он жевал свой сладкий бутерброд — с чувством, с толком, с расстановкой.

— Зубы я себе хотел взять, — огорченно протянул Костя. — Ну, ладно. Тогда у меня люмбаго. Тут поди проверь.

— Я тоже зубы хотел взять, — сказал я. — Что же у меня тогда?

— У тебя пусть понос, — промычал Володька. — Понос тоже трудно проверить.

— Нет, только не это! — решительно возразил я. — Не хочу перед Валею с поносом. Пусть у меня что-то с сердцем.

— Заметано, — подытожил Костя. — Люмбажник, зубатник и сердечник.

— При Гришке мы ни разу в техникум не опоздали, — сказал вдруг Володька четким тихим голосом. Он наконец прожевал свой хлеб. — А ведь Гришка нам на психику не давил.

Просто у него была легкая рука.

— В техникуме уже знают насчет Гришки, — проговорил Костя. — Они из госпиталя туда в первую очередь позвонили.

— У Гришки была легкая рука, — повторил Володька. — Теперь без него все у нас плохо пойдет. Я знаю, знаю.

— Перестань ты, — строго сказал Костя. — Все у нас должно идти как при Гришке. Нечего нам нюни распускать!

Трамвай свернул на кольцо, скрипуче вздрогнул и остановился. Вагоновожатый и две кондукторши побежали греться в дежурку, а мы по заснеженной улице направились к техникуму. Окраинная улица, состоящая из невзрачных одноэтажных и двухэтажных домов, упиралась в сад, где стоял техникум. Он возвышался среди окрестных строений, как морской корабль среди рыбацких баркасов. Это было монументальное четырехэтажное здание, облицованное желтоватым глазурованным кирпичом и украшенное серыми колоннами и классическим фронтоном. На фронтоне еще сохранились следы от сбитых букв:

Убежище

им. Вел. кн. Вильденбургской

Здание это было построено незадолго до мировой войны. Полное наименование его было такое: «Убежище для раскаявшихся девиц, основанное попечением Великой княжны Вильденбургской», — так когда-то гласила мраморная доска в вестибюле. Эту доску выломали уже при нас, когда переоборудовали химическую лабораторию. Доска стала щитом для рубильников, которыми включалась тяга в вытяжных шкафах. Раскаявшиеся девицы жили в убежище недолго: они разбежались в 1916 году, когда в Петрограде стало плохо с едой, и, кажется, вернулись к своей прежней профессии. Многие старожилы этой улицы хорошо помнили раскаявшихся девиц — раскаянок, как они их прозвали. Отзывались старожилы о них нелестно.

После бегства раскаянок здание несколько лет пустовало, потом в нем помещался какой-то архив, потом какие-то курсы, а затем обосновался наш техникум.

— В подъезд — не все сразу! — распорядился Костя, когда мы вошли в сад. — Используя складки местности, одиночные бойцы скрытно просачиваются в расположение противника. Ты, Шкилет, просачивайся первым.

Володька, пригнув голову и нелепо размахивая своим потрепанным портфелем, побежал под деревьями к подъезду и скрылся в дверях. Затем побежал я. Мы встретились в подвале, в раздевалке.

— Опоздали, шарлатаны, — ворчала гардеробщица тетя Марго, принимая наши пальто. — Будет вам разнос от матери-патронессы! Будет вам веселый разговор! На бюро комсомольское вызовут!

Мы не обращали внимания на ее воркотню. Мы знали, что человек она добрый, только малость не в своем уме. Тетя Марго была единственной раскаянкой, оставшейся в «убежище». Она жила в служебной пристройке, в комнатенке, которую называла келейкой. В дни полочки тетя Марго всегда ходила под градусом. В эти дни она иногда употребляла такие словечки, что девчата, стоявшие в очереди за пальто, не знали куда глаза девать, а ребята фыркали в рукав. А то она принималась рассказывать про прошлое. «Тут у нас графы, князья почем зря бывали, — повествовала она. — Сам товарищ Распутин на моторе приезжал, смотр самодельности проводил. Я на столе в одних кружевных панталонах танго „Сатаник“ плясала...» Дальше она начинала плести что-то совсем уж несообразное. Настоящее накладывалось у нее на прошлое, как два разных изображения, снятые неопытным фотолюбителем на один негатив.

Из раздевалки мы поднялись в цокольный этаж. Чинно, как ни в чем не бывало, прошли через просторный вестибюль и направились в медпункт. Здесь в коридорном тупике, перед дверью, на матовом стекле которой было написано прозрачными витиеватыми буквами

Лазареть , мы остановились.

— Всем гамузом не вваливаться! — сурово сказал Костя. — Ты, Чухна, иди первым.

Я скрючился, приложил руку к сердцу, со страдальческим лицом вошел в медпункт. Через несколько минут Валя выдала мне спасительную справку. Конечно, она понимала, что ничем я не болен, но она понимала и то, что за опоздание меня могут лишиться стипендии. Костя и Володька вскоре тоже вошли в кабинет и тоже получили нужные справки.

Издали послышался звонок. Это был перерыв. Но идти на лекцию сейчас не имело смысла: оба первых часа занимал один и тот же предмет — химия. Просто неудобно было явиться на занятия в середине лекции. Поэтому мы переждали перемену в тихом закоулке возле медпункта, а когда раздался звонок на занятия и все вдали утихло, мы отправились в Машин зал.

При раскаянках в этом высоком зале была трапезная. Говорили, что здесь стояли столы и стулья из натурального красного дерева и вообще все было не хуже, чем во дворце. Но сейчас от той роскоши, если она и была, ничего не осталось, и только окно напоминало о прошлом. Гигантское, кончающееся полукругом окно уходило под потолок. Все оно состояло из цветных стекол. Это был витраж, картина из стекла. Самый верх занимала надпись: РАСКАЯНИЕМ ОЧИСТИМСЯ, картина же изображала Марию Магдалину, молодую красивую женщину с рыжеватыми распущенными волосами. Никакой одежды на ней не имелось. Ни святости, ни раскаяния на лице ее не наблюдалось, — наоборот, вид у нее был скорее торжествующий. Говорят, что художника, который делал этот витраж, церковники в свое время хотели даже привлечь к ответственности за святотатство, но княжне Вильденбургской картина приглянулась, и дело было замято.

Завхозу техникума, товарищу Ермолину, витраж этот явно не нравился. «Что она святая — это полбеды, — говаривал он, — наши ребята подкованные, религией их не прошибешь. А вот то в ней плохо, что она — в чем мать родила... Ишь пушки свои выставила! Соблазн для студенчества!»

Но завесить витраж было нельзя — в зале стало бы совсем темно. А выломать его — тоже нельзя. Художник-то был какой-то знаменитый. Иногда даже интуристов сюда приводили смотреть на эту Магдалину. Так она и стояла в окне — совсем голая и красивая, и все к ней привыкли. Девушки некоторые говорили, что она помогает сдавать зачеты. Для этого надо проскакать до нее через весь зал на одной ножке и сказать ей так: «Голая Маша, надежда наша, помоги сдать физику!» (или химию, или политэкономия) — и она уж примет меры.

Когда мы вошли в Машин зал, то первое, что нам бросилось в глаза, — это свежая стенгазета. Вчера ее не было — значит, вывесили ее сегодня утром. Стенгазета была видна издали, — лучи солнца, пройдя сквозь витраж, упирались прямо в нее.

— Идемте позырим, что там есть в газете, — предложил Володька. — Я уже давно новое стихотворение в редколлегию сдал — «Передышку». Ну вы помните, я же вам читал:

Хоть кончилась финская малая —
Не выпита чаша до дна:
Нас ждет впереди небывалая,
Большая, как буря, война...

— Дальше не читай, — вмешался Костя. — Ты уже сорок раз поил нас из этой чашки, побереги наши мочевые пузыри!

— Из чаши, а не из чашки, — с раздражением поправил его Володька. — Тупицы вы все! — Когда Володька спорил о стихах, он всегда обращался даже к единственному оппоненту во множественном числе.

Мы подошли к стенгазете.

На два ватмановских листа аккуратно были наклеены отпечатанные на машинке полоски с заметками и рисунками. Пахло клеем.

— Опять стихотворения не поместили! — огорчился Володька. — Это все этот подлюга Витик, это его рука!

— Что стихотворения твоего нет — не такая уж беда, — возразил я. — Но почему тут о Гришке ничего нет? Должны были хоть извещение о смерти дать. Ведь из госпиталя звонили сюда.

— И в вестибюле объявления нет, — добавил Костя. — Когда Петраков из восьмой группы под трамвай попал, было объявление в черной рамке... Ребята, тут о вас! — прервал он сам себя. — Витик уже успел настрочить! Тут ваши фамилии.

Я стал читать. Статья была отпечатана на машинке очень чисто, без помарок и исправлений. Солнечные лучи, проходя сквозь фигуру Голой Маши, ложились на бумагу мягкими телесно-желтыми бликами. Статья называлась «Пресечем темные происки!». Начиналась она так:

«В то время как все студенты нашего техникума отдают все силы учебе и укреплению дисциплины, имеются еще отдельные матерые отщепенцы, которые докатываются до стрельбы по живым мишеням, до беспринципного щипкования отдельных девушек и до физической расправы над активистами стенной печати. Не будем закрывать глаза на тот факт, что факты стрельбы, щипкования и физрасправы произошли именно на занятиях по военному делу. В то время как все студенты крепят оборону, отдельные махровые личности...»

Статья была длинная. Моя фамилия упоминалась там несколько раз, о Косте было сказано вскользь. Внизу стояла подпись: «Общественник». Это был один из псевдонимов Витика.

— Неважные дела, — протянул Костя. — Вот мы и в матерые попали. Неприятности будут. Ну, да больше чем на вышибаловку это дело не тянет.

— Про тебя там только раз, — сказал я.

— Все равно — если тебя вышибут, я сам уйду.

— И я тоже, — твердо заявил Володька. — Будем искать работу все трое.

Тут к нам подошел Малютка Второгодник.

— А ты что здесь делаешь? — спросил его Володька. — Тоже опоздал?

— Ну и опоздал! — ответил Малютка Второгодник. — Почему это вы можете опаздывать, а я не могу! Я тоже у Вали справку взял.

— А что у тебя? — заинтересованно спросил Костя.

— У меня ярко выраженный вегетативный невроз. Я иногда даже галлюцинации вижу. Я так Вале и сказал.

— А какие галлюцинации? — поинтересовался я.

— Разные, смотря по погоде, — неопределенно ответил Малютка Второгодник. — Вам расскажи, а вы потом под меня работать будете.

— Очень нужны нам твои галлюцинации! — пренебрежительно протянул Володька. — У нищего гроши воровать!

— Он просто симулянт и лодырь! — заявил Костя.

— От симулянта слышу! — огрызнулся Малютка.

— Но не от лодыря! — отпарировал Костя.

— Ладно, ребята, не будем спорить, — примирительно сказал Володька. — Ты, Женька, не знаешь, почему это никакого объявления о смерти Гришки не вывешено? Почему это?

— Я знаю, только вы никому не говорите, — перешел на шепот Малютка Второгодник. — Новый директор заранее рекомендовал педагогам на похороны не ходить и на венки не собирать. Учащиеся могут идти на похороны, это не будет зачтено как прогул. Но нечего устраивать шум вокруг неизбежных потерь. Надо славить живых героев — вот что

он сказал. И вообще он сказал, что Семьянинов умер не по нашему техникуму а по военному ведомству.

— Крыса тыловая твой директор, вот кто он! — негромко сказал Костя.

— Почему он мой, — сердитым шепотом огрызнулся Малютка. — Он такой же мой, как и ваш. Я просто говорю вам то, что слышал. Я не виноват, что знаю больше вас!

— Знаешь больше нас?! — уже громко заговорил Костя. — Объясни принцип действия термпары! Объясни принцип измерения температур при помощи зегер-конусов!

— Ну, это к делу не относится, — отмахнулся Малютка Второгодник. — Нечего мне тут экзамены устраивать!

Он отвернулся от нас и с независимым видом пошел к выходу из зала, — длинный и нескладный, набитый слухами и сплетнями. Мы остались в зале втроем, не считая Голой Маши. Она стояла в окне спиной к зимнему холоду, лицом и всем прочим — к нам, красивая, спокойно-нагая. Плевать ей было на наши дела-делишки.

6. Григорий Семьянинов. 1919-1940

В день похорон мы все трое проснулись рано. Неспешно оделись, совершили ППНЧ по всем пяти пунктам, потом Володька напоил нас чаем и накормил сардельками — в этот день было его дежурство. А потом настало пустое время, время-вакуум. Похороны в час дня, а сейчас еще утро. Мы молча слонялись по комнате, подходили к окну, протаивали лунки во льду, покрывшем стекла, садились на стулья, приваливались на койки — и снова вставали. Со стороны можно было подумать, что мы кого-то ждем, что вот-вот кто-то войдет к нам, и пойдут разговоры, расспросы...

Я сел на стул, мне надоело ходить по комнате. Но сидел я не как всегда, что-то удерживало меня от обычной ленивой позы. Я сидел не развалясь, не откинувшись на спинку, — я сидел чинно, как в гостях. Но в голову мне не шли чинные, торжественные, подобающие случаю мысли. Я глядел на аккуратно заправленную постель Гришки и вспоминал, что у него был один недостаток: он храпел во сне. Когда он начинал слишком громко храпеть, кто-нибудь из нас бросал ботинок в спинку его кровати. Тогда Гришка переворачивался на другой бок, и храп на время умолкал. Потом он снова заводил свою песню, и в спинку кровати его — к ногам или к изголовью — летел другой ботинок. К утру обычно вся наша обувь валялась около Гришкиной постели. И когда Гришка объявил нам, что идет добровольцем на финскую, Володька сказал: «Ну и катись! По крайней мере хоть храпа твоего не будем слышать!» Володька был обижен, что Гришка принял это решение без его совета.

— А тебе не страшно идти на войну? — спросил я тогда Гришку. — Только по-честному. Мы же здесь все свои.

— Черт его знает, — ответил Гришка. — Не то чтобы страшно, а как-то зябко. Будто недоспал.

— Раз зябко — выпить надо, — заявил Костя. — Ведь у нас дровяные деньги еще остались. Пусть Чухна сбегает, он сегодня дежурный. Ты отмерь ему сумму.

Гришка был капитаном комнаты и главным казначеем. Он сразу же дал мне денег, я схватил сеточку и побежал в подшефный магазин.

— Только все не трать! — крикнул вдогонку Гришка. — А то будете тут голодом сидеть без меня.

Я выбежал на морозную улицу и зашагал к Среднему. Тогда стояли самые лютые холода. Уже смеркалось, в подъездах зажигались синие лампочки. В сумерках показалась странная процессия. Впереди ехала автокачка — телега на автошинах, ее вез большой заиндевевший конь. На передке автокачки сидел возница в шубе и в валенках, упиравшись спиной в ящики, заполненные бутылками с водкой. За телегой шел народ — степенно и медленно, как на похоронах. Только на похоронах за колесницей идут как попало, в

несколько рядов, а здесь шли строго гуськом. Хвост рос на ходу, к нему присоединялись все новые и новые мужчины. С водкой во время финской кампании были перебои, и вот любители выпить дежурили у спирто-водочного склада и, когда водку везли в магазин, занимали очередь за телегой. Но я-то шел не водку покупать — мы ее не пили, она была для нас дороговата. Мы пили плодоягодное вино, а его в магазинах хватало.

Когда вернулся домой, то, не раздеваясь и не заходя в комнату, зажег в кухне керосинку, налил в кастрюлю воды и вывалил в нее сардельки. Возле керосинки я поставил бутылки, чтобы вино немного подогрелось. В большой коммунальной закопченной кухне было в этот час тихо. Только тетя Ыра — жиличка крайней комнаты — сидела на табуретке у углового столика перед своей керосинкой. Тетя Ыра была не старая, но уже пожилая. Она жила бедно, беднее всех в квартире, поэтому у нее казалось не стыдным занимать — она всегда даст в долг, если сама при деньгах. Она была очень добрая, честная; плохо только, что верила в бога и в разные чудеса и суеверия. Тетя Ыра часто ездила молиться к Николе Морскому и за трамвай в таких случаях не платила. На склад, где работала, ездила за деньги, а в церковь — за так. Очевидно, она считала, что бог все расходы берет на себя. Про ее религиозность все знали. К ней не раз приходили из жакта провести беседу накоротке о том, что бога нет и не будет. Ей и брошюры приносили антирелигиозные — и она их честно прочитывала. Они, однако, оказывали на тетю Ыру неправильное действие: читая о чудесах, которые в них разоблачались и о которых она прежде не знала, она начинала верить в эти чудеса. «Вот вы говорите: „бога нет“, а спаситель-то наш по воде пешком ходил. Под ним глыбь-глубина — а он идет, хоть бы что! Своими глазами в книге читала!» Напрасно мы толковали ей, что этого чуда не было, что оно разоблачается. Она стояла на своем. Может быть, виноваты в этом были и авторы брошюр. Чудеса там описывались интересно, а разоблачались непонятными научными словами.

В тот вечер тетя Ыра, сидя перед керосинкой, читала-почитывала одну такую книжечку. Взглянув на мои бутылки, она вдруг высказалась:

— Вот вы, молодежь, в бога не верите, а спаситель-то наш в Кане Галерейской воду в вино превратил, в магазин с авоськой не бегал. На свадьбе это дело было.

— Ну, у нас не свадьба, — ответил я. — У нас дело посерьезнее. Гришка на войну добровольцем идет.

— На войну? — Тетя Ыра встала с табуретки, встревоженно помешала ложкой в кастрюле, потом повернулась лицом к углу, где висел отпечатанный на жести плакат «Неосторожное обращение с примусом ведет к пожару», и несколько раз перекрестилась.

— Плохое Гришино дело, — сказала она, снова усевшись возле кухонного столика. — Его убить могут, у них кукушки есть. Привяжет себя к сосне, к верхушке, и стреляет. Убьет наших сколько может, потом последнюю пулю — в себя. Гришу мне жалко, он из вас четырех самый самостоятельный. Завтра за него свечку Николаю Чудотворцу поставлю.

Я надел перчатки, чтоб не обжечь руки, и, сняв кастрюлю с керосинки, слил воду. Потом, держа ее низко, у самого живота, понес в нашу комнату. Сеточку с тремя бутылками плодоягодного я держал в зубах. Я шел по длинному коридору, мимо всех дверей, и за мной тянулся запах горячих сарделек. Потом я толкнул ногой нашу дверь и вошел в комнату.

— Наконец-то! — сказал Володька. — Где так долго околачивался?

— Беседовал с тетей Ырой, — ответил я. — Она за Гришку завтра свечку поставит, чтоб его не укокали.

— А ты не скули! — рассердился Костя. — Нечего говорить об этом! Будущее зависит не только от самого себя, а и от нашего представления о нем, и если мы тут будем сидеть и скулить, то это может отразиться на Гришке.

— Ты просто суеверен, — сказал я. — Подводишь псевдонаучную базу под суеверия.

— Ты мыслишь на уровне кошки! — взъелся Костя. — Ты не умеешь мыслить отвлеченно! Ты думаешь, что есть прошлое, настоящее и будущее как три разные доминанты. Они есть только с твоей обывательской точки зрения. На самом же деле нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, да и вообще никакого времени нет, а есть ряды

взаимосвязанных событий...

— Бросьте, ребята, спорить! Приступим к делу. — Гришка подошел к стенному шкафу, достал оттуда штопор и передал его Володьке. Володька был узким специалистом по открыванию бутылок и банок со сгущенным молоком. И он быстро и красиво откупорил плодоягодное и разлил по стаканам.

— Первый бокал — солдату, — сказал он, подавая стакан Гришке. — О, Мымрик то и Мымрик се, и с Мымриком знаться стыд, зато: «Спасибо, мистер Мымрик!» — когда военный марш звучит. Родной герой, пожалте в строй! Военный марш звучит!

— Не перевирай старика Киплинга, — пробурчал Костя. — Давайте-ка чокнемся со звоном за Гришкино здоровье.

Мы сдвинули стаканы, но звона не получилось. Стаканы были незвонкие, из зеленоватого бутылочного стекла. В таких тогда продавали простоквашу. Но вино было — что надо. Оно нам казалось совсем неплохим, другого мы и не пили.

— Перейдем к деловой части нашего собрания, — заявил Гришка. — В связи с текущими событиями я слагаю с себя обязанности капитана комнаты и верховного казначея. Кто займет мое место?

Это была проблема серьезная, мы призадумались. Дело в том, что стипендия у нас шла в общий котел, и деньги всегда хранились у Гришки. На него можно было положиться.

— Пусть этот пост займет Синявый, — предложил я. — После Гришки он из нас самый порядочный.

— А я что — не порядочный? — обиделся Володька. — Мымрик, я разве не порядочный?

— Ты, Шкиля, тоже порядочный, — утешил его Гришка. — Но ты очень уж любишь пожрать. Ты можешь невзначай прогореть на сгущенном молоке.

— Черт с вами! — согласился Володька. — Я делаю самоотвод. Но я против Синявого, он еще утвердит тут свою диктатуру. Пусть лучше Чухна временно займет этот пост, до возвращения Мымрика.

— Чухну слишком легко уговорить, — сказал Гришка. — Сам-то он денег не растратит, но у него их легко могут выманить.

Мы продолжали обсуждать кандидатуру. И, как всегда, когда у нас шел серьезный разговор, называли друг друга не по именам, а по кличкам. За разговором мы не забывали и о вине.

— А почему ты, Мымрик, все-таки идешь на войну? — спросил вдруг Володька слегка заплетающимся языком. — Война еще будет. Вот тогда все вместе и пойдем, кроме, конечно, Синявого, — его не возьмут. Будет большая война с Гитлером. С танками, с газами, с ипритом и люизитом... Все равно мы все будем на войне.

— И на финскую должен кто-то идти, — тихо ответил Гришка. — Меня воспитало государство, и я должен за него стоять. Родителей у нас нет, всем на нас наплевать было, мы без государства бы с голоду под забором подошли, а государство нас выручило. И мы, детдомовские, должны на всякое дело идти в первую очередь. Другие — как там хотят, а мы должны в первую очередь.

— Мымрик прав, — сказал Костя. — Если бы я не был белобилетником, я бы тоже пошел добровольцем. Потому что...

— Синявый, не изображай из себя героя! — перебил его Володька.

— Я и не изображаю, — ответил Костя. — Но Мымрик прав. А ты, Шкиля, просто трепло! Поэт и мечтатель в жактовском масштабе!.. И к тому же ты пьян... В будущем никакого вина не будет. Пить — нерационально. Давайте не пить с этого дня и с этой минуты!

— Правильно, давайте ничего не пить! — подхватил я.

— Ну ладно, не пейте ничего, — сказал Гришка. — Когда я вернусь, я проверю это дело.

...Так сидел я на стуле и вспоминал. Но вот Костя взглянул на ходики, и мы с

Володькой тоже взглянули на них. Пора было идти на похороны.

Кладбище было сравнительно новое, без обилия старинных памятников. Только в начале его, ближе к церквушке, высились заснеженные каменные надгробья и гранитные кресты. Рядом проходили железнодорожные пути, лежали горы шлака. Седые надгробные ангелы с отбитыми носами, вскарабкавшись, как мальчишки, на свои пьедесталы, глядели на семафор, на маневровые паровозы, погромыхивающие совсем близко. Порой локомотив, проходя мимо ангелов, будто чтобы позабавить их, стрелял толстыми струями пара. Пар сразу опадал снежинками.

На церковной паперти цепочкой стояло несколько нищенок. Одна из них, та, что с краю, ближе к дорожке, деловито отделилась от остальных и подошла к нам. Остальные не шелохнулись — видно, у них была своя очередность.

— Вам, молодые люди, на военную площадку?

— Да, — неуверенно ответил Володька. — Значит, на военную. Нам на похороны.

— Знаю, молодой человек, что не на крестины, — с какой-то даже обидой в голосе сказала нищая. Лицо ее было строго, но на нем играл здоровый морозный румянец; из-под черного монашеского платочка виднелся край теплого шерстяного платка. Она неторопливо и уверенно вела нас по аллеям. Видно, она хорошо освоила кладбище. Когда кончились деревья и начался кустарник, где из сугробов торчали редкие кресты, она сказала:

— Вам вон туда, по тропочке, где народ стоит.

— Спасибо, — проговорил я и взглянул на Костю, нашего казначея. Я понимал, что одним спасибо тут не отделаешься.

— Большое спасибо, — сказал вежливый Володька. Он тоже поглядел на Костю, понимая, что и большого спасибо тут маловато.

Однако Костя молчал.

— За помин души убиенного воина Григория свечечку поставить надо, — наставительно молвила нищая, снимая с руки варежку.

— Откуда вы знаете? — как-то испуганно спросил Костя и, сняв перчатку, сунул нищей в руку сложенную вшестеро трешку. Потом он виновато посмотрел на нас: трешка-то была последняя.

Та небольшая часть кладбища, которая называлась военной площадкой, отличалась от остального кладбища тем, что крестов здесь не было. Стояли только деревянные обелиски, и стояли они правильными рядами. Их было совсем немного. Под ними лежали военные, умершие в госпитале.

Оказывается, пришли мы не так уж рано. Молча толпились ребята и девушки из нашей группы, явились и некоторые преподаватели. В стороне, в снегу, лежал деревянный обелиск — он сразу бросался в глаза, потому что был выкрашен в красный цвет. На нем белела табличка с надписью:

**Красноармеец
Семьянинов Григорий Григорьевич
1919 -1940**

Странно было это величанье по отчеству. Я как-то и не думал раньше о том, что у Гришки есть отчество, хотя, конечно, знал, что в паспорте оно есть, и именно Григорьевич. У нас с ним были отчества по нашим же именам — ведь никто не знал, как зовут наших отцов, и при выдаче паспортов мы как бы стали сами себе отцами. А теперь Гришкино отчество перешло с паспорта прямо на эту табличку — при жизни ему попользоваться своим отчеством не пришлось.

Я тупо глядел на эту надпись, на грубо сколоченный обелиск, и тут ко мне подошел Малютка Второгодник. Он сказал, что обелиск временный. Летом земля осядет, и поставят раковину с мраморной дощечкой — об этом ему сказал вон тот военный. Все на свете знал этот Малютка Второгодник!

Гроб с телом Григория стоял возле вырытой могилы. Четыре военных — три бойца и один ефрейтор, с треугольничком на отворотах шинели, — несли около гроба почетный караул. Вокруг них, переминаясь, потопывая мерзнувшими ногами, толпились ребята. Девушки плакали. Гришка лежал в гимнастерке, лицо у него было насквозь промерзшее. Казалось, он умер не от ранения, а просто от холода, и если внести его в теплое жилье, то он еще, может, и воскреснет. И могила тоже была холодная, — почва глубоко промерзла в ту зиму. Земля в могиле поблескивала ледяными прожилками, и только на дне этой продолговатой ямы чувствовалось проступающее подземное тепло — там лежал серый суглинок, похожий на влажный пепел.

Юрий Юрьевич, наш преподаватель военного дела, подошел к гробу и сказал:

— Мы хороним нашего товарища, честно погибшего на войне. Наш товарищ умер как солдат, он шел в бой за Родину, он честно выполнял приказы. Быть может, всем нам придется быть на другой войне — дай бог, чтобы ее не было, — но мы не забудем Григория Семьянинова, нашего товарища... — Тут Юрий Юрьевич закашлялся, схватился за грудь и отошел в сторону. Когда этот кашель схватывал его в кабинете военного дела, он упирался руками в стену, и ему становилось легче. Но здесь не было стены, не было никакого дерева поблизости, в которое он мог бы упереться, и он кашлял дольше, чем обычно, — хриплым, удушливым кашлем.

После него никто больше не произносил речей, и вообще никто не знал, что нужно делать, как вести себя. Ни у кого, видно, не было опыта в таких делах. Все топтались, поеживаясь от холода, и молчали. Молчал и я, молчал и Костя, уставясь в землю. Молчал и Володька, виновато глядя куда-то в сторону. Все было не так, как должно было быть, но как должно быть — мы не знали.

Почетный караул, стоявший у гроба, придавал всему, что здесь происходило, некий утешающе-высокий смысл. Четверо красноармейцев промерзли: на них были не полушубки — а шинели, не валенки — а сапоги, лица их осунулись от мороза, — они стояли не шевелясь, охраняя покой мертвого. Это был гарнизонный наряд, отряженный на похороны. Григория они при жизни не знали — и все же они были связаны с ним столь же крепкими и возвышенными узами, как мы, давние его друзья.

Когда мы вернулись домой, в кухне нас встретила тетя Ыра. Она испуганно сказала:

— Завхоз из главного общежития с помощником тут приехал, на грузовике. Гришину постель забрал с вашей комнаты. И потом спрашивал, почему в вашей комнате холод такой. Спрашивать стал, топите или нет. Я сказала: топят, топят ребята, сегодня только не протопили.

— Спасибо, тетя Ыра, — молвил Володька.

— Он в печку, может, заглянуть бы хотел, да я задницей к дверке печной стала. Я знаю — у вас там ни золинки, он бы сразу смекнул... А Гриши-то нашего нет, нет его, голубчика... А я и на похороны-то отпроситься не сумела... — Она заплакала и начала торопливо креститься, глядя куда-то в угол. Нам стало не по себе, мы быстро зашагали по коридору к своей двери.

Мы сели каждый на свою койку, не снимая пальто. Потом молча, но словно по команде, встали с коек, подошли к шкафу, разделись, повесили пальто в шкаф. На наружной дверце шкафа среди всяких мудрых чужих мыслей, записанных нами, выделялся шуточный Володькин стишок: «Четыре приютские крысы под этой крышей живут...» «Теперь — три, — подумал я. — Надо бы сказать Володьке, чтобы переделал».

Без Гришиной кровати комната казалась куда просторней. Еще белее, еще холодней отсвечивали ее изразцовые стены. А картинка, приклеенная Гришей к стене, осталась. Медленно преодолевая пространство, шел по пустыне караван к своему неведомому оазису. В комнате было очень тихо. Мирно, по-всегдашнему, тикали ходики. У нас был мир. Там, на Западе, шла война, а у нас был мир. Финская кончилась. Только вот Гришки не было среди нас. Война дотянулась до него, доплеснулась — и ушла, унося его с собой.

— Ты бы ходил, Шкилет, к тете Ыре, занял бы у нее пятерку до стипендии, —

обратился Костя к Володьке. Деньги занимать мы всегда посылали Володьку — наверно, потому, что он был самый вежливый из нас и нам казалось, что ему дают охотнее.

7. На чердаке

Прошло пять дней, как я ударил по носу Витика, а никакого возмездия пока что не было. Но я подозревал, что такая медлительность не к добру. На основании своего жизненного опыта я давно уже вывел один закон, который про себя именовал законом брошенного щенка: чем длиннее срок между совершением проступка и возмездием за него, тем сильнее возмездие. Ибо, если проступок сразу же не погашен, он начинает жить уже независимо от тебя, как щенок, выброшенный на улицу. Он может и сдохнуть, но чаще он выживает, шляется где-то, чем-то питается, растет — и вырастает в большую злую собаку. И однажды он неожиданно кидается на тебя из-за угла, норовя вцепиться в горло.

Но на этот раз щенок, к счастью, рос недолго. На шестой день после моего столкновения с Витиком, в час, когда шла лекция по физике, раздался вежливый стук в дверь, в аудиторию вошел Петр Петрович Жеребуд и попросил преподавателя Лежнева отпустить меня. По лицу Витика Бормаковского поползла довольная улыбка. Он понимающе взглянул на меня: что, ущучили тебя, голубчик!

Жеребуд был завучем, он ведал учебными кадрами. А кроме того, он был ответственным за состояние ПВХО на территории техникума. Но для всех было ясно, что за мной он явился не по делам противовоздушной и противохимической обороны. Когда я выходил вслед за ним из физического кабинета, Володька и Костя поднялись со своих мест и хотели идти вместе со мной. Но Жеребуд сделал им предупреждающий знак: сидите, мол.

Он молча зашагал по длинному коридору. Я шел за ним в состоянии бодрой безнадежности, когда знаешь, что добра ждать нечего и не за что цепляться, все уже решено. Но вот Жеребуд провел меня мимо своего кабинета, и во мне проснулась тихая и робкая надежда. Может, еще и обойдется как-то это дело?

Жеребуда боялись из-за его должности и не любили за мрачный нрав. Но к нам, четверем бывшим детдомовцам, он относился с тайной симпатией. Он иногда выручал нас. Например, месяца два тому назад Володька засыпался на том, что в тетрадке по химии писал поэму «Триппериада». Никакой особенной похабщины в ней не было, но Володька после письменной сдал именно эту тетрадку — конечно, по ошибке: у него были две тетради по химии. А преподаватель поднял шум; он решил, что это издевательство над наукой, и Володьке грозили большие неприятности. Жеребуд как-то сумел дать этому задний ход, и все обошлось. Дело в том, что Жеребуд был вроде нас — без рода, без племени, воспитывался еще в царское время в благотворительном приюте для подкидышей — и хлебнул соленого не меньше, чем мы.

Сейчас дело было неясно. Жеребуд грузно шагал впереди меня, аж паркет поскрипывал. Мы вошли в зал Голой Маши. Сквозь ее светлое стеклянное тело пробивался тусклый свет, за ее несуществующей спиной металась снежинка. Лицо у Маши было настороженно-озорное. Казалось, она раздумывает — не спрыгнуть ли ей с окна сюда, в трапезную. Вот возьмет и спрыгнет, и вслед за ней в освободившийся вырез окна в зал ворвется вьюга.

Мы свернули в неприметный боковой коридорчик, а оттуда — на черную лестницу. По ней поднялись на чердак. У двери, в лестничном тупике, валялись ломаные стулья, ржавые и рваные кроватные сетки — всякий лежалый хлам, собранный на субботнике и приготовленный к выносу на двор. На самом чердаке было довольно чисто. Кое-где стояли красные ящики с песком и воткнутыми в него лопатами. Горело несколько лампочек, из полукруглых слуховых окошек струился белесый, метельный свет. Пахло золой, кошками, сухой пылью и свежей краской. Слышно было, как ходит над крышей вьюжный ветер, как где-то вдали воет на повороте трамвай. И в то же время стояла здесь какая-то своя, автономная тишина: Жеребуд привел меня в дальний конец чердака и показал на ведро с

краской и на недокрашенную балку.

— Докрась эту балку, и вот эту еще, и еще вот эти подпоры, — сказал он. — Из семнадцатой группы шалопаи красили, да не докрасили. А завтра районный инспектор придет проверять.

Я начал красить толстую деревянную балку, идущую понизу, поперек чердака. Краску кто-то развел в самый раз — не густо и не жидко. Это была силикатная противопожарная краска. Я водил кистью по балке — и балка становилась зеленовато-серой, красивой. Мне всегда нравилось красить. Казалось, от тонкого слоя красящего вещества вещь и внутри становится другой, меняется и облагораживается вся целиком. Если бы людей можно было бы красить — вот это да! Какую-нибудь сволочь, вроде Витика, если бы можно было перекрасить в хорошего парня! Вот это бы да!

Жеребуд постоял около меня, одобрительно поглядывая на мое старание. Затем он пошел на лестничную площадку и стал неуклюже возиться со сваленным там хламом, чтобы потом его удобнее было выносить. Я слушал, как он тяжело ворочается, будто медведь. Видно, осточертело ему сидеть в своем кабинете. На душе у меня становилось все легче. Я понял, что, если б Жеребуд хотел сыграть мне вышибательный марш из техникума, не повел бы он меня сюда.

Потом он кончил возню с чердачным барахлом и опять подошел ближе ко мне. Я думал, что он начнет какой-нибудь серьезный разговор. Но он, как-то нелепо согнувшись, встал у выема слухового окошка и вдруг запел очень тонким и жалобным, совсем не своим голосом:

Эх, полна, полна коробушка,
Только слушай да молчи,
В нашем Варинском приютике
Очень славные харчи:
Каша пшенная немытая,
Масло с дегтем пополам,
А на ужин нам положено
Три капустинки гнилых...

Он тянул эту свою приютскую песню, будто нищий на барахолке. Я продолжал работать. Я понимал, что, если брошу кисть и уставлюсь на него, я его обижу. Ведь как бы человек плохо ни пел, ему иногда очень хочется, чтобы его кто-нибудь послушал — послушал не ради похвалы, а ради самой песни. Он поет будто в шутку, будто смеясь и над песней, и над собой; он делает вид, будто дурачится, а на самом-то деле ему очень хочется, чтобы кто-то принял его песню к сердцу.

Когда Жеребуд кончил пение и, разогнувшись, отошел от чердачного окошка, я тоже запел. Не прерывая работы, равномерно водя кистью по балке, я пел старую детдомовскую песенку:

Когда я был дежурным,
Носил я брюки клеш,
Соломенную шляпу,
В кармане — финский нож!
Подметки рантовые
И торба на боку...
Подайте, Христа ради,
Работать не могу!

Жеребуд тоже не пялился на меня и не перебивал, хоть голос у меня был не лучше, чем у него. Он стоял себе в сторонке. Потом прошелся по чердаку, снова подошел ко мне. Я

понял, что сейчас он начнет разговор. И он начал, повел его издали, с педагогическим подходом.

— Самого хорошего из вашей четверки на войне убило, — пробурчал он. — А вы трое — трепачи, гопники, всех вас из техникума гнать надо. То этот поэт ваш похабень в тетрадке пишет, то этот Константин Звягин, черт одноглазый, пробки пережег в техникуме, час без света сидели, а теперь вот ты до драки докатился. Побил общественника! Знаешь, чем это пахнет?

— Гад он ползучий, а никакой не общественник, — ответил я.

— Гад не гад, а дело плохое заварилось. Потому — бдительность нужна, время такое. Он на тебя заявление подал, там разные высказывания тебе приписаны. А время такое...

— А какое время? — спросил я. — Ну, какое? Военное, что ли? Война-то кончилась.

— Война ни при чем. О войне речи нет. Но — капиталистическое окружение... Понял? Время такое... Надо тебе спрыгнуть с этого эскалатора.

— С какого эскалатора?

— Был в Москве? Метро видал? Вот с такого эскалатора. Ты на него ступишь — и несет тебя вниз, и как ты вверх ни беги, как ни крутись — тебя уже все равно вниз снесет. Так и тут: раз попал на заметку, теперь к тебе всё липнуть будет, всё, в чем и не виноват. И будет тебя тащить всё вниз и вниз... Доходит до сознания?

— Доходит, — ответил я. — Здорово, видно, этот Витик на меня накапал... Да и Люсенда, видно, подмогла... Сука бесхвостая!

— Не ругайся, не маленький! — пробурчал Жеребуд. — Думай о том, как с эскалатора спрыгнуть.

«Дался ему этот эскалатор, — подумал я. — И как с него теперь спрыгнешь?»

— Ну?

— Не знаю, — сказал я. — Теперь мне всё бара-бир.

— Ладно, я тебе помогу. Но это в последний раз. Это уж в память Семьянинова, хороший был парень... Так слушай. В техникум пришло письмо с Амушевского завода, там горны с дров на мазут переводят. Им временно нужен человек, который на мазутных горнах работал. Ты ведь до техникума на «Трудящемся» работал? Кочегаром?

— Да. Недолго работал, потом мы все четверо в техникум пошли. Но на мазутных горнах работал. И на дровяном работал. Дровяной там только один.

— Так вот, надо тебе заявление подать, что хочешь своей волей ехать на Амушевский, хочешь помочь налаживать там... У тебя и теоретическая подготовка теперь есть.

— Не насовсем туда?

— Нет. До осени там пробудешь, а потом вернешься сюда на третий курс. А за второй — что досрочно сдашь, а что — когда вернешься. У тебя ведь хвостов нет?

— Нет.

— Ну я же знаю, учишься ты неплохо. Умная голова, а дураку досталась... Завтра подай заявление. Пиши от всего сердца, взволнованным почерком, чтоб энтузиазм был виден. И на меня не ссылайся, о разговоре этом нашем забудь. Говори: мол, узнал сам, пронюхал, хочу практически поработать, работой исправить ряд своих ошибок. Рад, мол, буду...

— Да это и правда будет, — сказал я. — Я рад буду. Это же интересно. Ну, и зарплата...

— А людей зря не ругай. Как ты эту Людмилу Рязанцеву обозвал, а? А она, когда ее вызвал я по твоему делу для разговора, она за тебя упрасивала. Сказала, что ты ее не щипал, руки ни на кого не подымал. Даже ревела у меня в твою пользу.

— Я просто дурак, что ее ругал. Я и не думал, что она такая...

Тут Жеребуд, считая разговор оконченным, отошел в сторонку и жалобно запел:

Не дожждаться мне пышного лета,
Не дожждаться весеннего дня,

Помолись за меня, дорогая,
Скоро, скоро не станет меня.
Будет хмуро осеннее утро,
Будет дождик слегка моросить,
Труп мой снимут с уютной постели
И без слез понесут хоронить...

Он кончил петь, сам себе улыбнулся, потом с довольным видом осмотрел мою работу и сказал:

— Докрашивай эту стойку, а этих балок не крась, хватит с тебя. Завтра я сюда всю восьмую группу пригоню.

Жеребуд ушел.

Я подошел к полукруглому чердачному окошечку. Ветер уже утих. Серое небо, стены невысоких окрестных строений — все было в белых точках, плывущих вниз. По дальней железнодорожной насыпи медленно шел поезд, и он был весь в белых точках. Потом мне стало казаться, что снежинки стоят на месте, а все остальное тянется ввысь, растет вместе со мной. Мне даже почудилось: это я сплю, и лечу во сне, и легко несусь с собой в высоту весь мир. Паровоз вдалеке закричал тоскливо и тревожно, но в сердце у меня полыхнула смутная радость. Услышав этот паровозный гудок, несколько пухлых снежинок испугались, кинулись ко мне — и прилипли к стеклу. И вдруг они начали таять.

Весна была на подходе.

8. Дела текущие

Когда я спустился вниз, шла перемена. Вся наша группа гуляла в Машинном зале. Я немедленно рассказал Косте и Володке о своем секретном разговоре с Жеребудом, — чтобы они не беспокоились за меня и знали, что дело налаживается. Потом я подошел к Люсенде. Она стояла рядом с Верандой, но Веранда сразу отошла в сторонку.

— Люсенда, я и не знал, что ты такая, — сказал я ей. — Спасибо тебе, что ты в мою пользу говорила.

— Это я не ради тебя, а ради справедливости, — холодно ответила она. — Но хоть ты не называй меня этим дурацким именем!

— Ладно, ты не Люсенда. Ты — Люся, Люся, Люсенька...

— Пожалуйста, не притворяйся. Никакая я тебе не Люсенька. — Она строго посмотрела на меня, отвернулась и тихо пошла в середину зала. Сразу же ко мне подкатилась Веранда и подмигнула: все в порядке?

— Больно уж серьезная твоя Люся, — сказал я. — С такой без пряников не заигрывай.

— Что ты в Люсе понимаешь! — фыркнула Веранда. — Ты вообще в девушках ничего не смыслишь. Ты в нас не больше, чем вот в ней, смыслишь, — и она мотнула головой в сторону Голой Маши.

Я на минутку задумался. Действительно ли я ничего не понимаю в девушках? Я давно уже знаю все, что надо знать. Но мне везет только с теми девушками, с которыми не может не везти. Нет, не встретила мне еще такая девушка, которая сказала бы: «Бросься в Неву с Троицкого моста!» — и я бы бросился. Или сказала бы: «Отдай свою стипендию первому встречному!» — и я бы отдал.

О такой любви я только в книгах читал, но знал, что она не только в книгах. Просто мне не везет. Может быть, я так и доживу до старости, а такой любви не встречу. А если и встречу необыкновенную девушку, то она меня может отшить в два счета — и будет права. Что во мне такого замечательного, чтобы в меня влюбиться?

На следующий день я подал заявление о том, что хочу поехать на временную работу на Амушевский завод. Оно было благосклонно принято. Через восемь дней я последний раз в текущем учебном году пошел в техникум — оформлять отъезд. В этот же день была

вывешена свежая стенгазета. Чем хуже шли учебные дела у Витика, тем активнее он работал в стенной печати. И я сразу нашел под одной заметкой подпись «Общественник». Но на этот раз речь шла не обо мне. Заметка называлась «Зараза с гнилого Запада»:

«В то время как все студенты борются за всемерное расширение своих знаний, находятся среди нас отдельные модники, которые заботятся лишь о расширении своих брюк, с целью „догнать и перегнать“ гнилую моду Запада, где широкие брюки „Оксфорд“ завоевали сердца разлагающейся буржуазной молодежи. Увы, и некоторые девушки нашего техникума не избегли гнилостного влияния моды. Они шьют юбки все шире и шире, не жалея на это материала. Некоторые из них докатились до того, что, готовясь к весеннему сезону, покупают в аптеках дефицитную белую клеенку, предназначенную для детских кроваток, куда клеенка должна подстилаться против промокания матрасов. И из этого „материала“ нагло шьют себе „наимоднейшие“ плащи, лишая тем самым малолетних детей здорового и сухого счастливого детства!..»

Дальше шли фамилии модниц и модников, но ни меня, ни Кости с Володькой там, конечно, не было. Нам не по средствам было гнаться за модами. И я понял: гроза миновала. Но ехать на Амушевский завод все равно надо — нечего идти на попятный. Тем более — это ж и интересно.

* * *

В день отъезда я проснулся рано. То был день выходной. Костя и Володька еще спали. Над тем местом, где прежде стояла койка Гришки, все висела на белой изразцовой стене картинка: три верблюда идут через пустыню.

Мне стало грустно. У меня не было опыта вечных разлук. Первый живой человек, которого я потерял, — это Гришка. Потеря доходила до меня медленно, постепенно. Так, когда рвут зуб под новокаином, вначале вроде бы все ничего, — а потом приходит боль, места себе не находишь.

До детдома Гришке приходилось плохо. Он, как и я, одно время беспризорничал, и на его долю перепало немало оплеух и колотушек. Когда он попал в наш детдом, ему стало житься хорошо. Детдом не считался каким-то там образцовым, но воспитатели были неплохие. Обиды случались между нами, ребятами, а воспитатели старались, чтоб мы жили дружно. И Гришка проникся к воспитателям уважением. Он считал их представителями советской власти, государства. Ведь спасло-то нас государство. Без него бы мы просто подошли. Оно как-то разглядело нас со своей высоты — и вот мы живы. Ко всему, что исходило от отдельных людей, Гришка относился настороженно. Они могут поманить: «На, мальчик, конфетку», — а дать по уху. Сам он всегда был готов прийти на помощь, он был добрым, — только от других он не ждал доброты.

Однажды он спас меня от смерти. Он вытащил меня из огня, когда случился пожар на детдомовской даче. Случай этот как-то забылся. Если б Гришка жил где-то далеко, я бы чаще вспоминал об этом случае. Но мы жили рядом, в одной комнате, и нельзя было все время помнить об этом пожаре. Только иногда, когда Гришка начинал ночью храпеть и когда я бросал сапоги в спинку его кровати — а бросал я их часто, — только иногда сквозь полусон вспоминал я, что меня бы давно уже не было, если б не Гришка. Я проводил руками по своему телу — от колен до шеи — и убеждался, что я есть, что я живой — и засыпал.

И в это утро, вспомнив о пожаре, я провел руками по телу — я живой, и пора вставать. Сегодня я уезжаю.

9. Самоотчет номер первый

Я сошел с поезда в тихом районном городке и вышел на большую площадь. Такие большие площади бывают только в очень маленьких городках. По краю площади тянулись

каменные торговые ряды. Когда-то, наверно, в них бойко шла торговля, но теперь окна и двери многих магазинов были заколочены, там разместились какие-то склады и мастерские. Я подошел к одному из незаколоченных магазинов. За пыльным стеклом на выгоревшей синей бумаге лежал конский хомут, несколько зеленых с белыми крапинками кепок, там же стояла пирамида из пачек суррогатного кофе «Здоровье», рядом с ней — три флакона с одеколоном «Саддо-Якко». Перед торговыми рядами шла торговля с саней. Слышались беспричинно тревожные голоса торгующихся, безучастные лошади жевали сено из подвешенных к морде торб. Когда я беспризорничал, до последнего нашего детдома, много повидал я таких городков, и базаров, и людей, и коней, и ишаков, и верблюдов. И опаснее всего на базарах для меня были люди, потому что денег у меня, конечно, не водилось. На рынки я приходил для того, чтобы поклянчить какой-нибудь еды или украсть ее. Иногда я даже пробовал работать по ширме, но я был неловок, ширмач из меня никакой, и добром эти попытки залезть в чужие карманы никогда не кончались. И только лошади (или ишаки, или верблюды) не принимали участия в том, что начиналось, когда я попадался на воровстве. Они стояли в стороне от всего такого.

Потом, когда я прочно вернулся в Ленинград, прижился в детдоме, я уже не ходил на рынки — нечего было мне там делать. Иногда тянуло заглянуть, потолкаться, но останавливал страх: а вдруг кто-нибудь крикнет: «Держи его!» Как я докажу, что ни в чем не виноват?

А теперь я спокойно шел через базар. Я без страха подошел к какому-то дядьке, продающему кислую капусту, и стал спрашивать его, как пройти в Амушево. И, разузнав все, что надо, я неторопливо пошел дальше. И тут мне стало весело, радостно. Я вдруг понял, что детство мое давно ушло и что никогда оно не повторится. Я давно уже взрослый, и всегда, до самой смерти, буду взрослым, и никто не загонит меня в мое детство.

С такими мыслями пересек я эту большую площадь, перешел мост через широкую реку со вспучившимся, посиневшим льдом. Внизу, в продолговатых разводьях, выпукло чернела сильная, стремительная вода. Шоссе шло то рядом с берегом, то отбегало в лес, чтобы снова вернуться к реке. Истолченный копытами снег был коричневатым от навоза и рассыпчатым, как песок. Я снял шарф, продел его в ручку чемодана и перекинул свой багаж через плечо; теперь идти стало легче. От снега, от голого редколесья тянуло весенней, берущей за душу сыростью. Порой на реке трещал лед — звуки были неожиданно резки и коротки. Слева виднелся бор, такой густой и плотный, что казалось: упади на него с неба — и не разобьешься, тебя только вверх подбросит.

Со взгорья, с поворота дороги, показалось Амушево. Небольшой поселок, приткнувшийся к реке. За каменной церковью без креста, за деревянными и кирпичными одноэтажными домиками, за пустынным заснеженным лугом стояли красные с белыми подтеками корпуса завода. Над ними маячила высокая с оттяжками железная труба — сразу можно было понять: это над котельной. Над корпусами виднелось несколько невысоких труб — это трубы горнов. Виден был и заводской двор с деревянными складскими помещениями для кварца, шпата и каолина, и желтоватые горы битых шамотовых обичаек в конце двора, и рельсы внутризаводской узкоколейки. Две большие цилиндрические цистерны — для мазута — блестели свежей краской. Вдоль серого забора тянулись штабеля метровых поленьев.

В небольшом здании заводоуправления я быстро нашел отдел кадров. И тут я узнал, что не так уж я необходим заводу. Один мазутный горн уже пущен, он работает нормально и без моей помощи, а два других будут зажжены только месяцев через пять.

— Мы же второе отношение в техникум ваш послали, что планы изменились и мы пока обходимся своими силами, — сказал мне заведомо кадров. Но потом он направил меня к начальнику горнового цеха — пусть найдет временную работу, раз уж я приехал.

Он выписал мне пропуск, и я, оставив чемоданчик в отделе кадров, направился на территорию завода, в горновой цех. Начальник горнового цеха перепоручил меня старшему теплотехнику Злыдневу. Тот сразу же спросил, работал ли я когда-нибудь на фарфоровом заводе.

— Работал на «Грудящемся», — ответил я. — На мазутных и дровяных горнах. На туннельной печи не работал.

— При какой температуре падает зегер-конус номер девять? — спросил вдруг Злыднев.

Я ответил, я это, слава богу, знал. «Подловить меня хочешь?» — подумал я и начал рассказывать ему о режиме обжига, обо всем, что знал по опыту работы и в теории.

— Довольно, довольно, — прервал меня Злыднев. — Вижу, что знаете... Только работы для вас нет, по линии ИТР зачислить не можем. Если хотите поработать без всяких привилегий — есть временное место. У нас один кочегар заболел, с почками у него, в больнице лежит. Хотите заменить его временно?

— Хорошо, — ответил я. Мне совсем не хотелось возвращаться в техникум. Там могут подумать, что я просто словчил.

— Кочегары у нас не только на обжиге работают — предупредил меня Злыднев. — Если недоработка по часам, то и по двору работают.

— Мне бара-бир, — ответил я.

— Что? Что?

— Бара-бир — это значит все равно, — объяснил я. — Это такое азиатское выражение. Короче говоря, я на все согласен.

— Сегодня отдыхайте, а завтра вас оформят. Остановиться можете у Никонова, это горновщик наш. У него и в прошлом году практиканты комнату снимали. С ним и насчет кормежки договоритесь. — И Злыднев подробно объяснил мне, как пройти к этому Никонову.

* * *

Вскоре я устраивался в отведенной мне комнатке. Прежде здесь жила дочь хозяев, она уже год как вышла замуж и переехала в районный городок. На стенах комнатки висели самодельные вышивки: ласточка, вьющаяся над кустом сирени; зеленая лягушка, держащая в лапках, как копье, камышинку, — это на фоне большого красного сердца; белый козлик на зеленом лугу, над ним — радужная бабочка. На комодке стояли пустые флаконы от духов, к уголку зеркала была приклеена переводная картинка: букетик фиалок. А в изголовье кровати высилась пирамидка подушек; их было четыре, одна другой меньше. Или, наоборот, одна другой больше. Смотря откуда считать.

Первым делом я раскрыл чемодан и выложил на столик у окна двадцать пачек дешевых папирос «Ракета» и одну пачку дорогих — «Борцы»: она была куплена на всякий случай, для представительства — или «для понта», как тогда говорилось. На видное место я положил бритвенный прибор, поставил флакон с тройным одеколоном. Потом в идеальном порядке разложил взятые с собой учебники. Затем, вынув общую тетрадь, я аккуратно вывел на ее обложке: «МОЯ ЖИЗНЬ И РАБОТА. Ежедневные самоотчеты». Раскрыв тетрадь, я на первой странице четким чертежным курсивом вывел: «Самоотчет №1». Но дальше дело не пошло. Самоотчитываться мне сейчас не хотелось, голова не тем была занята.

Первый раз в жизни мне предстояло жить и спать в «своей» комнате — в комнате, где стоит только одна кровать и где никого, кроме меня, нет. Меня охватило странное чувство свободы и какой-то легкости — и в то же время связанности. Вроде как в бане, когда, раздевшись догола, идешь по предбаннику. Я начал шагать взад-вперед, потом подошел к зеркалу, сморщил нос пяточком, выкатил глаза и оттопырил нижнюю губу — сделал мопсика, как говорилось у нас в детдоме. Потом оглянулся по сторонам. Нет, никто меня не видит, я совсем один. Могу делать мопсика, могу пройти по полу на руках — никто не увидит. Сняв ботинки, я прилег на постель. Она была узкая, но удивительно мягкая: с толстым матрасом, с вышитым покрывалом поверх ватного одеяла. Я и не заметил, что уснул, даже света не выключил.

Проснулся я ранним утром. Красное большое солнце горело где-то за деревьями. Окно

было прорублено так низко, что не то сад казался продолжением комнаты, не то комната продолжением сада. Сугроб под окном, покрывшийся настом от ночного морозца, был блестящ и клюквенно-красен. Соскочив с постели, я побежал в сени и долго мылся из медного рукомойника ледяной водой. Из-за приоткрытой дверки, ведущей в хлев, слышалось добродушное дыханье коровы. Потом оттуда вышел большой рыжий петух и с пристальным дружелюбием уставился на меня. Издалека послышался заводской гудок. В Ленинграде они были уже отменены, и здесь этот резкий, почти не смягченный расстоянием, глухо вибрирующий гуд казался неожиданным и тревожным. Но все обстояло хорошо.

Потом в холодноватой большой комнате хозяйка Мария Степановна поставила на стол большую фарфоровую кружку с молоком — это для меня.

— А что это у вас щека исполосована? — с незлой усмешкой спросила она.

Я встал из-за стола, посмотрелся в зеркало. Действительно, вся щека была в полосах от рубчатой вельветовой куртки.

— Это я в одежде заснул, — объяснил я. — Рука под головой лежала.

Выпив молоко, я увидел на дне кружки неискusstное изображение голой женщины. А по ободку шла довольно корявая надпись: «Хочешь видеть миня — выпей все до дна».

— Это наши после гражданской войны кустарничали, — пояснила хозяйка, заметив, что я разглядываю кружку. — Завод ничей был, так самосильно один горнишко жгли да вот такие бокалы по рынкам сбывали. Ну а потом дело пошло, потом мы и волховстроевский заказ выполняли, — с некоторой гордостью закончила она.

Затем она налила мне чаю и рассказала, что их завод очень старый и что до революции он принадлежал родственникам Корнилова.

— Только не генерала Корнилова, а того Корнилова-фабриканта, у которого был фарфоровый завод в Питере. А первый владелец нашего Амушевского завода похоронен недалеко отсюда, на Пятницком кладбище. И похоронен он в фарфоровом гробу — хотите верьте, хотите плюньте... Гроба этого никто не видел, но старики говорят, что так оно и есть.

10. Леля

Вскоре я отправился на завод оформляться. Это заняло не много времени, ведь устраивался не на постоянную работу. Получив временный пропуск, я пошел в горновой цех, и там мне выделили шкафчик и выписали наряд на спецодежду. Не спеша я пошел на хозсклад. Торопиться было некуда, я должен был заступать смену в двенадцать ночи и проработать до двенадцати дня — полсуток. Ведь кочегары на фарфоровом заводе не станочники, кочегары зависят от горна. Обжиг изделий идет в среднем тридцать шесть часов, потом горн охлаждается, потом идет выборка товара, потом загрузка, потом печники заделывают забирку (ход в горн) — и начинается следующий цикл. Поэтому кочегары в то время, которое я описываю, обычно работали три дня по полсуток, а затем полагался отгульный день.

Шагая по заводскому двору, я вскоре нашел небольшое кирпичное здание, в нижнем этаже которого помещался хозяйственный склад. Там я быстро получил подержанный комбинезон, рукавицы из мешковины и синие очки-консервы. Я уже собирался отнести все это в цех, в шкафчик, но, выйдя из склада, увидел другую дверь. Над ней была надпись: «Заводская библиотека-читальня — 2-й этаж». И я решил зайти туда. Помню, на нижней площадке, на бетонном полу, стояла открытая бочка с жидким мылом, лежали пустые бутылки от химикатов, связки веревок; пахло рогожей и сыростью. Я поднялся по щербатой каменной лестнице со старинными чугунными перилами на верхнюю узкую площадку, открыл дверь, вошел.

Читальня была как читальня. Стоял длинный стол, накрытый красной флажной материей с неясными следами букв, — видно, просто выстирали плакаты, оставшиеся от праздника, сшили их, и получилась скатерть. По обе стороны стола стояли длинные скамейки. На стене висел портрет Сталина с Мамлакат. В большое вымытое окно лился

мягкий, не слепящий весенний свет. Откуда-то приятно пахло жженым сахаром. Вход в соседнюю комнату был перегорожен барьерчиком, за ним стоял поцарапанный письменный стол, дальше виднелись книжные стеллажи. Перекинутый через спинку стула, висел узкий лиловый шарфик.

Я положил кепку, комбинезон и очки-консервы на край скамьи, взял со стоявшей в углу широкой этажерки свежую газету и принялся за чтение. Все шло по-прежнему: «Отдельные действия разведчиков вдоль франко-германской границы»; «Английские самолеты пытались прорваться к Гамбургу». В Европе продолжалась странная война.

Тем временем в читальне все сильнее пахло жженым сахаром. Запах этот шел из соседней комнаты, откуда-то из-за стеллажей. А вскоре оттуда даже дымком потянуло. Теперь пахло уже не жженым, а горелым. «Что такое? — забеспокоился я. — Может, пойти туда, за стеллажи? Но вдруг кто-нибудь в это время придет и подумает, что я полез воровать книги?»

Тут дверь с лестницы открылась, и в читальню неторопливо вошла девушка в синем сатиновом халатике. Она положила на стол пачку газет, удивленно понюхала воздух, удивленно и тихо сказала: «Да-да-да! Ведь это мой сахар!» — и, приподняв доску барьерчика, бросилась внутрь комнаты, за стеллажи.

Вскоре она вышла оттуда, села за письменный стол и спросила меня:

— Сюда никто не заходил?

— Никто, — ответил я. — А что?

— То, что электроплитку здесь нельзя жечь, — наставительно сказала она. — Но я иногда жгу, я варю себе сахарные тянучки. На этот раз он просто сгорел. Да-да-да!

— Кто он?

— Да сахар же! — строго сказала девушка. — Вы хотите взять книгу? Тогда на вас надо завести формуляр. Ведь вы приезжий?

— Да. Я из Ленинграда. А как вы догадались, что приезжий?

— Здешних я уже почти всех знаю... Ваше имя, отчество, фамилия? — спросила она, взяв карточку из продолговатого ящика.

Когда она дошла до графы «место работы», я коротко и весомо сказал: «Ленинградский имени Митина». Пусть думает, что я учусь в институте, а не в техникуме. Но на нее это не произвело никакого впечатления.

— Адрес домашний?

Узнав, что я с Васильевского, она на мгновение подняла на меня серые глаза, будто пытаясь что-то вспомнить, и сразу же опустила их.

— Я тоже живу на Васильевском, — равнодушно сказала она.

— На какой? — спросил я.

Она назвала линию. Потом спросила, что я хочу взять.

— Неплохо бы перечитать «Декамерона», — небрежно сказал я.

— Этой книги здесь нет, — чуть смутившись, ответила она. — Ведь библиотека техническая, беллетристики почти нет... Знаете, есть старинный комплект «Мира приключений». Хотите?

— Ну что ж, дайте хоть «Мир приключений», раз нет ничего интересней. И еще мне нужен сборник «Часовь-Ярские глины».

Она ушла в глубь комнаты, к стеллажу, и, встав на одно колено, нагнулась над нижней полкой. Волосы с рыжеватым отливом свесились ей на лицо, и она досадливо мотнула головой, отбрасывая их назад. «Мир приключений» был, видно, припрятан у нее за всякой скучной справочной литературой, и она давала читать его не каждому, а по какому-то своему выбору.

— Вот, — сказала она, кладя на стол толстый комплект и книгу. — Я журнала записывать за вами не буду, он списан. Но вы читайте поскорей.

В этот миг в читальню вошли двое пожилых мужчин, по виду итээры.

— Леля, вы нашли тот ценник? — с ходу спросил один из них.

— Да, Виктор Петрович, — ответила она. — Сейчас. — И она пошла к стеллажам. А я взял книги, захватил свою спецодежду и спустился на заводской двор.

— Эй, раззява мамина! Сторонись! — Мимо меня продребезжала по узкоколейке вагонетка с динасовым кирпичом, которую толкал дядька в потертом красноармейском шлеме. Я даже не отругнулся, а молча пошел дальше. Да и нечего тут было спорить: я действительно мог попасть под этот нехитрый внутризаводской транспорт, потому что шел задумавшись, и мне было ни до чего. А задумался я об этой девушке из библиотеки.

Я любил смотреть на красивых девушек и знал, что не так уж мало их на свете. Если пройти по проспекту Замечательных Недоступных Девушек, то есть по Большому, от Первой линии до Василеостровского сада, то в любую погоду встретишь несколько хорошеньких и хоть одну красивую, не хуже, чем в кинофильмах. Но они проходили мимо — и красота их вместе с ними уходила куда-то вдаль, в сумрак и свет бульвара. Проспект показывал их мне на мгновенье, а потом снова прятал, уводил, и они как бы переставали существовать для меня. И я снова оставался наедине с городом. А эта Леля как бы невидимо вышла вместе со мной из своей библиотеки и шла где-то рядом. И в это время мне хотелось вернуться и еще раз посмотреть на нее, поговорить с ней.

Она сказала мне, на какой улице она живет. Эта линия у меня еще не переименована, у нее только официальный номер. Теперь я дам ей название, раз там живет эта девушка. Подарю ей эту линию — мне не жалко. Пусть у нее будет своя улица, ведь никто об этом не узнает, даже сама Леля. Но как назвать? Лелина линия? Нет, это что-то не то. Лучше всего без упоминаний имени, пусть оно только подразумевается. Постановляю! Эта линия называется теперь так: Симпатичная линия!

Когда я вернулся в дом, хозяйка накормила меня обедом, и я пошел в свою комнатку. Здесь я раскрыл тетрадь «МОЯ ЖИЗНЬ И РАБОТА», ведь меня ждал «Самоотчет №1». Опять ничего путного в голову не шло, и я отложил это дело на завтра, а сам забрался на кровать, открыл на середине комплект «Мира приключений» и начал читать про обычаи жителей Полинезии. Как ни интересно было читать, нет-нет на страницу наплывало лицо этой самой Лели. «Почему она вся какая-то не такая, как другие? — думал я. — Какая-то аккуратная, необыкновенная? А чего в ней такого, отчего она такая? Потому что воротничок сатинового халата обшит у нее какой-то красной тесемкой? А при чем тут тесемки и халаты! Жила эта Леля без тебя девятнадцать или двадцать лет — и еще проживет сколько угодно. Очень-то ты ей нужен!»

11. У огня

Я вышел из дому пораньше, чтобы по неписанным правилам кочегарской этики сменить своего досменщика минут за десять до ночного гудка. Ночь была темная, пахло талым снегом. Широкий огненный факел над трубой седьмого (дровяного) горна упирался прямо в тучу. Человеку, не понимающему в этом деле, могло показаться, что кочегары зря пережигают топливо. Но горн не котел. Здесь действуют иные законы — на последней стадии обжига пламя должно обволакивать обжигаемые изделия. Именно поэтому употребляют длиннопламенные дрова: ель, сосну; береза, хоть она и дает большой жар, для фарфора не годится — у нее короткое пламя.

Не торопясь, шагал я по протоптанной среди поля тропинке. Кругом никого не было, никто не шел со мной к заводу: в ночную смену работали только кочегары. Меня окружала нестрашная, какая-то уютная темнота. Справа, от реки, тянуло весенним зябким холодком. Поеживаясь в своем пальтугане, я нес под мышкой завернутую в газету книгу — сборник «Часовь-Ярские глины». Этот сборник я намеревался сдать утром в библиотеку — специально для того, чтобы повидать Лелю. «Какое красивое имя, — думал я. — Леля. Леля. Леля». Я оглянулся, нет ли кого позади, и крикнул в сторону реки:

— Леля!

В ответ слышался смутный шум, будто река заворочалась во сне. Потом звонко

хрустнула льдина, за ней еще и еще — и ото всей реки пошел хруст, шорох и звон. Началась подвижка льда. Потом снова стало тихо.

После ночной сырости приятно было войти в сухое тепло горнового цеха. Сменив кочегара Енокаева, я остался у горна со Степановым — это был старший кочегар на правах теплотехника, он вел обжиг.

— Подкинем, что ли, по десять палок, — сказал Степанов, взглянув на ходики, и пошел к своим двум топкам.

Я надвинул на глаза синие очки, надел рукавицы и подошел к топке, встав сбоку, чтобы лицо не приходилось против огня. Откатив шамотовую, на потайных железных колесиках дверцу, находившуюся на уровне моей груди, я начал кидать внутрь метровые поленья, торцом стоящие возле горна. Даже сквозь синие стекла «консервов» внутренность топки ослепляла. Раскаленная футеровка светилась розовым накалом, оплавленный динасовый кирпич маленькими сосульками свисал со свода. Поленья вспыхивали на лету, еще не коснувшись пола. В лицо мне било жаром, одна рукавица задымилась. Накормив обе топки, я подкатил вагонетку с дровами, наставил их торцами — про запас, и побежал к конторке. Степанов сидел уже там.

— Вот так и работаем, сами себе цари, — сказал он. — Кочегар на горне — что капитан на корабле.

Мы были с ним двое во всем цеху, оба соседних горна остывали. Где-то в конце помещения выл мотор вентилятора, гоня по толстым трубам из листового железа воздух в остывающие горны. Негромко гудел огонь нашего горна. Сквозь эти шумы слышно было мирное тиканье ходиков. Они висели на наружной стене конторки, рядом с дощечкой для приказов и картой Европы. «Карта военных действий» — было написано на ней сверху от руки. Немецкие флажки (зеленые), французские (голубые) и оранжевые флажки английского экспедиционного корпуса мирно стояли на своих древках-булавочках вдоль границы друг против друга. Они уже повыгорели, покрылись мелкой фарфоровой пылью. Некоторые из них покосились и готовы были выпасть из карты. Шла странная война.

— Идем, подкинем-ка по десять палок, — сказал Степанов. — А потом вынешь пробу.

Я снова накормил свои топки. Затем взял длинную железную указку с крючком на конце, вроде как у вязальной спицы, и, открыв смотровое отверстие, заглянул в глубь горна. Там, отделенный от меня стеной метровой толщины, в круглой башне, тихими густыми волнами ходил огонь. Он ворочался важно и неторопливо, как зверь в своей берлоге. Колонны обичаек, в которых стоял фарфор, казались почти прозрачными от накала. Шли те часы обжига, когда весь горн должен быть набит огнем, как арбуз мякотью. Железной указкой я подцепил один из фарфоровых стаканчиков с круглой дыркой на боку — пробу — и положил его на цементный пол перед Степановым. Стаканчик сперва был огненно-розовым, невидимые пылинки, садясь на него, вспыхивали мелкими искрами. Потом он потускнел, остыл, стал голубовато-белым. Степанов нагнулся, взял его рукавицей, быстро разбил об пол и посмотрел на излом, — ему нужно было узнать, как спекается масса.

— Идем-ка, подкинем десять палок.

В начале смены мне работалось легко, помогала эта десятиминутная ритмичность. Но за время ученья в техникуме я отвык от работы. К тому же, когда я кочегарил на «Трудящемся», мне редко приходилось дежурить у дровяного горна. И теперь отвычка стала сказываться. Трех часов не прошло — заныли руки, майка под комбинезоном от пота прилипла к телу. Все чаще я бегал к бачку с подсоленной водой. Я пил тепловатую воду, и на время становилось легче, а затем еще больше хотелось пить. Потом пробило уже и комбинезон, он намок. А вот Степанову — тому все было нипочем. Будто и не спеша подбрасывал он «палки» в топку; походка его была неторопливо-легкая, на лбу — ни росинки. Он вроде бы и не уставал — высокий, худой, будто зной горнового цеха навсегда вытопил из него жир и накрепко присушил мышцы к костям. Только веки его чуть красноваты и глаза подернуты еле заметной орлиной пленкой, — как это бывает у людей, всю жизнь имеющих дело с огнем. Спокойный, немногоречивый, он нет-нет да и отпускал свои поговорки.

— Кочегар-водохлеб годен только во гроб, — задумчиво сказал он, глядя, как я рукавом комбинезона отираю пот со лба. — Если бы я, как ты, воду хлестал, я бы давно загнулся, а я уже двадцать три года при горне... Ну, пора еще десять палок подкинуть.

Я продолжал бегать пить, жажда меня мучила все больше. Но вот и Степанов пошел к бачку. «Ага! — подумал я. — И тебя пробрало!» Но когда я опять побежал на водопой, то увидел, что кран у бачка отвернут. Остатки воды тихо стекали по табуретке на бетонный пол.

— Вы кран завернуть забыли, — заявил я Степанову.

— Не забыл, — спокойно ответил он. — Это я для того, чтобы ты не пил. Запомни: идешь на работу — выпей три чашки горячего чаю: придешь с работы — выпей две чашки. А у огня не пей, а то не работник будешь.

«Вот ты какой!» — обиделся я и хотел обругать его. Но ругать старшего по работе нельзя. Да и по возрасту он годится мне в отцы. «Бара-бир, все равно воду в бак не вернешь», — подумалось мне. К тому же теперь, когда я знал, что воды нет, мне не так уж хотелось пить.

К концу смены я уже прочно вошел в ритм; усталость я чувствовал, но она не мешала работе, а только заставляла экономить движения. Наконец пришел сменщик, и я отправился в душ. С радостью ощущал я, как теплая вода скользит по телу, как кожа становится гладкой и мягкой.

Потом я перекрыл вентиль горячей воды и стал плясать под холодным душем. Я плясал и, благо никто не услышит, во всю глотку орал:

Пусть череп проломит кастет,
Сегодня люблю, завтра нет!
Сам сатана нальет нам вина.
Ночь для страстей дана!

Таких романсов я знал много и при любых случаях пел их с удовольствием, но это было удовольствие только для себя; едва я начинал петь дома, на Васильевском, ребята сердились и просили замолчать. А здесь я мог голосить сколько угодно. Потом я прервал пение. Я вдруг почувствовал, что под холодной водой тело словно тянется вверх, будто стебель, будто я расту у себя на глазах. На мгновение в меня вступила такая легкость, какая бывает, когда летаешь во сне. Но тут это было наяву, и вся жизнь была наяву.

Я оделся в домашнее, повесил комбинезон в шкафчик, попрощался со Степановым — ему предстояло дежурить до закрытия горна. Степанов взглянул на толстую книгу «Часовь-Ярские глины» и сказал:

— Ну, сегодня книг тебе не читать, сегодня спать будешь как колода... В библиотеке взял, у новой библиотечарши?

— Да, — ответил я. — А что?

— Еще один читатель объявился, — не без ехидства молвил Степанов. — Посадить бы туда какую старушку божию, живо бы половина читателей отшила.

— Ничего, она и сама отшивать их умеет, — заметил мой сменщик Моргунов. — Девушка самостоятельная, к ней не подкатишься.

— А я и не подкатываюсь. Может, у меня в Ленинграде девушек — хоть засыпсья.

— Заливай! — буркнул Степанов и, обратясь к Моргунову, сказал: — А ну, подкинем-ка по десять палок!

12. Однажды утром

Теперь я чуть ли не каждый день наведывался в библиотеку. Чтобы был предлог для этого, я брал самые умные и толстые технические книги, но возвращал их не читая. И учебники, взятые из Ленинграда, тоже аккуратной стопкой лежали на месте. Да и «Самоотчет №1» не продвинулся ни на строчку. Зато каждый день перед сном я вытаскивал

из-под подушки «Мир приключений» и читал его, пока не слипались глаза.

Когда я заставал Лелю в библиотеке одну, у меня развязывался язык. Я рассказывал ей о себе, о своих друзьях. Иногда я немного привирал. Не в свою пользу, а просто чтоб было интереснее. Леля о себе говорила меньше, однако я уже знал, что после школы она держала в университет на биологический, провалила, затем пошла на чертежные краткосрочные курсы и недолго работала в конструкторском бюро, потом временно устроилась на заводе — здесь ее тетка замужем за главным инженером. Тут ее временно зачислили на должность чертежника-архивариуса, но сразу же перевели в библиотеку: здешняя библиотекарша только что ушла на пенсию. В будущем Леля будет снова держать в университет. Мать ее умерла много лет тому назад, а отец где-то в Сибири, он геолог.

Когда кто-нибудь входил в читальню во время наших разговоров, я деловито и степенно обращался к Леле:

— Запишите, пожалуйста, за мной эту «Общую технологию», я верну ее через день.

— Хорошо, вы можете взять эту книгу, я записала ее за вами, — ровным голосом отвечала Леля. Фразы наши звучали так, будто переводили их из учебника немецкого языка.

Иногда мне очень не хотелось уходить, я ждал, когда уйдет посетитель. Я садился за длинный стол в читальне, брал свежую газету. «Сообщение о занятии германскими войсками Тронгейма», «Норвежское правительство покинуло Осло», «Бой у норвежских берегов» — читал я заголовки. Затишье в Европе кончилось, немцы захватывали Норвегию. Но Норвегия, как и всякая заграница, казалось мне, находится где-то очень далеко, в каком-то другом измерении. Я подымал глаза от газеты и начинал смотреть в спину посетителю. «Уходи, уходи скорей! — приказывал я мысленно. — Нечего тебе тут околачиваться!» Иногда внушение действовало — читатель уходил довольно быстро, и я опять оставался с Лелей. Я снова начинал ей что-нибудь рассказывать. Она слушала, рассеянно перебирая какие-то листки и карточки.

Однажды ранним утром возвращался я с завода в свое временное жилье. Горн закрыли в семь тридцать, и старший отпустил меня домой. Я шагал не через поле, а береговой тропинкой, она немного сокращала путь. В это туманное утро берег был совсем безлюден, стояла тишина. По темной реке навстречу мне плыли запоздалые льдины, от ивняка пахло раскрывающимися почками, влажной древесиной, корой. Под подошвами хлопала вода. После бессонной ночи слегка знобило, в теле чувствовалась какая-то сухость, ныли ноги. Мне не хотелось ни пить, ни есть, ни даже спать, но я знал: стоит лечь в постель — и сразу усну. А перед тем как уснуть, я еще выну из-под подушки «Мир приключений», почитаю немного — чтобы продлить счастливое ожидание сна, а потом еще поворочаюсь с боку на бок, чтобы было уютнее, потом натяну одеяло на голову, оставив только маленькую лунку, чтобы дышать, по старой детдомовской привычке, — и вот тогда усну.

Вдруг я услышал, что кто-то идет мне навстречу. Я поднял глаза — Леля! Одета она была как-то необычно, не в свое. На ногах — порыжелые русские сапоги, на голове — зеленый теплый платок.

— Леля, куда ты? — вырвалось у меня. Я сперва даже не заметил, что назвал ее на ты.

— Тетя Маша опять захворала, — ответила она. — За кальцеком в заводской медпункт.

— Леля, можно, я провожу? — спросил я, уже не решаясь добавить «тебя».

— Проводи немножко, — ответила она. — Только я ведь тороплюсь.

Здесь нельзя было идти быстро. Ноги у нас вязли, разъезжались. Мы шли рядом, порой касаясь плечами друг друга. Совсем близко от нас по темной реке, следом за нами, как ручная, плыла белая льдинка. Иногда я искоса поглядывал на Лелю, на ее озябшее и озабоченное лицо. Когда она споткнулась о мокрый корень, тянувшийся через тропку, я поддержал ее под руку.

— Неудобные сапоги, — сказала она, повернувшись ко мне.

— В других здесь сейчас и нельзя.

— Да, в других сейчас и нельзя, — задумчиво согласилась она.

Когда за кустами показался заводской забор, Леля сказала, чтобы дальше я не провожал.

— Хорошо, Леля, я домой пойду.

— Да-да-да, Толя, иди домой, — с какой-то ласковой повелительностью проговорила она.

Я повернул обратно, к дому, счастливый тем, что мне есть в чем повиниться ей. Шел я не оглядываясь. Я боялся оглянуться. Вдруг оглянусь — и нигде ее не увижу, и окажется, что ничего этого и не было, никого я не встретил этим утром. Просто все это почудилось от усталости, от бессонной ночи.

13. У парома

Два дня после этого утра я не заходил в библиотеку и нигде не встречал Лели, да и не искал встречи. Мне хватало воспоминания об этом утре. Я вспоминал, что говорила Леля и что говорил я, и как следом за нами плыла белая льдинка, — и чувствовал себя таким счастливым, будто запасся счастьем на всю жизнь, и ничего уж больше мне не надо.

На третий день, едва я вернулся с дневной смены, за мной зашел кочегар Леня Краюшный — мы еще вчера сговорились идти на рыбалку, хоть в такое время шансов на удачу было немного.

— Идем рыбу удить! Снасть на двоих есть! Я тебе место покажу! — крикнул он, входя в комнатку, и весь дом загудел от его голоса. До кочегарства Леня работал у бегунов, в цеху, где готовится фарфоровая масса. Бегуны — это два больших жернова, они бегают по вечному кругу в огромной гранитной чаше, дробя кварц, — и при этом очень шумят. Поэтому Леня и привык не говорить, а кричать. Фамилия Лени была Зуев, но его все звали Краюшным, потому что он жил в самом крайнем домике поселка, у оврага. Из-за своего громкого разговора и широкого безбрового лица Леня казался странным, даже чуть придурковатым. А на самом деле он был человек неглупый, читал очень много и два раза был премирован за рационализаторские предложения.

Мы прошли улицей поселка мимо тихих, невзрачных домиков. Прошли и мимо дома, где жила Леля. Мне даже почудилось, что она сидела у окна, но сразу же отодвинулась от него, когда мы проходили возле палисадника.

— Нашего берега рыба не любит, здесь с завода воду из фильтропрессов спускают! — прогремел Краюшный. — На тот берег переедем.

Миновав рошу, мы вышли к перевозу. Шоссе, гладкое, прямое и уже совсем просохшее, упиралось прямо в реку и, вынырнув на другом берегу, шло дальше, как ни в чем не бывало, такое же сухое и ровное. Посреди реки виден был паром, он медленно двигался в нашу сторону. Его канат время от времени сердито бил по воде, и от ударов по плесу шли узкие длинные блинки. Уже хорошо видны были пассажиры, подводы и настороженно косящиеся на воду кони. Когда паром подчалил, запахло дегтем, сеном и конским потом.

— Дядя Афоня, перевези нас задаром, у нас гривенников нет! — гаркнул Леня Краюшный.

— Тише ты, труба ерихонская! — строго сказал паромщик. — Коней пугаешь!

Меж тем с парома все сошли и съехали, и мы взошли на палубу.

— Ну, потянули, что ли! — обратился к нам паромщик. — На том берегу ждут. Сейчас все с Хмелева едут, поезд встречали.

— Потянули! — гулко сказал Леня, и эхо откликнулось ему с того берега.

— Пойдите, никак поспешает кто-то, — остановил нас дядя Афоня. Потом, взглядевшись, улыбаясь, добавил: — Оляка Богданова бежит, Марь-Викторовны племяшка. И чего ей зандобилось на том берегу?

Через минуту Леля — легкая, порозовевшая от бега — ступила на паром. Она несла пустую провизионную сумку из коричневых кожаных обрезков. Не глядя на нас, она поздоровалась с паромщиком и честно уплатила ему гривенник за переезд. Потом

повернулась к нам и сказала:

— Здравствуй, Леня!

— Здравствуй, Оля! — молвил Краюшный, и снова эхо на другом берегу добросовестно повторило его слова.

— Леля, здравствуй, — сказал я наигранно небрежным тоном.

— Здравствуй, — равнодушно, почти враждебно ответила она, не глядя на меня.

У меня упало сердце от ее равнодушного голоса, а она присела на узкую лавочку, идущую недалеко от борта парома, и стала глядеть на воду.

— Ну, гольтьба, отработывай! — распорядился дядя Афоня. Он взялся за канат, мы с Леней тоже. Паром медленно, нехотя отвалил от берега. Тупо упершись ногами в палубу, тянул я этот мокрый шершавый канат. На душе у меня было смутно, тревожно, и хотелось эту тревогу перевести в усилие всего тела, в напряжение, неуклонное движение парома.

— Вот и до середины добрались, ай да мы! — пробасил вдруг Краюшный. — Полгривенника отработали!

Мне стало неловко, что он заговорил об этом при Леле, — она, пожалуй, теперь подумает, что я всегда и всюду езжу на шарапа. Я поглядел на нее. Она неловко, боком, сидела на узкой скамейке. Почувствовав мой взгляд, она обернулась, чуть улыбнулась мне — и сразу отвела глаза. И вдруг звонко и вкрадчиво-весело запела под паромом вода, и с берега донесся запах весенней зелени, и все вокруг переменялось — будто в природе сработала какая-то пружинка. Теперь я уже с радостью тянул мокрый канат, и мне казалось, что паром движется только благодаря моим усилиям.

— Что так поздно в магазин, Олюшка? — спросил вдруг паромщик, когда мы подчалили к берегу.

— Так... Мне в ларек, — торопливо ответила она, сходя на берег.

— Ну разве что в ларек... Смотри, последний паром в девять часов перегоню.

Мы с Леней Краюшным забрали удочки и пошли по берегу вправо, мимо избышки паромщика.

— С «Ангела» будем удить, — гаркнул Леня, — там хорошо клюет!

«Ангел» стоял в затончике, кормой к реке. Мы подошли к нему. Это была большая широкая лодка, рассчитанная на пять пар гребцов. В носовой ее части была сделана площадка — для сена и для гроба. Весенними половодьями Полать так разливается, что на Пятницкое кладбище, расположенное на холме в семи километрах от поселка, посуху ни пройти, ни проехать. Если кто-нибудь умирает в такое неудачное время, его везут хоронить по реке, благо кладбище на самом берегу. А летом, в сенокос, на этой лодке возят в поселок сено с дальних пойменных лугов. Когда-то эта посуда принадлежала звонарю местной церкви, но потом церковь закрыли, и лодка перешла в собственность поселка, а весла стал хранить паромщик. Лодка была старинная, дубовая, ее лоснящиеся скамейки покрывала паутина мелких трещинок. Но снаружи корпус сиял свежей шаровой масляной краской; сквозь краску на носу проглядывала надпись зелеными славянскими буквами:

Тихий Ангель

Мы прошли на корму, и Леня вынул из старой противогазной сумки жестяную коробочку «Моссельпром» с червяками. Рыбная ловля началась. Но рыба клевала совсем плохо — и не то время дня было, да и вода еще холодна.

— А гордая дивчина эта Олюха Богданова! — задумчиво прокричал Краюшный, закидывая удочку. — К ней кое-какие ребята подходы делали, а она — никакого внимания.

— Гордая? — переспросил я.

— Гордая! — подтвердил Леня. — Но, между прочим, не вредная. Хорошая.

— А ты за ней стрелял?

— Ну, это товар не по мне, — грубо, но с какой-то затаенной грустью ответил Краюшный. И вдруг загорланил на всю реку:

Да эх, кукушечка, ку-ку,
Да мне бы рябеньку каку,
Да мне б молоденьку каку,
Да лет под семьдесят каку!

— Тише, ты, рыбу всю распугаешь!

— Э, все равно она, сволота, не клюет... А вот у нас в поселке слух идет, будто в Питере крысиный король родился. Правда это?

— Что за крысиный король?

— Во! Студент, а не знаешь! Крысиный король — это когда шестнадцать крыс сразу рождаются, со сросшимися хвостами. Эти шестнадцать — вроде как бы одна, вроде одной головой думают. Он очень умный, этот крысиный король, его все крысы слушаются. Он сам промышлять не ходит, а крысы его охраняют и кормят. В том доме, где он завелся, крысы у людей ничего не трогают, они ему корм издалека несут. И ни одна кошка его никогда не тронет — уважают. А если какая-нибудь опасность ему угрожает — крысы его хоть за сто верст в другое место на себе уташат. Вот какой он, крысиный король!

— Это просто суеверье, — сказал я Лене Краюшному. — Ты вроде и не дурак, а в такую чепуху веришь.

— Может, и вправду чепуха, — согласился Ленья. — А может, и есть он, да никто из людей толком не разглядел его. Он, этот крысиный король, говорят, только раз в сто лет нарождается... Не клюет, сволота!

Мы еще долго сидели на корме «Ангела». Река текла, такая ровная и гладкая, что, казалось, стоит очень уж захотеть — и пройдешь над ее глубиной, как по толстому стеклу, не замочив ног. Начался было клев, и Ленья поймал несколько плотичек. А я — ничего. Поплавки стояли как воткнутые, их только слегка относил течением.

— Ну, с меня довольно, кошке на ужин наловил! — прогудел Краюшный и намотал леску на удилище.

— Ты иди, если хочешь, — сказал я. — А я поужу еще. Может, что и попадется.

— Значит, остаешься? — спросил Ленья. — Ну, оставайся... — Он внимательно поглядел на меня и, ссутулясь, зашагал к переправе.

Я остался один. Никакого клева не было, да и смотрел я не столько на поплавок, сколько на шоссе, сбегующее с берегового холма. Проехали две подводы, изредка показывались пешеходы, направлявшиеся к переправе. Лели все не было — я бы разглядел. Потом паром отчалил. Теперь дорога совсем опустела. Тогда я спрятал удочку в кусты и побежал к шоссе.

По шоссе я направился в сторону Хмелева. Вскоре я увидел Лелю. Она шла навстречу мне по обочине, помахивая своей сумкой из сапожной кожи. Сумка, видно, была совсем легкая.

— Леля, — сказал я, подойдя к ней, а больше ничего сказать не мог.

— Что, Толя? — мягко спросила она, ничуть не удивляясь моему появлению. — Ну, что?

— Ты на меня за что-нибудь сердишься?

— Нет-нет-нет, — ответила она. — Не сержусь.

— Ларек уже закрыт был, что ты ничего не купила? — спросил я, не зная, что говорить.

— Закрыт был, ничего не купила, — без сожаления ответила она.

— А где же ты так долго была?

— По лесу гуляла, веночки плела, — нараспев ответила Леля. И она раскрыла свою сумку и вынула из нее два желтых венка, аккуратно сплетенных из придорожных одуванчиков. — Ну-ка, снимай кепку.

Я снял кепку, и она напялила мне на голову желтый веночек.

— Тебе очень идет. Ты на кого-то в нем очень похож.

— На кого?

— Не знаю на кого, — засмеялась она. — А мне идет?

— Тебе очень идет, — сказал я. — Хоть они и желтые... Тебе всё идет.

— Ну, всё да не всё.

Мы подошли к переправе и встали на дощатом причальном мостике, облокотившись на перила. Ни здесь, ни на другом берегу никого не было видно. Уже смеркалось, на воду наплывала серая дымка.

— Дядя Афоня! Дядя Афоня! — закричал я, сложив рупором ладони.

— Не кричи, — негромко сказала Леля, тронув меня за рукав. — Он там пассажиров поджидает. Из-за нас двоих он паром не погонит, ему одному и не справиться.

Мы стали ждать. Локоть Лели чуть касался моего локтя, мне было очень хорошо стоять так рядом с ней. Но она молчала, и я тоже молчал. Не знал, о чем говорить. Когда я бывал у нее там, в библиотеке, разговор заводился как-то сам собой, а здесь, на реке, рядом с лесом, в этом открытом вечеряющем пространстве, я не знал, о чем говорить. Но мне казалось, что молчать нельзя — вдруг она сочтет меня глупым, неинтересным, ненаходчивым. Я вспомнил, что в техникуме в нашей группе есть такой Вася Абанеев, известный бабник, которому удивительно везет с девушками. Он — остряк-самоучка, у него запасено несколько ключевых вопросов, после которых разговор катится как по рельсам.

— Что ж ты, Леля, молчишь? Расскажи какой-нибудь фактец из твоей интимной биографии, — нерешительно произнес я одну из абанеевских фраз.

Леля отодвинулась и со строгим недоумением посмотрела на меня.

— Не понимаю, что ты такое вообразил... Ты слишком много воображаешь о себе, — сердито, почти грубо сказала она.

— Леля, не сердись... Я совсем не то хотел. Я просто дурак.

— Дядя Афоня, наверно, заснул на том берегу, — спокойно сказала Леля. — А ты рыбы не наловил?

— Не клевала. Ленька, правда, кое-какую мелочь, поймал.

— А ты — ничего? Значит, зря просидел?

— Нет, не зря! — возразил я.

— Но ведь ничего не поймал — значит, зря. — Она пристально взглянула на меня и перевела взгляд на воду.

— Нет, не зря! — повторил я. — Потом когда-нибудь я тебе скажу, почему не зря... Но ты и вправду в этом венке очень красивая. Девочка — дай бог на пасху!

— Не говори глупостей. Давай лучше бросим венки в воду, поглядим, куда они поплывут. Ты брось мой, а я брошу твой. И пусть каждый задумает, что захочет. Здесь так гадают.

Мы обменялись венками и бросили их в реку. Венки поплыли рядом. Потом у маленького выступа, где ополз кусок берега, где торчали коряги и между ними бурлила и вспучивалась еще не сбывшая вода, Лелин веночек отклонился от курса. Его потащило течением в сторону, втянуло под нависающие корни, и он где-то там скрылся. А мой веночек поплыл дальше по темной вечеряющей реке.

— Ты в приметы веришь? — спросила Леля.

— Мы — приматы, приматы,
Мы не верим в приметы,
Мы судьбой не приматы,
Мы тверды, как кастеты, —

ответил я.

— Что это за стихи? — удивилась она. — Почему кастеты?

— Это ты у Володьки Шкилета спроси, почему кастеты. Это из его стихотворения, он нам все уши им прожужжал. А вообще-то он больше пишет о будущей войне. Он думает, что

война обязательно будет.

— Господи, война же только что была, с финнами. Какую ему еще нужно войну?

— Шкиле-то? Ему никакой войны не нужно, но он считает, что она когда-нибудь да начнется, может быть, даже скоро. Это у него бзик.

— Зачем вы его скелетом дразните? — спросила Леля. — Разве это хорошо?

— Не дразним, а зовем. И то только в особых случаях. Когда он в детдоме появился, он был очень тощий, его прозвали Шкилет — Семь Лет. А потом сократили в Шкилю, так и осталось. А я вот — Чухна, а Костя — Синявый. А Гришка был Мымрик...

— А девочкам вы тоже давали прозвища? Если б я была в детдоме, меня бы тоже как-нибудь прозвали?

— Тебя бы прозвали необидно, потому что ты симпатичная... Леля, пойдем послезавтра в кино, а?

— В кино? Хорошо... Вот и дядя Афоня едет на лодке, он нас перевезет... Хорошо, я пойду в кино.

14. Закон ящика

Крысиный король уходил из города. Вернее, его уносили крысы на своих спинах. Они под ним сгрудились в тесную массу, в серую, чуть-чуть шевелящуюся площадку, — и он восседал на этой живой платформе. Он был, этот король, с шестнадцатью сросшимися хвостами, с шестнадцатью умными головами — и у всех одинаково тревожное выражение. Он напоминал какой-то не то серый венок, не то шестерню, не то штурвал: в центре — сросшиеся хвосты, от них отходят серые туловища, и шестнадцать пар крысиных умных глаз смотрят по кругу во все стороны. Чуть поодаль от крыс, несущих короля, шли крысы-телохранители, большие отборные корабельные крысы, крысы из столовых и складов. Шли выдающиеся крысы — крысы-крысавцы и крысы-крысавицы. За ними шли обыкновенные домашние. Все двигались очень торопливо, но строго соблюдая ряды. В них не было ничего противного, и морды у них были не злые, но очень серьезные, сосредоточенные. Уже крысиный король со своей личной охраной свернул с Большого и в Первую линию, а они все шли и шли мимо меня, и мне стало грустно и страшно. Казалось бы, радоваться надо, что крысиный король уходит куда-то из города, — а я не радовался. Потом я понял, что я во сне, — и проснулся.

Я встал, умылся. На душе у меня было смутно. Но когда я выпил все молоко из кружки «хочешь видеть миня — выпей все до дна», увидел на дне толстую голую тетку, мне стало веселей. «Черт с тобой, крысиный король, — подумал я, — меня не запугаешь! Раз день начался с такого дурацкого сна, значит, все в порядке».

Я давно уже заметил и принял к сведению, что если что-нибудь начинается с удачи, с хорошей погоды, с хорошего настроения, с веселья, с добрых примет, то потом добра не жди. Удача обернется неудачей, хорошая погода к вечеру обернется морозящим дождем, веселье обернется такой тоской, что хоть плачь, добрые приметы напророчат какую-нибудь дребедень. «Лучше уж пусть хуже будет вначале — зато потом будет лучше. Моя жизнь началась неважно, детство у меня было не очень веселое — значит, в будущем меня ждет счастье, — так втайне думал я. — Да здравствует закон ящика!»

Однажды наш завхоз привез в детдом ящик купленного по дешевке подпорченного мыла. Когда ящик открыли, оттуда пошла такая вонь, что хоть нос затыкай: верхние куски напоминали какую-то слизь, от них несло тухлым салом и еще чем-то совсем уж противным. Мы с отвращением мылись этим мылом и проклинали завхоза. Но чем ближе ко дну ящика — тем мыло ряд за рядом становилось лучше. И когда содержимое ящика было на исходе, мы мылись уже отличным мылом. Я до сих пор помню эти большие куски, белые с синими прожилками, похожие на мрамор. Их резали на кусочки и раздавали нам перед баней. И всем мы были довольны. А ведь ящик могли открыть и с другой стороны, и тогда бы все пошло наоборот, от лучшего к худшему. Нет, пусть уж сперва плохо, а потом хорошо... Мне уже,

кажется, начинает везти в жизни, и — согласно закону ящика — в будущем меня ждет безоблачное счастье.

Так размышлял я в то утро. Все мне казалось очень просто.

Вечером я ожидал Лелю у входа в кино. Оно помещалось в каменной церкви. Церковь была довольно большая, когда-то богатая; ее построил еще первый владелец Амушевского завода — тот самый, которого потом будто похоронили в фарфоровом гробу. Сейчас у входа в кинозал висел вылинявший плакат «Добро пожаловать», а пониже — рукописная афиша. Фильм этот я уже видел в Ленинграде. Там шла речь об одном инженере, который чуть было не стал вредителем, но вовремя одумался и исправился через любовь к одной умной и принципиальной журналистке с красивыми ногами, и даже сам потом помогал выявлять вредителей.

Пришла Леля. На ней серый костюмчик с приподнятыми плечами, черный берет, в руках — сумочка.

— Леля, я почему-то думал, что ты не придешь.

— Почему? — спросила она, сделав удивленное лицо.

— Так... Просто не верил.

— А ты верь мне всегда... — не то серьезно, не то шутливо сказала она и смахнула с моего рукава невидимую мне пушинку.

Мы вошли в церковь, уставленную скамейками, и сели в заднем ряду. Все передние ряды, как это водится в таких провинциальных киношках, заняли ребяташки. Они там возились и галдели. На стенах висели всякие диаграммы и плакаты, а повыше, под куполом, можно было разглядеть ангелов и святых. Вид у них был не очень кроткий. Один ангел стоял наклонясь, с мечом, другой держал копьё, третий — хоругвь, на которой было что-то написано золотыми славянскими буквами. Там у них шло какое-то свое небесное совещание. Вернее даже — совещание уже закончилось, они там что-то уже порешили и постановили.

Лампочки погасли. Где-то близко над нами заработал киноаппарат. Над нашими головами протянулся длинный световой брусок, и экран запылал ответным пульсирующим светом. Зрители присмирели. Начался киножурнал, старенький, прошлогодний. Сперва показана была стройка, потом новая железная дорога и поезд, идущий по ней, — на движущийся поезд никогда не надоест смотреть. Потом дали иностранную кинохронику.

По шоссе двигалась немецкая пехота. Колонна снята была сбоку, с обочины. Они шагали как бы мимо нас. По-видимому, батальон недавно вышел из боя, у одного солдата виднелась на голове белая повязка, сквозь бинты проступало темное пятно. Каски — у пояса, воротники курток расстегнуты, штыки в ножнах висели на ремнях. Тускло блестели овальные коробки противогазов из рифленого железа. До заключения с Германией договора о ненападении у нас писали, что у немцев все держится на палочной дисциплине, а потом перестали писать о таких вещах. У этих, на экране, палочной дисциплины не чувствовалось. Они шли не спеша, но и не медля, выработанным ходким шагом, шли в строю, но не соблюдая его строго, шли не по-парадному. Шли так, как, наверно, удобнее всего идти в походе. И лица у солдат были не угрюмые и не забытые. Офицер, шагающий сбоку, не подгонял их, он шел, сшибая тросточкой травинки. Вряд ли он лупит этой тросточкой солдат. Нет, тут действовала какая-то другая, непонятная мне дисциплина — не добрая, но и не палочная.

Я взглянул в купол — мерцающий отсвет с экрана скользил по лицам ангелов, по их оружию, по распахнутым для полета крыльям. Хоругвь с золотыми письменами колыхалась от света, как от ветра. Экран на мгновенье померк, потом пошли новые кадры: пляжный сезон в Копакабане. Красивая смуглая женщина, почти без ничего, бежала по песку к океану.

Затем начался художественный фильм. Мы досмотрели его до середины, и тут я сказал Леле:

— Сейчас будет пожар, а после пожара уже совсем не интересно.

— Нет, еще собака будет, — ответила Леля.

— Ты, значит, тоже эту картину уже смотрела?

— Смотрела. А что?

— Так. Значит, ты очень любишь кино?

— Нет, не очень люблю кино. Только я об этом никому еще не говорила. Никто об этом не знает. Вот что: я люблю валяться на диване и читать.

— Я тоже люблю читать. Только дивана у нас в комнате нет... Знаешь, Костя как-то сказал, что в будущем хождение в кино будет считаться признаком умственной отсталости. Я ему говорю: «А Чарли Чаплин, а „Чапаев“?» — а он: «Эти „ч“ — случайные жемчужины в большой куче „г“».

— Ну, это уж очень... — поежилась Леля. — Но раз человек так думает — пусть он так и говорит. Он умный, Костя твой?

— Поумнее меня, — признался я. — И даже умнее Володьки, хоть Володька и стихи пишет... Но Косте не везет. Он несколько раз пробовал начать прозрачную жизнь, но ничего не получается.

— А какую это прозрачную жизнь? — спросила Леля.

— Ну, такую правильную жизнь, прозрачную, безо всяких ошибок.

— Пожар начался, — тихо сказала Леля. — Смотри свой пожар.

— Знаешь что? — предложил я. — Погасят его — и давай смоемся. Или подождем твоей собаки?

— Можно, пожалуй, и не ждать... А ты любишь собак?

— Не знаю. Если по-честному — мне больше нравятся кошки. В них никакого холуйства нет, что хотят, то и делают. От собак я добра не видел, они меня только кусали. Собака хороша, если она твоя. А кошка хороша, если даже чужая или вообще ничья.

— Пожар погасили, — сказала Леля.

— Ну, давай просачиваться. — Я взял ее руку, и мы бочком, тихо-тихо вышли из ряда, на цыпочках дошли до тяжелых церковных дверей и очутились на паперти.

В темной реке отражались звезды, они были воткнуты в нее, как булабочки. На плотном береговом песке, возле старых дуплистых ив, чернели следы костров. Поперек ручейка, впадающего в реку, мальчишки укрепили камнями доску; под ивовыми ветвями, в зеленой темноте, вода, спадающая с этой плотинки, была гладка, черна и плавна изогнута, как крышка рояля. Она звенела тихо и однотонно. Здесь у реки, в этом ночном мире, Леля казалась маленькой, хрупкой — прямо девчонка, а не взрослая девушка. В ней было что-то беззащитное.

— Тебе холодно или просто ты задумалась? — спросил я.

— Немножечко холодно, — ответила она. — И задумалась.

— На тебе мою куртку, мне совсем не холодно. — Я снял вельветовую куртку и накинул ей на плечи. — Теперь теплее?

— Теплее.

— А о чем ты думаешь, Леля?

— Эти солдаты в кино... Как по-твоему, может быть война? У меня ведь брат в армии. Должны были отпустить, а задержали.

— Не думай ты об этом. Ну кто на нас полезет! Вот в Норвегию они влезли, так ведь там всего три миллиона населения, меньше, чем в Ленинграде. А у французской границы они стоят, им ее слабо перейти. А мы-то не Франция какая-нибудь. Пусть о войне Володька думает, он помешан на этом деле.

— А ты не думаешь?

— Тоже иногда думаю. Если начнется — пойду в армию. У меня отсрочка, но тут ее снимут. Да я и сам пойду, снимут или не снимут. Ведь у нас особое дело: нас государство вырастило. Без него бы мы скапутились под забором. Мы должны идти на войну в первую очередь, а то это будет уже неблагодарность... А я тебе не говорил, почему у меня отсрочка?

— Нет. Кажется, не говорил.

— У меня в детстве был туберкулез. Вернее, не в детстве, а когда мне было пятнадцать лет. Меня даже на два месяца в санаторий отправляли. Потом все прошло, но рубцы какие-то

остались — вот и отсрочку все время дают... Тебе не противно с бывшим туберкулезником под ручку ходить?

— А тебе не стыдно это спрашивать? — строго сказала Леля. — Какой ты...

— Ну прости... Тогда я тебе еще одну вещь скажу. Ты, наверно, думаешь, что я в институте учусь, а я всего-навсего в техникуме.

— Хорошо, что ты мне сказал. Я и сама уже догадывалась.

— А как ты догадывалась? По умственному уровню?

— Нет-нет-нет, не по умственному. Просто немножко догадывалась... Но мне все равно, где ты учишься.

— Все равно? — разочарованно переспросил я.

— Да, все равно. Но не так все равно, как ты думаешь.

— А как?

— Где бы человек ни учился, я к нему одинаково отношусь... Ой, тут топко!

— Дальше опять сухо будет, — сказал я. — Давай я тебя перенесу. Перенести?

Она ничего не ответила. Я перенес ее через топкое место. Нести было совсем легко.

— Ноги, наверно, промочил? — спросила она.

— Чуть-чуть... Леля, давай поедем на это... как его, Пятницкое кладбище, за сиренью, когда она цвести будет. Я у своих хозяев лодку выпрошу. Они дадут.

— Придется у тети отпрашиваться, — ответила Леля. — Она что-то коситься на меня начала. Вчера спросила, действительно ли ты из детдомовцев. Тут все быстро разносится... все о каждом знают.

— А ты что ей сказала?

— Сказала: ну и что ж, он же не виноват, что он был в детдоме.

— А она недовольна?

— Да, немножко. Она думает, что из детдома все... ну, испорченные, что ли... Что там девчонки такие... Она мне два раза говорила: «Девушка должна беречь себя, особенно в наш век».

— Почему особенно в наш век?

— Ну, этого уж я не знаю. — Леля тихо засмеялась. — Так она сказала... Пойдем обратно, пора домой.

— Поверху пойдем или опять низом? — спросил я.

— Давай опять низом.

15. Один день

Ночью мне не спалось. Я лежал с открытыми глазами, ни о чем не думая; это была счастливая бессонница. Бессловесное ощущение радости не давало мне уснуть. Когда я пытался думать о будущем, то никакой ясной картины не получалось, а просто голова начинала кружиться от счастья. Так если в ясную звездную ночь лечь спиной на подоконник, и смотреть на звезды, и думать: вот за этими звездами — еще звезды, а за теми — еще, и вообще им нет конца, — то голова идет кругом, и чувствуешь, что этак и с ума недолго сойти.

А что такого вчера случилось? Когда я проводил Лелю до палисадника, она сказала, что, может быть, скоро вернется в Ленинград.

— Я по тебе скучать буду, — признался я.

— Я тоже по тебе скучать буду, — негромко сказала она. — Ты мне пиши, а когда вернешься в город — заходи. Да?

Вот и весь разговор, и из-за него мне не спалось. Но когда я поднялся с постели и умылся, то почувствовал себя бодрым, собранным, будто крепко спал всю ночь.

Хозяев в то утро дома не было, и я отыскал в кухне горячий чайник, накрытый полотенцем и ватником, принес его в большую комнату и стал не спеша завтракать. Буфет был открыт, шкаф с вещами не заперт. Меня с первого дня моего приезда сюда трогала эта

доверчивость хозяев ко мне, незнакомому человеку. Но и пугала слегка: а вдруг что-нибудь пропадет — и подумают на меня?

Сегодня меня ничто не тревожило, а все только радовало. Правда, в местной районной газете, лежавшей на столе, были известия не слишком-то приятные. Там, на последней полосе, под заметками «Обуздать завмага Кривулина!» и «Порядок в Хмелевской бане будет наведен», шли коротенькие сообщения из-за рубежа под рубрикой «В последний час»:

«Германские войска пересекли границы Голландии, Бельгии и Люксембурга».

Я подошел к громкоговорителю, включил его. Из плоской черно-картонной тарелки репродуктора послышалась негромкая приятная музыка. Потом запел детский хор. Потом начались последние известия. Сперва дикторша сообщила об отставке Чемберлена. Ее сменил диктор и передал военную сводку: германские войска с боями продвигаются вперед, массированно применяя танки и выбрасывая парашютные десанты... Дороги забиты беженцами... Есть основания полагать, что в Европе начался новый этап войны.

Я подумал: «Вот Володька все время твердит, что нам придется воевать, а война уходит от нас. Гитлер двигается на запад. Но почему немцы так сильны? Солдаты Гитлера смелые — в этом им не откажешь. Но почему они смелые? Ведь они воюют за плохое дело, они фашисты. Разве можно быть смелым, воюя за плохое дело? Видно, можно. Они хорошо воюют за свое плохое дело, а другие плохо воюют за свое хорошее...»

Смену мне надо было заступать в четыре часа, и я пошел бродить по поселку. Стоял неяркий майский день.

Между землей и небом висела серая дымка, не предвещающая дождя. Сквозь дымку лился ровный, неслепящий свет, и в этом свете все казалось ясным, подчеркнутым. Я прошел мимо каменной двухэтажной школы, оттуда слышался нарастающий гул — начиналась перемена. Распахнулись двери, и на утопанную физкультурную площадку, как выстреленные из пушки, вырвались первоклассники — мальчишки и девчонки одновременно. Потом начали выбегать и выходить ребята из старших классов. А уж потом довольно степенно вышли девчонки-старшеклассницы. Обычный школьный день...

А вот и шоссе, ведущее к переправе. «Дороги забиты беженцами», — вспомнил я слова диктора. Шоссе было пустынно, оно свободно уходило вдаль, вклинивалось в сосновый бор и терялось в нем. Я повернул обратно в поселок, зашел на почту. Там меня ждало письмо, оно было от Кости.

«Привет, убогий пасынок природы!

Из твоего длинного послания я понял, что ты там не столько работаешь, сколько шатаешься по библиотекам. Но, судя по твоему письму, близость к книгам ума тебе не прибавила. У нас предвидятся перемены. Слушай странное известие: самодур Шкиля мотается за какими-то справками и документами и признался, что хочет поступать в военное училище! Подозреваю, что это так на него повлияла смерть Гришки и он хочет «пополнить ряды», хотя из него такой же военный, как из тебя Кант или Гегель. Подозреваю, что его могут принять, так как здоровье у него нормальное, а экзамены он сдаст, наверно, легко. А что кропает стишки, то это не позор, а несчастье, да и мало кто знает об этом его недостатке.

На днях ко мне подошла Люсенда и просила передать тебе привет.

Ходит опасный слух, что в нашем доме хотят восстановить паровое отопление. Плачь, мое сердце, плачь! Если будет паровое отопление, то в техникуме пронюхают сразу и отпадут дровяные денежки.

С винно-плодогодным приветом

твой друг Константин I».

Вот примерно такое письмо было от Кости. Я удивился решению Володьки, и в то же время мне вдруг показалось, что чего-то эдакого от него и следовало ожидать. И грех его отговаривать. Да и не отговоришь. Именно в неожиданности и странности этого Володькиного решения было нечто такое, что придавало ему неопровержимость и неоспоримость.

Мне почему-то стало жалко Володьку, да и себя немного. Я вспомнил, каким заявился Володька в детдом, — тощим, голодным. Он бежал из какого-то дрянного детдома на юге, долго бродяжничал, кусочничал, чуть ли не из помоек питался — и первое время его было не накормить. Он и от природы прожорливый, а тут еще наголодался. Потом, когда Шкиля отъелся, аппетит у него мало уменьшился, но появилась какая-то дурацкая брезгливость и придирчивость к еде. Он стал выедать из хлебной пайки только мякиш, не мог есть супа, если тот со дна кастрюли; в биточках ему чудились какие-то волосы. Потом эти причуды у него прошли, и только навсегда осталась привычка не есть хлебных корок. И сразу же он стал хорошо учиться, хоть особых усилий к этому не прилагал, и был парнем своим, своим в доску. Теперь в техникуме даже математика ему отлично дается, хоть он и стихи пишет, а ведь говорят, что одно исключает другое. Конечно, экзамены в это самое военное училище он сдаст — и прощай Шкиля. Останется нас в комнате двое.

В этот день мне никого не надо было сменять — я начинал обжиг.

Придя в цех ровно к четырем, я направился к конторке — там уже висело расписание работы мазутного горна номер пять на пятнадцатое мая 1940 года: зажечь в семнадцать ноль-ноль, прокурка два часа, переход на паровые форсунки в девятнадцать ноль-ноль... Подойдя к своему горну, я натаскал к топкам дров, зарядил все шесть топок. В цеху было безлюдно — бригада, загружавшая горн, уже ушла. Оглянувшись по сторонам, я взял слегка поломанный ящик, из тех, что употребляются для укладки обожженного фарфора, и доломал его, шмякнув о цементный пол. Делать это запрещалось, но все кочегары так делали, а где же иначе возьмешь растопку... Добавив к дровам в топках ломаных досок, расположив их с таким расчетом, чтобы они быстро загорались, я взял одну несломанную узкую доску, надел на ее конец рваную старую рукавицу и обмотал проволокой, оставшейся от крепления ящика; теперь у меня был факел. Потом пошел в каморку слесаря, взял там ведро с керосином. Возвратясь к горну, я сунул факел в ведро и немного подождал, пока рукавица пропитается керосином. Потом зажег этот факел и, подбежав с ним к ближайшей топке, поджег растопку. Так по кругу я обожег все шесть топок. Затем, уже не торопясь, пошел я к конторке, в конец цеха, позвонил по телефону в заводскую пожарную часть.

— Пятый горн зажжен, — доложил я дежурному пожарнику.

Выйдя из конторки, я на минуту задержался возле дровяного горна и присел на высокий длинный стол, укрепленный на железных консолях вдоль стены цеха. Здесь уже сидел Степанов и рядом с ним молодой кочегар Шубеков. Они сидели молча. На стене конторки мирно тикали ходики, на циферблате их была изображена белка, щелкающая орешки. И дрова в топках щелкали, потрескивали, будто там поселилась целая стая огненно-рыжих белок. Все было как обычно. Только на карте Европы, на карте военных действий, пришпиленной к стене конторки, кое-что изменилось. Флажки, изображающие германскую армию, пришли в движение, продвинулись на запад. Они были воткнуты уже в Голландию, в Бельгию. В кружок с надписью «Роттердам» вчера впиалась булавочка с немецким флажком. И даже во Франции, за рубчиками линии Мажино, появились первые германские флажки — там высадились парашютисты.

— Прокурочку делаешь? — спросил Степанов. — Мы тоже прокуриваемся. Кочегар на прокурке — что жених на прогулке... А я тут со штрафованным работаю, — Степанов кивнул на напарника. — Прикрепили ко мне штрафованного для исправления. — Он усмехнулся, глянул на ходики и приказал Шубекову: — А ну, штрафованный, подкинь-ка по три палки во все четыре... А ты бы к горну своему шел, — обратился он ко мне. — Злыднев

проверить зайдет, а тебя на рабочем месте нет. Распустились, голубчики!

Сдерживая смех, зашагал я к своему горну. Там я начал хохотать, вспомнив эту дурацкую историю с Шубековым. Дело в том, что цеховой душ, расположенный за четвертым горном, кроме главного входа, имел второй вход, заколоченный. Эта заколоченная дверь выходила в глухой закуток за горном, куда никто не заходил и где лежали дрова. Шубеков проделал в заделанной двери порядочную дырку, и, когда девушки с мялок и молодые глазурищи приходили в душ, он подглядывал за ними. Однажды он через отверстие в двери бросил в одну из моющихся кусочек шамота, и в душевой поднялся страшный визг. Девушки пожаловались начальству, дыру в двери законопатили, а виновника происшествия тогда так и не нашли. Но Шубеков попался на Егорушке. Печник Егорушка — а ему было уже за сорок — очень любил рассказывать о своей мужской силе. Когда он, отдыхая, сидел где-нибудь в дальнем уголке цеха — а отдыхать он любил, — вокруг него всегда сбивался кружок слушателей. Конечно, только мужчин, потому что Егорушка рассказывал о своих любовных победах. Стоило его подначить — и он такое начинал плести, что одни смеялись, а другие отплевывались. И вот не так давно, когда Егорушка пошел мыться в душ, Шубеков не поленился сбегать на заводской двор, срезал там лозину, не поленился сходить к паропроводчикам и густо намазать конец прута суриком. Быстро выбив шпаклевку из старой дырки в двери душевой, он увидел Егорушку. Тот боком к нему стоял под душем и мыл голову. Шубеков всунул прут в дверь, размахнулся и хлестнул Егорушку пониже живота. Тот с воплем выскочил из-под душа в чем мать родила, пробежал по коридорчику, выбежал в цех и понесся по нему, крича: «Кровь! Убили! Убили!» В цеху шла разгрузка горна, на установке необожженного фарфора в капсуля работало немало женщин. Егорушка с криками ужаса пронесся среди них, опрокидывая по пути обичайки с сырым фарфором, выбежал на заводской двор. Там, при ясном свете, он очухался, разглядел, что на нем не кровь, а сурик, и стыдливо потрусил обратно в цех, в душ — одеваться. Жаловаться на это дело он не стал, но начальству и так стало все известно, и оно быстро дозналось, кто виновник этого происшествия. Шубекова хотели не то судить, не то просто гнать с работы, но потом дело ограничилось вычетом за преднамеренную порчу двери, а Степанов взял его на исправление под свою личную ответственность.

Пока я вспоминал это событие, одна из топок погасла. Я снова разжег ее, и в этот момент подошел Злыднев. Старик любил нагрянуть в неурочное время, проверить, все ли в порядке. Он был самым старым из ИТР и по стажу, и по возрасту. В фарфоре он прямо души не чаял, все на свете сводил к фарфору.

— Как идет прокурка? — спросил он.

— Нормально, Алексей Андреевич, — ответил я.

— Привыкаете к нашему фарфоровому захолюстью?

— Привыкаю, — ответил я. — Не такое уж здесь и захолюстье. И кино не хуже, чем и городе, — польстил я старику.

— То-то вы вчера из этого кино, которое не хуже, чем в городе, посреди сеанса ушли, — усмехнулся Злыднев. — Учтите, здесь каждый у каждого на виду... А эта Оля Богданова — очаровательная девушка, дай бог, чтобы ей порядочный человек достался, — неожиданно закончил он.

— А порядочных людей на свете разве меньше, чем непорядочных? — с некоторым вызовом спросил я.

— А бог его знает, кого больше, порядочных или непорядочных, — проговорил Злыднев. — Вот до седых волос дожил, а на такой вопрос ответить не могу... Вы еще что-то хотели спросить?

— Алексей Андреевич, а правда, что первый хозяин этого завода похоронен в фарфоровом гробу? — подбросил я старику интересный вопрос.

— Басня это, батенька, и технологическая чушь. Фарфор не любит ни больших плоскостей, ни углов. Гроб можно отформовать или отлить, но он не выдержит заданной конфигурации при обжиге, на каком осторожном режиме этот обжиг ни веди. Фарфор не для

гробов, фарфор — для живых. Это материал будущего. — И, довольный, что дорвался до свежего слушателя, Злыднев завел свой вечный разговор о том, что металлы поддаются коррозии, дерево гниет, камень разрушается под воздействием атмосферных агентов, стекло хрупко и лишь фарфор — материал идеальный, и область его применения все время расширяется. Взять хотя бы электроизоляционный фарфор...

— Вот электрофарфор я уважаю, — перебил я Злыднева. — А все эти чашечки да сервизики — это все буржуазная отрыжка. Мне все равно, из чего чай пить — из фарфоровой чашки или из жестяной кружки.

— Это вы, батенька, по молодости лет, — возразил Злыднев. — Конечно, некоторые навели на фарфор этакий эстетический туман... мол, фарфор — это изящный, хрупкий материал, и место ему только в гостиной на горке. Но разве в этом суть фарфора! Он нужен и для чашек, и для масляных выключателей, а суть его в том, что это прочный, вечный материал, и притом рожденный не природой, а созданный человеком.

Высказав эти истины, Злыднев отправился дальше, а я приступил к переходу на паровые форсунки. Я подошел к стене, на которой, как стволы странных, гладких лоснящихся-черных деревьев, переплетались толстые паровые и мазутные трубопроводы. От них к горну, как ветки, отходили тонкие трубы. Латунные вентиля, как желтые блестящие цветы, торчали из черных переплетений. Когда я открыл большой, окрашенный в тревожный красный цвет главный паровой вентиль, белый круглый глаз манометра ожил: стрелка задержалась, задрожала, метнулась туда-сюда и остановилась на трех атмосферах. Затем я отвернул до отказа вентиль мазутной трубы и, надвинув на глаза очки-консервы, побежал к топкам.

Вскоре шесть рапир белого огня стали вонзаться в решетки из тугоплавкого кирпича. Но горн еще не прогрелся, и иногда какая-нибудь из топок «садилась», гасла. Тогда я подходил к ней и, наклонясь, надвинув кепку на лоб, на секунду перекрывал мазутный вентилек, а затем вновь отвертывал его. Раздавался глухой взрыв, из топки в лицо ударяла волна дымной гари, огонь снова вспыхивал. За час я наладил ход горна. Теперь все форсунки горели как одна. Они гудели оглушающе монотонно и жадно всасывали воздух из помещения. В свете пламени было видно, как пылинки, взвешенные в воздухе, неровно, толчками, будто сопротивляясь невидимой и непонятной им силе, плывут к топкам и исчезают в огне.

Я присел отдохнуть на табурет, снял кепку — ободок ее намок от пота, развязал шнурки защитных очков. Закурив, я стал вспоминать, как вчера провожал Лелю до ее палисадника. «И я по тебе буду скучать», — именно так она и сказала, я не ослышался. Мне стало неловко за свое счастье. В мире происходит что-то неладное, все кругом меняется, где-то там дороги забиты беженцами, Володька уходит в военное училище, — а ко мне подходит счастье... И вдруг мне показалось, что слишком уж хорошо все идет у меня в жизни последнее время. Слишком хорошо идет, чтобы хорошо кончиться. Не к добру такое везенье. Хоть бы какое-нибудь мелкое несчастье у меня произошло, хоть какая-нибудь неудача — тогда бы главное счастье было бы тверже.

Внезапно кто-то положил мне руку на плечо. Я вздрогнул, обернулся. Это подошел дежурный пожарный. Из-за рева форсунок я не расслышал его шагов.

— Чего ты? — удивленно спросил я его.

— Думал, ты задремал! — закричал мне в ухо дежурный. — Сидишь — не шевелишься.

— Задремлешь тут! — крикнул я в ответ. — Как? Все в порядке?

— Чего «как»? Все нормально, — ответил он и пошел дальше. А я-то понадеялся, что он к чему-нибудь придерется, что хоть какая-нибудь мелкая неприятность случится.

Я встал, обошел топки, прибавил огня. Потом начал оттаскивать от горна поленья к стене — они были уже не нужны, я припас их многовато. Я еще раз закурил и сунул свой жестяной портсигар в левый нашивной карман комбинезона, где была прожжена большая дыра. Портсигар с глухим стуком упал на пол. Я не подобрал его, сделав сам для себя вид,

будто ничего не заметил. Перетаскивая очередное метровое полено, я, будто невзначай, всей тяжестью опустил его торцом на портсигар. Теперь он никуда не годился. «Вот невезенье-то!» — с фальшивым сожаленьем сказал я, поднимая с пола сплюсненную жестяную коробочку и доставая из нее помятые, поломанные папиросы «Ракета».

Хоть какое-то несчастье да случилось. Теперь я, посвистывая, ходил около своих топок.

16. Двое

Прошло недели три. Ранним утром, когда все в поселке еще спали по случаю выходного дня, я пришел на берег с веслами на плече и с потрепанным дорожным мешком за спиной. Весла, ключ от лодки и даже мешок дал мне во временное пользование хозяин, у которого я жил. В мешке лежал хлеб и пачка печенья «Челюскинцы».

Отомкнув у прикола тяжелый амбарный замок и подтянув за цепь лодку, я сел на заднюю банку и вставил весла в уключины. Лодка была тяжелая, грубо сбитая, и так обильно ее просмолили, что смола выступала изо всех деревянных пор. Но на плаву она оказалась легкой: едва я сделал несколько гребков, как тонко запела вода под носовой рейкой, важно и плавно поплыл мимо меня берег. В этот ранний безветренный час на реке не было ни морщинки, ни рябинки. Приятно было вспарывать эту гладь; далеко за кормой тянулась прямая, вдавленная в воду кильватерная линия — будто я тащил на буксире невидимый корабль.

Поминутно оглядываясь через плечо, я греб мимо покосившейся пристаньки, мимо ручья, мимо сточной трубы, по которой шла с завода в реку отработанная вода.

Началась роща. На полянке, примыкавшей к берегу, стояла Леля. Я помахал ей рукой, потом налег на весла. Лодка с жестким, приятным шуршаньем врезалась в береговой песок.

— С добрым утром, Леля!

— С добрым утром, — без улыбки ответила Леля. Она была бледна и серьезна — может быть, не выспалась. В платье из небеленого холста, с красным пояском, она казалась нарядной. Я так и сказал ей:

— Ты сегодня какая-то нарядная.

— Ничего я не нарядная, — проговорила она с сердитым смущением. — Знаешь, давай-ка я сяду на весла.

— Леля, я не принадлежу к числу тех мужчин, которые заставляют женщин работать на себя, — произнес я вычитанную откуда-то фразу.

— Да нет, какой ты... Мне просто холодно. Она гребла старательно, но не очень умело: то слишком глубоко опускала весла, то чиркала ими по самой поверхности воды. Утреннее солнце светило ей в лицо, она досадливо жмурилась и все сильнее упиралась ногами в поперечную дощечку. Когда она откидывалась назад, заноса весла, холстинковое платье натягивалось и выше колен видна была полоска белой, не тронутой загаром кожи и краешек темно-синих трусиков. Я старался не смотреть ей на ноги.

Потом мы осторожно поменялись местами, и я долго греб, а она сидела на кормовой банке и о чем-то думала, и видно было, что ей не хочется разговаривать. И я тоже молчал, чтобы не мешать ей. Когда мы проплывали мимо высокого, отвесного берега, где в песчанике темнели гнезда береговушек, одна ласточка пролетела совсем близко возле нас, и Леля улыбнулась. Я вдруг почувствовал себя таким счастливым, что даже сердце кольнуло.

— Теперь отдохни, а я сяду на весла, — прервала молчание Леля. — Побереги силу, нам еще придется убежать от коварного старика.

— От какого коварного старика?

— А вот от такого! При кладбище сторож живет, он не любит, когда сирень ломают. За это мальчишки и прозвали его «коварным стариком». Они нарвут сирени, а он за ними гонится, а они дразнят его, поют: «Не смейся над нами, коварный старик!» А он старенький, ему их не догнать... Не понимаю, как это он может один на кладбище жить. Ведь там так грустно: все жили, жили — и все умерли.

— Леля, я ни за что на свете не желал бы на кладбище жить. Некоторые беспризорники жили в склепах, но мне не приходилось. Да и не стал бы. Другое дело — на бану... Леля, пароход идет. Суши весла.

— А что такое бан?

— Бан — это значит вокзал. На банах я иногда спал, под лавками, да и то редко. Ведь я недолго был беспризорником. В милиции тоже несколько раз спал — меня туда за ширмачество приводили, за воровство... Это ничего, что я тебе все это говорю?

— Ничего. У меня просто ничего такого в жизни не было, а то бы я тебе тоже все-все рассказала. Даже обидно немножечко, что мне нечего тебе рассказать о себе.

Тут я заметил, что она гребет наперерез пароходу. Это был короткий колесный пароходик с длинным названием «Всесоюзный староста Калинин».

— Что ты делаешь, — сказал я. — Табань!

— Мы срежем ему нос, так это называется, да? — Она продолжала жать на весла. Мы приближались перпендикулярно курсу парохода.

— Леля, он наедет на нас.

— Нет-нет-нет! Мы проскочим!

Она гнала лодку вовсю, откуда только сила взялась. Надо было отнять у нее весла, но я побоялся: подумает, что я трус.

Темно-зеленый борт вырос перед нами. Послышались звонки. «Всесоюзный староста» затормозил. Слышно и видно было, как стеклянными волдырями вскипает и лопается вода у форштевня. Лодка проскочила перед самым носом парохода и стала бортом параллельно его борту. В лодку плеснула одна волна, потом вторая. С мостика «Калинина» свесился человек в белой фуражке с батоном в руке. Он жевал и махал кулаком. Потом прожевал и крикнул:

— Ветерок в голове! На воде, девушка, не шутят!

Я думал, что он обложит нас в мать твою канарейку. Речники это умеют. Но он, видно, постеснялся Лели. Леля сидела на мокрой банке, бросив весла, побледневшая, сердитая, очень красивая. Сомкнув колени, она обеими руками держалась за подол юбки, пробуя отжать его. Ей было холодно и неловко. Несколько пассажиров внимательно глядели на нее с палубы, но никто не отпускал никаких шуточек. Пароход забил плицами, дал гудок, отвалил чуть-чуть вправо и пошел своим курсом.

— Да-да-да! Очень глупо! — сказала Леля. — И нечего смотреть на мои ноги.

— Я и стараюсь не смотреть, но они же перед глазами. Ножки у тебя — что надо. А что глупо?

— Я поступила глупо, вот что! У меня бывают такие выходки. Ты должен был меня остановить.

— Тебя остановишь! — Я взял берестяной черпачок и стал вычерпывать за борт воду. Лодка свободно плыла по течению. Мне виден был то высокий правый берег, то дальний лес — там, далеко, за пойменными лугами левого.

— Давай пересаживаться, только осторожно. Теперь я буду грести. Ты не испугалась?

— Совсем немножко, — ответила она. — Была бы одна, так, наверно, больше бы испугалась, а с тобой не так страшно.

— Факт, я бы тебя спас. У тебя и челка очень удобная для спасения. Схватил бы за челку — и плыл бы до берега.

— Так вот почему тебе моя челка нравится, — засмеялась Леля. — А я-то думала...

— Что ты думала?

— Нет, ничего... Вот уже и наш берег виден. Все в сирени!

— Леля, только ты не смейся, вот что я тебе скажу. Знаешь, когда кто-нибудь очень нравится, а все идет без всяких происшествий, то хочется иногда, чтобы с этим человеком какое-нибудь несчастье случилось, чтобы сразу его выручить. Ну, пожар там или еще что-нибудь. Только чтоб никому от этого плохо не было, разве что самому себе. Это я глупости говорю?

— Нет, совсем не глупости, — строго ответила она. — Я понимаю... Вот мы и

приехали.

Я выскочил на береговой песок, подтащил лодку, чтобы не унесло. Здесь было уже совсем тепло, пахло сиренью и нагретой зеленью. За узкой полоской песка берег взмывал вверх, весь лиловый и белый от сирени. Поднявшись по узкой тропке, мы с Лелей стали ломать ветки то с одного, то с другого куста.

— Здесь ее слишком много, никакого интереса нет, — сказал я. — Все равно что веники ломаешь.

— Ты просто ленивый, — ответила Леля сквозь ветки. — Еще не набрал настоящего букета, а тебе уже надоело. Помочь тебе?

— Ясно, помоги!

Она положила свой огромный букет на тропинку и подошла ко мне.

— Вот эту ветку нагни, — приказала она. — Нечего лентяйничать.

Я нагнул большую ветку, и Леля стала отламывать от нее веточки для букета. Она была совсем рядом со мной, ее плечо касалось моего плеча, и, когда она тянулась за сиренью, я чувствовал на щеке ее дыханье. Совсем нечаянно я выпустил ветку, и та с мягким влажным шуршаньем взвилась вверх. Леля потеряла равновесие и оперлась на мое плечо.

— Леля!.. — сказал я. — Лелечка!..

— Что? Ну что? — тихо проговорила она, глядя мне в глаза. Но вдруг послышался какой-то шорох, чьи-то негромкие шаги. Леля покраснела и отодвинулась от меня. Мы с неловкой внимательностью стали выравнивать гроздь в моем букете.

— Коварный старик идет, — шепнула мне Леля. По тропинке спускался маленький старичок с козлиной седой бородкой. На нем была военная выгоревшая фуражка без козырька, заплатанные брюки галифе и пестроватый пиджачок из домотканого сукна.

— Вот так так! — звонко пропищал коварный старик, подойдя к нам. — По цветочки, по ягодки... Сиреньку ломаете? Ох, сиренька эта здешняя многим девушкам во вред пошла, через эту сиреньку много алиментиков вышло... Не горюй, голубка, не ты первая, не ты последняя, — ободряюще обратился он к Леле. Леля сделала было обиженное лицо, но не выдержала, фыркнула.

— Не одолжите ли папиросочкой, молодой человек? — продребезжал коварный старик, придвинувшись ко мне и обдавая меня спиртным запахом. — Грешен, грешен, люблю хорошей папироской полакомиться.

— Натэ, пожалуйста. — Я раскрыл пачку дорогих «Борцов», и старик забрал сразу три папиросы, поблагодарил и пошел вниз по тропинке. Перед тем как скрыться за поворотом, он обернулся к нам и звонко прокричал:

— Я не то чтобы против, чтобы сирень брали, но ломайте культурно, самостоятельно, без вредительства!

— Какой смешной, — сказала Леля. — Он, говорят, в кладбищенской сторожке самогонку потихоньку гонит... Давай снесем сирень нашу в лодку, а сами гулять пойдем.

Мы отнесли букеты вниз. Я забрался в лодку, взял оттуда еду. Мы сели на песок. Леля развернула свертки, расстелила газету.

— Скатерть-самобранка, — сказала она. — Ты ешь.

— Царский обед, — высказался я. — Хлеб слегка подмок, но масло, колбаса!.. Где ты ее достала?

— В Хмелеве сходила-съездила, там вчера давали. А что?

— Так. Ты мне как-то говорила, что тетка твоя мясного почти ничего не ест, да и ты не очень любишь.

— Но ты же любишь сардельки, — сказала Леля. — Вот я и купила колбасы, раз нет сарделек. Мне хотелось немного о тебе позаботиться.

— Даже странно как-то, — заявил я. — Кто-то вот идет в далекий магазин и покупает жратву специально для меня. Ни одно существо в юбке еще не делало этого.

— Значит, я первая в юбке, которая ходила для тебя в магазин? А ты доволен?

— Очень. Очаровательная девушка берет авоську и топает ради меня в Хмелево.

— Не говори глупостей. Это только тебе так кажется.
— Что кажется?
— Ну то, что ты обо мне сказал.
— Это не я сказал, а Злыднев. «Очаровательная девушка». Это его персональные слова.
— Это идет очаровательная девушка. — Леля встала, растрепала челочку, сделала большие глаза и пошла по песку нелепой, деревянной походкой. — Так ходят очаровательные девушки?
— Садись и ешь, — сказал я ей. — Или давай купаться, пока мы не съели всего.
— Ты купайся, — ответила Леля. — Раздевайся и купайся. Я не буду.
— Но почему? Вода не такая уж холодная.
— Я не буду, — повторила она. — Только ты не смейся.
— Чему не смейся?
— Видишь ли, тетя моя, как узнала, что я поеду с тобой за сиренью, спрятала куда-то мой купальник. Я его искала, искала, а она говорит: «Ума не приложу, куда он делся». Вообще она считает, что девушка не должна купаться наедине с молодым человеком.
— Мещанка она недорезанная — вот кто твоя тетя.
— Нет, ты так не говори. Просто она считает, что отвечает за меня. Но купальник, конечно, прятать смешно. Я бы сейчас искупалась.
— Так купайся в том, что у тебя под платьем. Ведь под платьем не только ты, и еще что-то.
— Нет, в этом «что-то» купаться нельзя, — улыбнулась Леля. — Ничего-то ты не понимаешь.
— Просто стесняешься. Как же, архивариус — и вдруг в бюстгальтере!
— Я не архивариус, а чертежник-архивариус, это совсем другое, — засмеялась она. — И то только по званию, а не по должности... Но очень далеко ты не заплывай! Говорят, здесь есть водовороты.
Я разделся до трусиков, разбежался и бросился в воду. Она была очень холодная.
— Ледяная! — крикнул я Леле. — Правильно сделала, что не купаешься. Такая вода, будто не июнь сейчас, а январь.
Выбравшись на берег, я лег животом на горячий песок возле расстеленной газеты.

«Положение во Франции, Нью-Йорк, 11 (ТАСС). Французское правительство переехало в различные части Франции».

«Лондон, 11 (ТАСС). Как сообщает агентство Рейтер, Париж сегодня с утра окутан дымом от пожаров, возникших от зажигательных бомб, сброшенных в окрестностях столицы... Повсюду видны вереницы беженцев. Парижские газеты вышли сегодня в последний раз. Они сообщили об объявлении Италией войны Франции».

— Что ты там нашел? — спросила Леля. — Это позавчерашняя газета.
— Я знаю... Тут про войну. Газеты вышли в последний раз... А ты, Леля, наверно, из библиотеки газеты таскаешь?
— Иногда таскаю, — честно призналась Леля. — Один экземпляр — в подшивку, а второй иногда домой беру, тете на выкройки... Ты знаешь, сегодня утром, когда я одевалась, тетя включила радио, передавали про Париж, последние сообщения. Немцы вошли в Париж.
— Что же ты мне сразу не сказала, в лодке? — обиделся я. — Ведь ты понимаешь, что это такое! Странные вы все, женщины. — Я встал и подошел к воде. Берег отражался в реке — по воде плыли белые, лиловые и зеленые пятна и полосы.
— Не знаю, почему не сказала. Наверно, подумала, что ты тоже знаешь... Я пробовала представить себе, что там сейчас делается, и ничего у меня не получилось. Может быть, я просто какая-нибудь бесчувственная?

— Нет, ты не бесчувственная. Просто, наверно, это надо видеть своими глазами. — Я снова лег на песок и уткнулся в газету. — «В помощь читателю», — машинально прочел я. — «Военно-воздушные силы Германии...» — Я отодвинул ломоть хлеба, лежавший на строчках ниже заголовка. — «Стандартными бомбардировщиками люфтваффе являются „Хейнкель-111“ и „Дорнье-217“; пикирующими бомбардировщиками — „Юнкерс-88“ и „Юнкерс-87“; истребитель — „Мессершмитт-109“ и истребитель-штурмовик „Мессершмитт-110“». — Все эти типы самолетов я знал, то есть уже читал о них.

— Одевайся! — сказала Леля. — Пойдем наверх. Мы поднялись по косоугору на кладбище. Все оно было в зелени, на могильных холмиках рос кукушкин лен, цвели туманно-синие лесные колокольчики. Я смотрел на серые староверские кресты с голубцами, на редкие каменные плиты, покрытые мхом и совсем вросшие в землю. Все это было такое ветхое, такое отошедшее и забытое всеми, будто люди на всем свете давно перестали умирать. Возле заколоченной каменной церкви, у самой ее стены, где обычно хоронят священников, возвышалось странное сооружение в виде усеченной пирамиды, облицованной коричневыми глазурованными плитками. Надпись на гранитной доске извещала, что это фамильный склеп бывших владельцев Амушевского завода. От чугунной решетки, ограждавшей вход в усыпальницу, солоновато пахло ржавчиной, крапива теснилась у каменного порога. Было очень тихо кругом, лишь какая-то птица настойчиво, как заведенная, через равные промежутки времени прокалывала эту тишину тонким писком.

Мы вышли с кладбища через покосившиеся кирпичные ворота, пересекли заросшую травой дорогу и, миновав топкую низинку, поднялись на продолговатый холм, где рос молодой сосняк и можжевельник. Здесь было солнечно; от короткой сухой травы, от серого, как зола, песка веяло сухим теплом. Внизу, слева от нас, текла река. Тут она расширялась, и посреди нее виден был островок. Над островком, в голубоватой дымчатой высоте, парил ястреб. Он забрался в такую высь, что ему уже и завидовать было нельзя, — можно было только любоваться его полетом. Вдруг, высмотрев что-то, он кинулся вниз. Летел он с такой метеорной скоростью, что казалось — вот-вот задымится на лету, вспыхнет падучим комком огня. Но внезапно он плавно затормозил и лениво, нехотя полетел над осокой.

— Как это он!.. — с каким-то детским удивлением сказала Леля. — Будто хвастается перед нами.

— Очень здорово летает, — согласился я. — Хоть вообще-то это птица вредная.

— Ну и пусть! — возразила Леля. — Этот не вредный!

— Не спорь, Лелечка.

— Хорошо, не буду, — без улыбки сказала она, смотря мне в глаза.

— Леля, Лелечка... — начал я. — Понимаешь, в чем дело...

— Ну что? Что? — придвинувшись ко мне, с нежной беспомощностью спросила она.

— Вот, Леля... — Я обнял и поцеловал ее в губы. — Вот, понимаешь... — Она на мгновение прижалась ко мне щекой, потом отвернулась, и тихо пошла вниз по некрутому откосу.

— Леля, — сказал я, догоняя ее, — ты понимаешь, с первого дня, как тебя увидел...

— Я тоже с первого дня, — не оборачиваясь, глухим, невыразительным голосом произнесла она. — Когда ты в библиотеку пришел, а у меня еще сахар подгорел. Ты помнишь?

17. Без заглавия

Через несколько дней, когда я работал у пятого горна, в цех неожиданно заглянула Леля. Шла последняя фаза обжига; беспаровые форсунки с негромким шипеньем вбрызгивали в топки распыленный мазут. Фрамуги окон были открыты, и горячий воздух, рвущийся из здания на волю, слоился, ходил прозрачными слюдяными волнами.

— Леля, неужели ты ко мне пришла? — обрадовался я.

— Да, Толя. Я телеграмму получила. Отец на две недели приедет в Ленинград, я еду

туда. Я завтра сдам библиотеку, тем более Мария Павловна меня заменит... А тут всегда так жарко?

— Нет, не всегда. Скоро закрываю горн, это перед закрытием... Значит, берешь расчет?

— Да. Меня обещали быстро оформить... Дай-ка я примерю твои очки. Нет, ты сам завяжи тесемки... Как темно стало! Вечер в глазах... На кого-нибудь я в них похожа?

— Не знаю, на кого ты похожа. Может, на русалку, а может, на царевну-лягушку. Идем, покажу тебе огонь. — Я подвел Лелю к горну и открыл смотровую заслонку. — Видишь?

— Как там все бело! — сказала она. — А если без очков?

— Нет, нельзя. Там сейчас тысяча триста... А тебя, наверно, тетя твоя почтенная будет персонально провожать, да? Мне одному тебя провожать не позволит.

— Ты знаешь, Толя, она немножко изменила свое мнение о тебе. Она теперь считает, что ты вполне порядочный, — это я ее все агитировала. Ты доволен?

— Ужасно доволен! Румбу сейчас начну плясать от радости.

— Я пойду, Толя. Ведь у меня сейчас так много хлопот, — деловито-счастливым голосом сказала она. — А провожать ты меня будешь, ты только отпросись у своего начальника.

Она ушла, будто ее здесь и не было. Вот только что была, разговаривала со мной — и вот ушла. Что, если она когда-нибудь полюбит другого и вот так уйдет навсегда? И на прощанье скажет: «Я думала — ты умный, а ты не умный; я думала — ты смелый, а ты трус, я думала — ты честный, а ты не честный». Ведь может такое случиться? Слишком уж везет мне, это не к добру.

Стараясь отогнать такие мысли, я стал ходить вокруг топок. У одной форсунки засорилась горелка-пульверизатор, я ее сменил, промыл в керосине. Потом заглянул внутрь горна. Последний зегер согнулся от жара, пора было кончать обжиг. Я сбегал в соседнее помещение, принес ком глины и сделал из нее шесть затычек. Потом поочередно перекрыл вентильки у всех топок, вытянул штоки форсунок и вместо них забил в отверстия шамотовых конусов глиняные кляпы, чтобы не просасывался холодный воздух. Потом позвонил в котельную, чтобы отключили донку. В цеху настала тишина.

Я вышел на заводской двор. После сухой жары цеха июльский вечер казался сырым и прохладным. Вдали, за громадными штабелями поленьев, за серым заводским забором, горел тревожный, пожарно-красный закат. Мне вдруг стало неуютно, холодно. Я почувствовал себя бездомным, забытым всеми — как во время моего недолгого беспризорничества. По старой бродяжьей памяти, я не любил вечеров и закатов — ни зимних, ни летних, никаких. День может подбросить тебе что-то хорошее, но вечер — это поиски ночлега и ощущение того, что никому ты на этом свете особенно-то не нужен.

Через два дня я провожал Лелю до городка, где была железнодорожная станция. Мы отправились местным пароходом, тем самым, который когда-то нас чуть было не утопил.

Теперь мы сидели на его палубе за штабелем каких-то ящиков, и никому нас не было видно, а нам был виден плавно плывущий мимо парходика берег, весь свежезеленый после недавнего дождя. Под острым углом бежала от форштевня волна, качала прибрежный камыш, пузырясь, накатывалась на берег. Из обитого медью люка тянуло машинным маслом и слышался равномерный, вдумчивый стук судовой машины.

— Ты пиши мне, — сказала Леля. — Ты тоже скоро вернешься в Ленинград, но ты все равно пиши. — Она пристально посмотрела на меня и отвернулась.

— Ну, не плачь, Леля, — сказал я, целуя ее.

— Нет, только не в глаза! Они сейчас, наверно, соленые. Ведь соленые?

— Прямо как свежепросольные огурцы, — ответил я.

— Господи, как глупо! — засмеялась она. — Нет, ты не должен меня смешить. Нам надо быть серьезнее... А ты до меня со многими целовался?

— Нет, не очень со многими, ведь я ж тебе говорил. Да это теперь и не считается, это пройденный этап. Я мог бы тебе соврать, что у меня ни с кем ничего не было, но зачем же

врать.

— Верно, верно, — согласилась Леля. — Мы никогда ничего не будем друг от друга скрывать. Мне бы даже хотелось сознаться тебе в чем-нибудь, но мне совсем не в чем. До тебя я и внимания ни на кого не обращала.

Пароходик загудел, и мы сошли на пристани и отправились на станцию. Тогда, ранней весной, городок был весь в снегу и показался мне совсем маленьким. Теперь он, весь в зелени, стал больше, и выше, и улицы стали длиннее. И еще шире стала площадь возле старых торговых рядов. В этот небазарный день она была совсем пустынна и пахла пылью и теплой сорной травой.

Мы подошли к будочке фотографа-пятиминутчика и снялись на открытом воздухе на фоне полотна, где был нарисован дворец и сад с фонтаном. Когда фотограф выдал нам шесть еще мокрых снимков, Леля одну карточку взяла себе, одну дала мне, а остальные разорвала.

— Это только наши с тобой карточки, — сказала она. — Одна у тебя, одна у меня, а больше ни у кого на свете.

18. Прозрачная жизнь

Во второй половине августа мне дали расчет. Недавно вышел указ о запрещении менять место работы и об уголовной ответственности за прогулы и опоздания, но я в Амушеве числился на временной работе, и меня этот указ не коснулся.

Когда поезд стал приближаться к Ленинграду, я прирос к окну. Вагон шел плавно, без толчков, — будто паровоз тут ни при чем, будто сам состав неотвратимо и ровно притягивается к городу.

Поезд прошел по виадуку. На мгновение стала видна булыжная мостовая, трамвайные рельсы, пучеглазый трамвай. В трамвае было что-то очень родное, и я обрадованно понял: теперь-то я действительно дома, в Ленинграде.

Много я ездил только в детстве, когда бродяжил, это было недолго. А потом я не часто отлучался из города. Но всегда, когда я из-под вокзальных сводов выходил на улицу, меня охватывало чувство необычности происходящего и ожидания чего-то. Вот и теперь, выйдя в этот августовский теплый вечер на шумный привокзальный проспект, в эту спешку и сутолоку, я ощутил и радость возвращения, и зыбкость этой радости. Казалось, вот-вот что-то должно начаться, что-то должно стрястись. И тогда все вокруг изменится, все станет другим.

Но все было хорошо, все пока что шло нормально. Только нужный трамвай долго не показывался. Я прошел в сквер, купил в киоске пачку дорогих папирос «Монголторг», сел на скамью, поставил возле себя чемодан и стал заново привыкать к Ленинграду. Сквер был окружен высокими зданиями; безоконные, темно-серые, с бледными подтеками стены прочно и буднично уходили ввысь. Отсюда суэта улицы не казалась такой напряженной и тревожной. Обычный городской вечер. Вот из вокзала выхлестнулась на асфальт новая толпа. Поезд пришел из курортных мест — зачехленные чемоданы, авоськи с фруктами, северные, купленные уже в дороге цветы и смуглота лиц, заметная даже на расстоянии.

Когда я вышел из трамвая на своем Васильевском, улицы показались мне очень тихими и чистыми — будто на фотографии. Уже начало смеркаться, в окнах кое-где, неторопливо и неуверенно, зажигались огни. Казалось, день еще может вернуться, перевалив через сумерки. Но нет, прошли уже белые ночи; темнота вступала в город. Когда я проходил мимо знакомого углового магазина, там тоже загорелся свет, как бы приглашая зайти. Пришлось зайти. Я купил две бутылки плодоягодного, хорошей колбасы и вдобавок дорогую горчицу в высокой фарфоровой баночке. Хотел купить и сгущенного молока, да сразу же спохватился: Володька, потребитель молока, уже в военном училище, в казарме. Отрезанный ломоть, как выразился о нем Костя в последнем письме.

О себе Костя в этом письме писал, как обычно, мало и туманно, но все-таки одна его фраза меня насторожила. «Я считаю, что дни проходят бессмысленно и беспорядочно, пора

начать моральную перестройку» — вот что писал он. И у меня сразу же возникло подозрение, что Костя влюбился в интеллигентную девушку и хочет начать прозрачную жизнь.

Я позвонил в квартиру. Дверь открыла тетя Ыра.

— Вернулся! — обрадованно сказала она. — А вот Володя-то уехал от нас. Двое вас теперь, значит, в комнате осталось.

Коммунальная кухня показалась мне неожиданно высокой и светлой. Уютно пахло едой, керосином, городской квартирной пылью. Дружно гудели примуса.

— А Костя дома? — спросил я тетю Ыру.

— Ушел куда-то ненадолго. Костя-то никуда не денется. Только смурной он какой-то ходит, малохольный. Может, без денег сидит? Я одолжить могу, у меня получка вчера была.

— Нет, тетя Ыра, деньги у нас сейчас есть, спасибо. Просто у него настроение такое. Бывает, знаете.

— Бывает, бывает, — тревожным шепотом согласилась тетя Ыра. — А только совсем малохольный ходит.

Когда я вошел в нашу комнату, она удивила меня своим простором, блестящей белизной стен; у меня было такое ощущение, будто за время моего отсутствия она стала больше. Я даже не сразу сообразил, что не она стала просторнее, а в ней стало просторнее: Володькиной койки уже не было, остались только Костина и моя. Но над тем местом, где когда-то спал Гришка, по-прежнему висела приклеенная хлебным мякишем картинка: верблюды идут по песку пустыни к своему неведомому оазису.

А над постелью Кости, над рисунком, изображающим город будущего, висел теперь широкоформатный плакат, написанный от руки зеленой тушью: «СТОП! С 20-го не пью!» По этой самоагитации я окончательно понял, что Костя опять решил начать прозрачную жизнь. Рядом с воззванием висела скромная бумажка. Необыкновенно аккуратными буквами там было начертано:

ОПЖ

(Обязательные Правила Прозрачной Жизни)

1. Не употреблять алкоголя ни в каких пропорциях и смешениях.
2. Курить не больше десяти папирос в день.
3. Не поддаваться дурному влиянию друзей.
4. Упорство, сдержанность и самодисциплина!
5. Быть достойным Л.

В комнате было очень чисто. Видно, Костя старательно подметал ее. В углу, как наказанный ребенок, стояла пустая бутылка из-под плодоягодного — след недавней грешной жизни. А стол был застелен чистой зеленой бумагой, прищипленной кнопками через равные интервалы. И на столе лежала раскрытая книга — учебник неорганической химии.

Вскоре явился и сам Костя. Лицо у него было строгое, поздоровался он со мной сдержанно. В нем чувствовалось горделивое сознание происшедшей с ним моральной перестройки — и в то же время некоторая настороженность.

— У меня, Чухна, все теперь по-новому. Новые чувства, новые мысли, новые горизонты, — просветленно заявил он.

— Значит, опять прозрачная жизнь?

— Да! — твердо ответил Костя. — Не опять прозрачная, а просто прозрачная. Тебе это не нравится? — с вызовом спросил он.

— Почему не нравится? Очень даже нравится, — ответил я, разливая вино в стаканы. — Выпьем за прозрачную жизнь!

Костя отошел от стола, сел на свою койку и протянул руку к плакату:

— Ты же видишь, что я не пью. Тебе не удастся меня спровоцировать на это дело. И

тебе пить не советую, и сам не стану! Не хочу быть илотом!

— Ну понятно, ты спартанец, — подкусил я. — У тебя все данные. А я вот выпью. — И я выпил сначала свой, потом Костин стакан.

— Тебя можно только пожалеть, — со скорбной улыбкой сказал Костя.

— Ну и жалею, — ответил я. — Давай-ка лучше закурим, — и я протянул ему пачку дорогих папирос.

— Нет, я уже выкурил сегодня свою норму, — сухо ответил Костя. — А ты, пожалуйста, не роняй пепел на пол. Пора привыкать к чистоте.

Странное дело, в обычной жизни Костя был человек как человек, и даже получше многих других. Но каждый раз, когда он начинал прозрачную жизнь, он сразу становился ворчливым, несправедливым и придирчивым, а чувство юмора у него автоматически выключалось. И вдобавок он начинал всех поучать, ставя в пример самого себя.

— Значит, прозрачная жизнь? — снова спросил я.

— Да! — сурово ответил Костя. — Впрочем, тебе этого не понять.

— А кто это Л.? — задал я наводящий вопрос. — Любовь с большой буквы, или Люся, или Лида, или Лиза? И как это быть достойным Л.? Передай мне свой технический опыт, научи меня быть достойным Л.

— Ты пошляк и циник, я давно это заметил! — ошетинился Костя. — Но если хочешь знать — знай: любовь с большой буквы и Люба для меня теперь синонимы... Но что ты в этом смыслишь!

— В прошлом году ты начинал прозрачную жизнь из-за Нины, — вскользь заметил я.

— Это давно зачеркнуто временем, — резко ответил Костя. — Тогда была ошибка. Глупец повторяет свои ошибки, мудрый на них учится.

— Ты, конечно, мудрый.

— По сравнению с тобой — да, — отпарировал Костя. — Для этого достаточно обладать средними умственными способностями.

В его голосе чувствовалось раздражение. Видно, давно он выкурил свою дневную норму папирос и ему очень хотелось курить. Но приходилось воздерживаться — прозрачная жизнь требовала жертв.

— А Володька совсем не заходит? — спросил я.

— Заходил в воскресенье. Приезжал из Выборга. В форме уже. Идет она ему — как корове седло... А жалко, что он от нас переехал, — закончил Костя потеплевшим голосом.

Я сходил в баню, вернулся, лег спать. Но мне не спалось. Тогда я оделся и вышел на улицу.

Фонари горели не мигая, будто впаянные в темноту. На безлюдной линии шаги редких прохожих звучали торопливо и тревожно. Квадраты освещенных окон постепенно гасли; казалось, опять началось затемнение, только не все еще знают, что оно началось. Большой семиэтажный дом тускло вырисовывался впереди. Он уже почти весь ушел в темноту, и горел только вертикальный ряд окон — лестничная клетка да на пятом этаже два симметрично расположенных окна — справа и слева от лестницы: дом был распят на светящемся кресте. Потом погасли лестничные окна и остались два квадратных глаза, глядящие в ночь.

На Большом проспекте еще длилось гулянье, еще шла шлифовка асфальта. Неподвижные деревья бульвара высились, как сгустки ночи, поднятые на черные столбы. Под ними по асфальту неторопливо шли пары, вспыхивали огоньки папирос. Иногда, держа друг друга под руки, проходило несколько девушек, тихо разговаривая между собой. За ними, переговариваясь друг с другом умышленно небрежными голосами, шагали ребята в модных пиджаках с широкими ватными плечами, в широких, как юбки, брюках, в ботинках-лакишах с квадратными носками — ночная гвардия проспекта. Пахло бензином, пудрой, табачным дымом, но сквозь это наслоение запахов пробивалось тонкое дыхание осенних листьев — еще не падающих, но уже готовящихся к своему плавному падению.

Я дошел до Симпатичной линии и свернул направо. Мне хотелось посмотреть на дом,

где живет Леля. Навестить ее в такой поздний час я, конечно, не смел. Это был солидный, высокий дом. Во втором его этаже, по той лестнице, где жила Леля, помещалась аптека. Я постоял у подъезда, посмотрел на табличку с номерами квартир, вошел в парадную, начал подниматься по лестнице. Аптека находилась в доме давно, с незапамятных дореволюционных времен, — аптеки не любят переезжать с места на место. Перила лестницы до цокольного этажа были гладки, как стекло, они словно оплавившись от тысяч прикосновений. Каждая ступенька сточена, протерта шагами: в середине — глубже, к краям — меньше. Казалось, камень прогибается под невидимым грузом. На площадке горела яркая лампочка, белела подковообразная фарфоровая табличка с красным крестиком и надписью «Звонок ночному дежурному». Из-под двери тянуло горьковатым аптечным сквозняком. А выше перила были как перила, ступени прямые и ровные, а лампочки на площадках тусклые, как на всякой ленинградской лестнице. Я поднимался быстро, но бесшумно, стараясь ступать на носки. Мне почему-то казалось, что любая дверь может неожиданно распахнуться и вот меня спросят: «А ты что здесь делаешь? Замки пришел проверять? Знаем мы таких субчиков!» Но дом уже спал.

Поднявшись на шестой этаж, я встал перед дверью квартиры №34. За дверью стояла тишина, там тоже все спали. Я подумал, что мог бы написать Леле записку, да не догадался взять с собой записной книжки. Но мне не хотелось уходить просто так, не подав никакого знака. Тогда я вынул из кармана расческу и опустил ее в почтовую кружку. Расческа громко звякнула, упав на жестяное дно, и я отпрыгнул от двери. Сердце забилось так, будто я только что бежал стометровку. Потом я, уже не спеша, пошел вниз, и мне уже не казалось, что меня могут окликнуть: «А что ты здесь делаешь?» Одно дело подниматься по чужой лестнице — другое дело спускаться. Ведь лестница, по которой спускаешься, уже не совсем чужая.

Когда я вернулся домой. Костя еще не спал. Он сидел над учебником неорганической химии, но книга была раскрыта все на той же странице.

— Зачем это ты учишь неорганику, ты же ее хорошо сдал? — спросил я.

— Человек должен учиться непрерывно, — важно изрек Костя. — Что именно изучать — большого значения не имеет. Нужно непрерывно тренировать свой мозг и вырабатывать в себе самодисциплину... А ты где таскался? Натирал асфальт? Искал уличных знакомств?

— Нет, теперь я не буду искать уличных знакомств, теперь это отпало. Я же тебе немножко писал про Лелю. Хочешь поглядеть на ее фото?

— Ну покажи, — снисходительно сказал Костя. — Наверно, мыбра какая-нибудь. — Он с недовольным видом потянулся за фотокарточкой. Но когда взгляделся в снимок, лицо его прояснилось.

— Знаешь, Чухна, — подобревшим голосом произнес он, — я и не ожидал, что у тебя такой хороший вкус. Очень симпатичная девушка. И потом сразу видно — интеллигентная. Тебе просто повезло. Но неужели ты ей нравишься?

— Вроде бы да.

— Это даже как-то странно, — удивился Костя. — Такая симпатичная — и ты ей нравишься... Ты только посмотри на себя в зеркало.

— Да что я, урод, что ли! Ну ясно, не красавец, но и не урод ведь.

— Дело не в красоте и не в уродстве. Дело в интеллекте. Дело в малоинтеллектуальном выражении твоего лица, а также в заниженном моральном уровне. Тебе следует подтянуться. Ты, Чухна, неряшлив, ты выпиваешь, ты много куришь — тебе пора начать жить по-новому. Поставь, как я, точку на все, что было, и воспитывай в себе самодисциплину!

— Ничего, пожалуй, не выйдет у меня с этой самодисциплиной, — ответил я. — Я и сам чувствую, что Леля в сто раз порядочнее меня, но мне лучше не стать.

— Ты, Чухна, только начни и — главное — будь упорен. И потом, знаешь, я всегда помогу тебе своим личным опытом. У тебя всегда перед глазами будет живой пример.

— Так у тебя твоя эта прозрачная жизнь только пятый день идет. Еще неизвестно...

— Она будет идти и десятый, и сотый, и тысячный день! — отрезал Костя. — В этом ты можешь не сомневаться.

19. Вдвоем

На следующей день с утра стояла по-августовски теплая, пасмурная, но без дождя погода — самая моя любимая. Я никогда не любил ясных солнечных дней. Ясный день чего-то от тебя требует, хочет, чтобы ты был лучше, чем на самом деле, а ленинградский серенький денек как бы говорит: ничего, ничего, ты для меня и такой неплох, мы уж как-нибудь поладим. И вот встал я в восемь часов, тихо сходил на кухню, приготовил чай, тихо выпил два стакана — а Костя все спал. Он спал лицом вверх, и лицо у него было настороженное, будто он боялся, что кто-то вот-вот разбудит его и начнет допрашивать, не нарушил ли он правил новой жизни, не выкурил ли лишней папиросы, не поддастся ли дурному влиянию друзей.

Тихо закрыв за собой дверь комнаты, я миновал коридор и безлюдную в этот час кухню, и, наращивая скорость, прыгая сперва через две, потом через три, потом через четыре ступеньки, ссыпался с лестницы, и, уже заряженный скоростью, ходко зашагал по тротуарным плитам. Шагать было легко и приятно, я обгонял редких прохожих, окна домов толчками двигались мне навстречу. Но когда я свернул на проспект Замечательных Недоступных Девушек, то есть на Большой, я вдруг подумал, что слишком уж спешу. Неудобно так рано заявиться к Леле: может, она еще спит, а может, еще только проснулась. И я затормозил, не спеша прошел мимо Симпатичной линии, побрел на бульвар, остановился у щита «Читай газету».

«Ленинградская правда» была только что наклеена, клейстер еще проступал влажными сероватыми пятнами. Кино: «Великан», днем — «Искатели счастья», вечером — «Любимая девушка». Новая школа на пр. 25 Октября (это рядом с ателье «Смерть мужьям»). «Зенит» победил «Металлурга» (Москва), счет 2:1... Артиллерийская дуэль через Ла-Манш... Спекулянт дровами получил по заслугам... Слет призывников Ленинграда... Две тысячи германских самолетов над Англией... На съемках фильма «Музыкальная история»... Учения ПВО в г. Красногвардейске... Отмена отпусков в румынской армии...

Тут кто-то легко тронул меня за руку.

— Леля! — удивился я. — Лелечка!.. Я только что о тебе думал.

— Ты же газету читал.

— Понимаешь, читаю газету — а о тебе думаю. «Зенит» у «Металлурга» выиграл — а я о тебе думаю, съемка фильма — а я все равно о тебе... А ты?

— Да, — ответила она. — Да. Я тоже о тебе... Это ты расческу в почтовый ящик бросил?

— Я. А что?

— Нет, ничего... Куда мы пойдем сейчас? Я вообще-то в магазин шла. Но, может быть, пройдем к Неве?

— Давай к Неве. — Я взял ее под руку, и мы пошли вдоль Большого. На Леле была темная кофточка и черная юбка много ниже колен, и в руке авоська из кусочков сапожной кожи. Авоську эту я уже видел, а все остальное было очень городское. И у самой у нее был какой-то очень уж городской вид, я не привык к ней такой. И какая-то независимость в голосе, в движениях, в походке, и рост выше — или это от английских каблучков? Мне вдруг показалось, что не так уж она и рада встрече со мной. Может, я хорош был для нее там, в Амушеве, а здесь, в городе, поинтереснее фрайера есть?

Мы свернули в безлюдный, тихий и мрачноватый Соловьевский переулок. Панели там были совсем узенькие. Мы шли по мостовой, направляясь к Румянцевскому обелиску, маячащему вдаль. Леле неловко было ступать в своих городских туфельках по крупным выпуклым булыжникам, и она то теснее прижималась ко мне, то словно отшатывалась. Она рассказывала, что отец опять уехал, что уже послезавтра она начнет работать в чертежном бюро, что ее уже почти оформили, — а я слушал, и все время мне казалось, что она стала какой-то другой, и я ей, может быть, не так уж и нужен. Я невпопад отвечал на ее вопросы,

во мне росла неловкость, готовая перейти в обиду, в отчуждение. «Не везет нам, гопникам, с порядочными», — вспомнил я слова Кости.

— Ты что?.. — спросила вдруг Леля, повернувшись ко мне.

— Как «что»? — сказал я. — Я ничего...

Она вдруг вырвалась от меня, стуча каблучками, неловко побежала вперед и стала лицом ко мне, бросив авоську наземь:

— Гражданин! Предъявите документы!

Я подошел к ней, и она положила руки мне на плечи. Глаза ее и губы были совсем близко. Но тут из обшарпанной кирпичной подворотни вышла старушка с толстой дымчатой кошкой на руках и внимательно, без осуждения посмотрела на нас. А кошка строго мяукнула. Мы подняли авоську и пошли дальше.

— Ну вот, — сказала Леля. — Знаешь, мне вдруг стало казаться, что ты меня позабыл.

— А мне показалось — ты меня позабыла. Я просто псих. Но теперь все, все хорошо.

— Да-да-да! Теперь у нас все хорошо, — повторила Леля.

Переулок стал казаться мне очень уютным — век бы здесь прожил. Но он уже кончился. Через чугунную калитку вошли мы в Соловьевский сад, под его старые деревья, и сели на скамью. Обелиск «Румянцева победам» уходил ввысь, в невысокое серое небо. Было тихо, только из музыкальной ротонды, как из рупора, порой доносились голоса мальчишек. Они разбились на две партии и, размахивая палками, играли в войну. С Невы иногда слышался гудок буксира.

— Когда мама была жива, она водила меня гулять в этот сад, — сказала Леля. — По субботам вот в этой ротонде играл красноармейский духовой оркестр. Они всегда играли что-то грустное, а я тихо сидела и слушала, и мне было хорошо-хорошо. Даже все на свете лучше казалось из-за того, что они грустное играют. Ты это понимаешь?

— Конечно, — ответил я. — Ты расскажи мне о себе еще что-нибудь.

— Хорошо, я расскажу тебе, но только глупое. Вот там, слева от эстрады, есть ход вниз, там женская уборная. Мы с девочками иногда забивались туда слушать, как шумит вода. Там бачок через каждые несколько минут автоматически выливается, и с таким шумом! И вот мы забирались туда и ждали. Как только вода загудит, зашумит — мы все толпой выбегали из этой уборной, будто нам очень страшно. И однажды я сшибла с ног пожилую даму. Мама меня за это строго наказала, оставила без сладкого. И папа сказал: «Так и надо этой девчонке!»

— А что было на сладкое? — спросил я.

— Кисель. Это я хорошо помню, мы ведь жили небогато, кисель был не каждый день.

— Зато у нас кисель каждый день, — похвастался я.

— Знаю, ты говорил, — улыбнулась Леля. — Сплошной праздник — кисель и сардельки. Как вам не стыдно так питаться, ведь это от лодырничества! Взрослые люди, и ни один не догадается приготовить нормальный обед! Вам надо собраться, договориться... — Она вдруг осеклась, вспомнив, что теперь не так уж нас много.

— Косте сейчас не до нормальных обедов, — торопливо начал я, чтобы вывести ее из смущения. — У Кости начался приступ прозрачной жизни... Пойдем опять по Соловьевскому?

Когда мы снова вошли в этот переулок, он уже не был так безлюден, мы встретили нескольких прохожих.

— Испортился Соловьевский, — сказал я. — Тот, да не тот.

— Все равно это хороший переулок, — не оборачиваясь ко мне, проговорила Леля. — Ты его еще не переименовал?

— Нет. Может быть, назовем его так: Выяснительный переулок?

— Это что-то не то. Это бюрократизм. Назовем знаешь как? Назовем так: Кошкин переулок. Никогда не забуду я этой смешной кошки.

— Заметано! Гражданочка, по какому это я иду переулку?

— Вы, гражданин, идете по Кошкину переулку.

Мы пересекли Большой, дошли до Среднего и свернули налево. У кирки на углу Третьей линии и Среднего мы остановились. В кирке размещался какой-то склад, но начхать было ей на это. Контрфорсы, узкие стрельчатые окна, башенки с шишками на остриях — все уходило в высоту. От склада, от Среднего проспекта, от трамваев, от нас.

— Это пламенеющая готика, — сказала Леля. — Только она здесь искажена... Это папа мне объяснял, что искажена... А как ты думаешь, они там теперь молятся в Германии в своих кирках или нет? Я где-то прочла, что Гитлер вводит новую религию.

— Культ Вотана, — сказал я. — А чего им молиться, у них и без моления все как по маслу идет. Францию за полтора месяца взяли.

— Неужели и у нас с ними будет война? — спросила Леля. — Некоторые говорят...

— Конечно, будет, — степенно ответил я. — Это все понимают. Только это будет не скоро, так что ты не бойся. Им надо еще Англию взять, а Англия — это не Франция, тут нужен сильный флот. Но и Англию они, конечно, оккупируют. А потом начнут осваивать английские колонии и наращивать военный потенциал. И мы тоже будем изо всех сил готовиться, чтобы они не застали нас врасплох. Но война будет еще через много лет. Твой брат успеет вернуться с действительной, он успеет жениться, а ты...

— А что я? Ну, а что я?

— Не будь любопытной. Сейчас мы зайдем в ТЭЖЭ, и я тебе духи подарю.

— Нет, я не хочу, чтобы ты мне дарил что-то. Пусть у нас все будет без подарков. Я здесь куплю себе пудру. Сама.

— Леля, один раз в своей жизни могу я подарить тебе духи?! У меня в кармане полно желтух, зеленух, синюх и краснух, ведь мне там, в Амушеве, полный расчет выдали. Хорошо быть богатым!

— Нет, все равно не надо. Я этого не хочу.

В магазине празднично пахло дорогим туалетным мылом и еще чем-то очень душистым. Пока Леля покупала свою пудру, я быстренько выбрал духи «Камелия» — не очень дешевые, но и не самые дорогие. Я их опустил в Лелину авоську. Она сердитым шагом, не глядя на меня, вышла из дверей и торопливо пошла к Четвертой линии.

— Что это с тобой? — спросил я, нагнав ее.

— Ничего со мной! — сердито ответила Леля, вытаскивая из авоськи мой подарок. Она раскрыла эту коробку, вынула флакон с духами, бросила коробку на тротуар. Потом размахнулась — и неловким движением метнула флакон вдоль по Четвертой линии. Казалось, он полетит далеко, но он упал очень близко от нас, негромко разбился, и до меня донесся запах душистого спирта. Все это произошло быстро, но несколько прохожих остановились и с удивлением стали смотреть, ожидая, что же будет дальше.

— До чего молодые дошли, духами почему зря швыряются, — сказала какая-то женщина. — А еще говорят, что денег мало!

— Не шуршите, не ваше дело, — буркнул я. — Леля, куда ты?

Она торопливо уходила от меня. В глазах у нее стояли слезы.

— Ну, что такое? — спросил я. — Ты прости меня.

— Это ты прости, — тихо сказала она. — Это моя выходка. Это у меня такие нахлывы бывают. Нахлынет — и ничего не могу с собой сделать. Ты не сердись.

— Я и не сержусь. Только не понимаю, зачем это ты...

— А я разве понимаю!.. Отец меня раньше очень ругал за такие нахлывы... Подожди меня здесь. — Она вошла в булочную, а я остался на этот раз на улице.

— Ты проводишь меня до дому? — спросила она, выходя.

— Может, прогуляемся еще немного?

— Как хочешь, — покорно ответила Леля. — Давай дойдем до Пятнадцатой, пройдемся по шашкам.

Мы дошагали до Четырнадцатой и пошли прямо по мостовой, по шестигранным деревянным торцам, — только здесь они и сохранились к тому времени на Васильевском, на этой тихой линии. Очень приятно было шагать по дереву — будто и не по улице идешь, а по

полу в длинном большом зале, где вместо потолка небо.

— А эта линия у тебя как-нибудь называется? — спросила вдруг Леля.

— Я ее даже перепереименовывал, — ответил я. — Сперва назвал Счастливой, я раз тут трешку нашел, а потом пришлось переделать в Мордобойную. Здесь нам с Костей плохо пришлось, мы тут в одно дело влипли.

— Давай перепереименуем ее, — предложила Леля. — Здесь очень приятно идти по этим шашкам. Тебе приятно сейчас?

— С тобой очень даже. Заметано, мы идем по Приятной улице! Ты довольна?

— Очень. А вот в этом роддоме я родилась... Вообще-то это никакого значения не имеет, кто где рождается, — перебила она сама себя. Очевидно, спохватилась, что я-то не знаю дома, где родился.

— А ты, между прочим, не собираешься мою расческу замотать? — торопливо спросил я, чтобы сбить ее смущение.

— Не съем я твою расческу. Сейчас ты зайдешь ко мне, и я тебе ее верну. И ты пообедаешь у нас. Тетя, наверно, уже что-нибудь приготовила.

— Теть у тебя — что собак нерезаных, — сказал я. — Там тетя, здесь тетя...

— Только две, — ответила Леля. — Я тебе ведь говорила, ты все забыл. Та, что в Амушеве, тетка по матери, а здесь — по отцу. Она не замужем, она всегда в этой квартире жила.

— Старая дева?

— Не надо так говорить, это грубо. У нее был жених. Его убили на войне, в шестнадцатом году.

— Ну прости меня. Я же не знал.

— Прощаю, — серьезно сказала она.

Мы чинно миновали аптечную площадку, потом взяли за руки, бегом пробежали два марша лестницы, замедлили бег у окна и — снова вверх. Все окна и площадки были совсем одинаковые, но с каждым этажом становились светлее. Казалось, это не мы взбегаем все выше, а сам дом плавно всплывает к небу, осторожно раздвигая соседние здания. Когда мы, запыхавшись, остановились у предпоследнего лестничного окна, город был уже под нами. Дом прорезался сквозь него, оставив его внизу. Мы сели на холодноватый подоконник из черного с белыми крапинками искусственного мрамора.

Прямо перед окном простиралось светло-серое небо, под нами лежали крыши, задние дворы с поленницами дров, брандмауэры с квадратными окошечками, забранными кирпичной решеткой. Дальше виднелся кусок улицы. По ней беззвучно и целеустремленно, как визир по логарифмической линейке, двигался трамвай.

— Странно как, — сказала Леля. — Странно. Всю жизнь живу в этом доме, а на подоконнике я здесь никогда и не сидела... Тетя Люба не хотела, чтоб я играла на этой лестнице. Здесь очень опасный пролет. Тетя Люба рассказывала, что давно, еще до революции, в этот пролет бросилась девушка. Ее соблазнил один молодой человек — и вот она бросилась и разбилась.

— В порядке мести и запугиванья, — машинально добавил я.

— Что? — удивленно переспросила Леля. — В порядке чего?

— Нет, это я так, — дядя шутит. Она просто дура.

— Совсем не дура, а несчастная. А если и дура? Дуру ведь тоже жалко, она тоже только раз живет... Ее весь дом хоронил. И она лежала в белом гробу, вся в цветах, как живая. — Эту фразу Леля произнесла нараспев, подражая кому-то.

— Она была отсталая, — сказал я. — В наш век нормальная девушка не станет из-за такого дела сигать в пролет. Ты ведь не стала бы?

— Не знаю, меня еще никто не соблазнял, — Леля тихо засмеялась. — Мне еще рано прыгать в пролеты. Вот когда меня кто-нибудь соблазнит...

Она легко соскочила с подоконника и, взбежав на один марш, позвонила в свою дверь. За дверью сразу же послышались шаги, и сердце мое тревожно забилося. Не привык я бывать

в чужих квартирах.

Дверь открыла седая, но не очень старая женщина в синей кофте с большими карманами.

— Тетя Люба, это Анатолий, я тебе о нем говорила, — каким-то небрежно-выжидательным тоном сказала Леля, когда мы вошли в прихожую.

— Здравствуйте, Толя, — приветливо сказала тетка. Она протянула руку, и даже в этой слабо освещенной прихожей я сразу заметил, что кончики пальцев у нее желтые, — такие бывают у тех, кто курит самокрутки. — Толя, вы вермишель любите?

— Он любит кисель и сардельки, — заявила Леля. — Но он ест и все остальное.

Квартира у них была отдельная, но совсем маленькая, деленная. В ней царил какой-то привычный, устоявшийся неуют. В главной комнате высился громоздкий буфет, на дверцах которого виднелись резные яблоки и виноград. Под самый потолок уходили два шкафа с небрежно расставленными книгами. Книги лежали и на подоконнике, и валялись на широком диване, на обеденном столе — на клеенке, где в синих квадратиках были нарисованы гуси и ветряные мельницы. На стене, оклеенной тусклыми холодно-голубоватыми обоями, косо висели холсты, они просто были прибиты гвоздями. Там кто-то изобразил масляной краской дворы, кусты, стены, но все казалось незаконченным, чего-то не хватало, хоть я и не мог понять чего.

— Это все наброски тети Любы, — пояснила Леля. — Она когда-то занималась живописью, еще до войны и до революции. А теперь она уже давно работает в бухгалтерии, на фабрике Урицкого.

— Оттуда же можно хорошие папиросы выносить, а она самокрутки вертит, — удивился я.

— А вот она ничего с фабрики не выносит, — ответила Леля. — Разве это плохо?

— Нет, это не плохо... А почему она сейчас с нами не обедает?

— Потому что потому!.. Потому что она болезненно тактичный человек, вот почему. Она не хочет нам мешать. Она считает, что между нами серьезные отношения.

— Но они и есть серьезные. Ведь я не трепач какой-нибудь, да и ты не потрепушка.

— Конечно, серьезные, — согласилась Леля. — Но она, наверно, считает, что совсем серьезные... А у тебя со многими девушками были совсем серьезные отношения?

— Я ж тебе говорил, что были. Но с немногими.

Комната Лели была крошечная; стол с чертежной доской занимал чуть ли не всю эту комнату. Над столом в белой рамке, рядом с двумя рейсшинами, висело фото красноармейца, парня моих примерно лет. Лицо у него было доброе.

— Вот это мой брат, — сказала Леля. — Я ему о тебе писала, целый твой устный портрет дала. Он о тебе очень хорошего мнения.

— Интересно, что ты там обо мне накатала?

— Не скажу! А то ты возомнишь о себе слишком много... Он красивый, правда?

— Раз он похож на тебя — значит, наверно, красивый. Но я в мужской красоте ничего не понимаю, я понимаю только в женской.

— Ты и в женской ничего не понимаешь... — засмеялась Леля. Она положила руку мне на плечо и подтолкнула к зеркалу. — Значит, ты вот эту Лельку считаешь красивой? Вот эту рыжую Лельку!

Тут из прихожей послышался звонок. Леля торопливо вышла. Через несколько минут она вернулась с пачкой денег в руках.

— Думала, это от папы телеграмма, а это он мне денег прислал. Вот! Теперь я к зиме сошью самое модное пальто — коричневое с капюшоном. Ты рад?

— Мне все равно, — ответил я. — Наденешь ты на себя мешок или самое фасонистое что-нибудь — ты для меня одна и та же Леля... А сейчас я домой пойду, позырю, как там Костя. Сегодня я дежурный по пище.

— Но завтра ты приходи ко мне, — сказала она. — Хочешь, поедем на лодке кататься?

20. Еще один день

Когда я пришел домой, то застал Костю в довольно бодром состоянии. Он тоже только что вернулся, но откуда — не сказал. Наверно, со свидания с Л.

— Слушай, Толька, — обратился он ко мне, — ты не можешь завтра днем смыться куда-нибудь из дому?

— Могу, — ответил я. — Я могу даже на ночь куда-нибудь смотаться. Тогда у тебя будет не только день, но и ночь любви к ближнему.

— Ты — рыцарь постельной любви! — взелся Костя. — Не говори мне пошлостей! У меня с Любой совершенно чистые отношения.

— Так тогда чем же я могу тебе помешать днем?

— Своей болтовней, — ответил Костя. — Ты можешь разболтать Любе что-нибудь из моих прошлых ошибок. Или просто брякнуть какую-нибудь глупость. Да и вообще — ты только не обижайся, — одно твое присутствие может создать у интеллигентной, порядочной девушки невыгодное впечатление обо мне.

— Черт с тобой, Синявый! Я завтра уйду из дому с утра.

— Ну спасибо, — оттаявшим голосом молвил Костя. — У тебя все-таки есть отдельные хорошие качества. Только не забудь, что сегодня ты дежурный. Кисель и сардельки в шкафу.

Я медленно пошел на кухню и принялся за готовку обеда. Кроме меня в этот час там держала свою кухонную вахту тетя Ыра; она была в отпуску, но проводила его в городе. Сидя возле своей керосинки на зеленом табурете, она, старательно шевеля губами, читала очередную антирелигиозную брошюру: «Святые и „пророки“ в свете современной материалистической науки». Потом, устав от чтения, она заложила страницу пальцем и внимательно посмотрела на меня.

Я сразу понял, что сейчас тетя Ыра сообщит что-то интересное.

— Ты тут в командировке был, а тут без тебя чудо случилось, — тихо начала она. — В газетах, понятно, об этом нет, а так уж все в городе знают. Я с вечерни от Николы шла, так мне одна дама попутная рассказала. А чудо вот какое. Одна вдова на Смоленском пошла могилку мужа навестить. Вдруг видит — навстречу ей женщина самоходом идет по воздуху. То, конечно, не женщина была, а святая Ксения Блаженная. И говорит ей Ксения Блаженная: «Не по мужу плачь, по себе плачь. Готовь себе смеретное к осени, к наводнению великому. Вода до купола на Исаакии дойдет, семь дней стоять будет!» Тут эта вдова бряк с катушек — час пролежала.

Я ничего не сказал тете Ыре в ответ на ее историю с Ксенией Блаженной. Я понимал, что ее не переубедишь. И тогда она завела разговор на более конкретную тему:

— Вот ты обед готовишь ничего себе, аккуратно, а вот Костя не так готовит. Он человек хороший, ничего не скажешь, а киселя его я бы есть не стала. Я уж давно заметила: он кисель в том кипятке разводит, что от сарделек остается. Я ему раз намек об этом сделала, а он мне: «У вас, тетя Ыра, старые понятия».

Это сообщение тети Ыры я принял к сведению. Действительно, я уже давно, до своего отъезда в Амушево, заметил, что в дни Костиных дежурств в киселе попадают жиринки, а иногда даже и веревочки. Значит, это было из-за сарделек! Вернувшись в комнату, я спросил у Кости, правда ли это.

— Да, это правда! — нахально ответил Костя. — Этим я экономлю керосин, время и труд. Это рационально — следовательно, я за этот способ. А ты просто отсталый мещанин.

— А ты просто лодырь! — рассердился я.

— Пойми, мы живем в век техники, в век конструктивизма, — начал подводить Костя научную базу. — Пищу тоже надо готовить конструктивно. Вкус пищи — внешний, привходящий фактор. Главное — калорийность и витамины. Если в моем киселе попадают жиринки от сарделек, то это надо только приветствовать — кисель становится более питательным. Я за конструктивизм в кулинарии!

— А ты бы жареную крысу стал есть, она тоже калорийная?!

— Не прибегай к демагогическим приемам в споре! — огрызнулся Костя и с умным видом уткнулся в учебник неорганической химии. Прозрачная жизнь продолжалась уже шестые сутки.

На следующий день Костя с утра принялся наводить в комнате порядок. Хоть в ней и так было чисто, но он заново подмел мокрой шваброй белые и голубые плитки пола, и они заблестели, как новенькие. Он даже попытался кое-где протереть той же шваброй стены, но кафельные белые квадраты не стали от этого светлее, а даже немного помутнели. Костя бросил это дело, занялся сам собой и произвел ППНЧ (Полный Процесс Наведения Чистоты). Надев чистую рубашку и повязав сиреневый галстук, он с самодовольным лицом уселся за стол и стал ждать, когда я наконец уберусь из комнаты. Но я не очень-то торопился: неудобно было идти к Леле в такую рань. Я заставил Костю накормить себя — благо дежурным был он — и, наевшись, начал задавать ему провокационные вопросы.

— Костя, а где твоя Люба учится? — спросил я. — Или она работает?

— Она не моя, не навязывай мне частнособственнических взглядов. Люба учится в институте имени Лесгафта. Точнее — она еще не учится там, а готовится учиться в будущем году. В этом году она не смогла сдать экзаменов.

— По здоровью? — коварно спросил я.

— Нет, она вполне здорова, — терпеливо ответил Костя. — Ей не повезло с русским языком и политэкономией.

— Ну, для физкультурного института это неважно — русский язык, политэкономия. Главное там — уметь прыгать, бегать и кувыркаться. Не огорчайся за нее, она еще сдаст.

— Я огорчаюсь не за нее, а за тебя, — печально произнес Костя. — У тебя идиотское представление об этом институте.

— А тебе очень нравится имя Люба?

— Какое твое дело, что мне нравится и что мне не нравится! — уже сердясь, ответил Костя. — Если уж на то пошло, то все эти так называемые христианские имена — предрассудок. В будущем людей будут называть по цветам, по растениям, по предметам заводского оборудования, по предметам быта. Например: Фиалка Гиацинтовна, или Фреза Суппортовна, или Резец Победитович. Такие имена рациональны, и они быстро привьются.

— На всех цветов и суппортов не хватит, — возразил я. — А ты бы назвал своего сына Стулом или дочку Этажеркой? Этажерка Константиновна. А то еще хорошо такое имя-отчество: Унитаз Константинович.

— Когда ты наконец выкачишься отсюда! — возмутился Костя. — Ты вчера обещал очистить помещение на день. Будь человеком!

— Сейчас выкатываюсь, — ответил я. — Желаю вам приятно провести время в очищенном помещении.

Я зашел за Лелей. Она уже ждала меня. Вскоре мы перешли по деревянному Тучкову мосту на Петроградскую сторону и взяли лодку на прокатной станции, что против стадиона Ленина. Леля села на корму, я на весла; и вот из узкой Ждановки я быстро выгреб на широкую Малую Неву.

Опять стоял серенький, теплый, безветренный день. Лодка легко шла по течению — мимо стадиона, мимо Петровского острова с его высокими деревьями. Мы замедлили ход возле темного скопления старых судов, стоящих на приколе в затоне около верфи. Это были отплававшие корабли, предназначенные на слом. У них не было уже имен, ничего нельзя было прочесть на бортах — все съела ржавчина. Их очертания были странные, угловато-наивные. От обшарпанных бортов пахло солью и запустением. Вместо стекол иллюминаторов зияли круглые дыры, и за ними была натянута плотная, как черное сукно, темнота. Торопливый буксир, прошедший мимо, всколыхнул воду. Волны, заходя в узкие темные промежутки между бортами, екали, глухо вздыхали. Старые корабли сонно и скрипуче покачивались. Им было уже все бара-бир. Казалось, они сами пришли сюда умирать, в этот тихий затон. Так умные старые звери, чуя смерть, забиваются в самые глухие места.

Когда мы выгребали в залив, там шла легкая волна, над отмелями Лахты вились чайки. Яхты стайками торчали у горизонта — ждали ветра. Вдали, по морскому фарватеру, медленно шел большой океанский пароход.

На черном его борту, от самой ватерлинии, белел огромный квадрат, а в квадрате был нарисован красный флаг. Леля удивилась, зачем это.

— Теперь такой порядок для нейтральных стран, — пояснил я со знающим видом. — Каждое нейтральное судно должно иметь свой флаг на борту, чтобы его немцы или англичане не потопили по ошибке. С подводных лодок этот флаг очень хорошо виден. Это по-моему, очень умно придумано.

— Ничего не умно, — сказала Леля. — Все это плохо...

— Что плохо? — не понял я.

— Да вся эта война... Я за Колю беспокоюсь.

— Чудачка ты, мы ведь не воюем.

— Все равно все это плохо... Давай повернем назад. Мне что-то холодно. Ты поверни лодку, и я сяду на весла.

Мы осторожно поменялись местами. Теперь я сидел на кормовой банке, лицом к городу. Слева виден был огромный бурый земляной кратер — чаша будущего стадиона, намытая землесосами. Впереди, как большой сложный цветок, всплывший из моря, раскрывался город. Петропавловский шпиль торчал над ним золотой тычинкой. С залива теперь тянуло ветром, он дул нам в корму. Легкая серая облачность, с утра висевшая над землей, кое-где прорвалась, и над Ленинградом плыли широкие солнечные блики. Я смотрел то на город, то на Лелю. У нее было озабоченно-грустное лицо, и мне хотелось сказать ей что-нибудь хорошее и веселое, но что сказать, я не знал. Вскоре мы вошли в устье Ждановки; от «Красной Баварии» вкусно и терпко потянуло солодом. Я снова сел на весла и, когда мы менялись местами, успел обнять Лелю.

— Не смей больше этого делать, — уже с улыбкой сказала она, — в лодке обниматься нельзя. Ты читал Кони?

— Нет, — признался я. — Слышал про такого, но ничего не читал. А что?

— У него там описано одно судебное дело. В этой Ждановке один человек утопил свою жену.

— Ну, ты мне еще не жена, — ответил я, — так что я тебя не утоплю. Но читаешь ты очень много. Больше тебя читает только Костя.

— А как его прозрачная жизнь?

— Продолжается. Сегодня к нему должна прийти некая Л. Я боюсь, не вздумал бы он жениться. Тогда я останусь совсем один.

— Один? — спросила Леля. — А я?

— Я говорю не о том. Я говорю о другом. И сейчас-то в комнате только двое.

— Вот и причал, — сказала Леля. — Ты меня до дому проводишь, а потом я сяду работать. Мне уже дали на дом кое-что, весь вечер буду чертить.

Проводив Лелю, я пошел шляться по городу, чтобы попозже вернуться домой: ведь я же обещал Косте очистить от своего присутствия комнату до вечера. Выйдя на Неву, я постоял у сфинксов, по гранитным ступеням спустился к воде. Внизу, у подводного основания камней, колыхались тонкие темно-зеленые водоросли. Нева текла светло-серая, небо опять задернулось бездождевой сизоватой дымкой.

Не спеша пошел я мимо университета к Дворцовому мосту. На набережной былолюдно, кончалась пора отпусков и каникул. Немало симпатичных девушек попадалось мне навстречу. Но теперь я уже не думал, как прежде, что вот хорошо бы познакомиться с этой, и с этой, и с той, и вот еще с этой, что в берете. Девушки не стали хуже, а я не стал лучше — но теперь я шагал по городу как бы и один и не один. Где-то рядом невидимо шла Леля. Все теперь стало по-другому.

Да и сам город стал немножко другим. Пожалуй, он стал еще красивее. Я теперь видел его не только своими глазами, я теперь видел его сразу за двоих. Еще не так давно он

принадлежал всем остальным — и еще отдельно мне. Теперь он принадлежал всем остальным — и еще отдельно двоим: Леле и мне.

Перейдя мост, я сел у Штаба на трамвай, поехал по Невскому, сошел у Владимирского. У меня были любимые и нелюбимые улицы. Дойдя до Загородного, я медленно, с удовольствием зашагал по нему. Это был очень уютный проспект, на таком проспекте можно жить, не заходя в квартиру. Просто поставь кровать на тротуар — и спи, и тебе будет тепло, и на душе будет спокойно, и никто тебя на этой улице не обидит. А ведь есть улицы неуютные, как больничные коридоры, их хочется проскочить, не глядя по сторонам.

В подвальном буфете, куда я зашел, было малоллюдно и тоже уютно и хорошо. А пиво — холодное и свежее, а вареная колбаса — вкусная, что надо. Сидел я за крайним столиком возле открытого, но зарешеченного окна, выходящего на задний двор. За окном валялись потемневшие ящики и разошедшиеся бочки. Где-то во дворе, в чьем-то высоком окне, крутилась на патефоне пластинка: «Может, счастье где-то рядом, может быть, искать не надо?..» Я сидел, ел, пил, слушал — и думал: «Уж очень все хорошо идет в моей жизни. Не слишком ли все хорошо?»

* * *

Когда я часов в восемь вечера вернулся домой, дверь открыла мне Антонина Васильевна, одна из жилищек нашей квартиры, — инженерша, женщина серьезная.

— Костя дома? — первым делом спросил я ее.

— А разве не слышите? — задала она мне контрвопрос. — Загулял наш Константин Константинович. Неужели не слышно?

Я прислушался. Действительно, хоть на кухне гудели два примуса, издали по коридору донеслись до меня звуки гитары и невнятное пение. Я понял, что прозрачная жизнь кончилась. Каждый раз, порывая с прошлым, Костя гитару свою прятал в шкаф, он считал ее греховным инструментом. Теперь он, значит, восстановил ее в правах.

— А кто у него там? Не девушка?

— Там у него дядя Личность, — грустно ответила Антонина Васильевна. — Хорошего не ждите.

Дядя Личность занимал большую комнату, но комната была пустынна. Ни вещей, ни людей. Мебель он давно продал и спал на голом матрасе. Жена и дочь от него ушли. Он сильно пил. Когда-то у него все шло хорошо, работал мастером на «Красном гвоздильщике», выпивал в меру. Потом его брат попал под трамвай. Тогда дядя Личность стал выпивать все чаще и чаще, и его стали понижать в должности все ниже и ниже. Теперь он работал на заводе «по двору», то есть подметалой, а в доме выполнял разные поручения. Это был тихий, добрый пьяница, он никогда не скандалил. Когда напивался, то ходил по квартире, негромко стучался в двери и тихо спрашивал жильцов: «Извиняюсь, личность я или нет?» Ему отвечали, что личность, и он вежливо кланялся и шел к следующей двери.

Когда я вошел в нашу изразцово-плиточную комнату, я увидел, что Костя возлежит с гитарой на своей койке, а за столом сидит дядя Личность. Одна поллитровка водки была уже пуста, другая опорожнена наполовину. В воздухе плотно стоял табачный дым. Плаката с самоагитацией против алкоголя на стене уже не было. ОППЖ (Обязательные Правила Прозрачной Жизни) тоже были сорваны со стены и валялись на плитках пола, среди окурков.

— Костя, значит, кончилась прозрачная жизнь? — обрадованно спросил я.

— Ну ее к черту! — сердито ответил Костя и, тронув гитарные струны, запел громким, но сильным голосом:

Эх, да пусть играют бубны,
И пусть звенят гитары,
Сегодня цыгане, и сердце мчится вдаль

Пляшите, смуглянки,
На родной, полянке, —
Для молодой цыганки мне ничего не жаль!

Костя пел с воодушевлением, и дядя Личность подпевал ему несмелым тенорком, а сам поглядывал на меня — ждал, когда я выпью и стану нормальным человеком.

— Пей, Чухна! Наливай себе по потребности! — вскричал Костя. — Довольно мы пили детский плодоягодный напиток! Будем пить водку! Я жестоко ошибся в ней!

— В ком в ней? В водке?

— В ней, в ней? В Любе, а не в водке! Она оказалась малоинтеллигентной. Ошибка! Ошибка! Я ей: «Ты хочешь жить по „Домострою“ — а она: „Это что, стройтрест такой?“ Я ошибся в ней! — Костя схватился за гитару и запел „Стаканчики граненые“. Потом встал, подошел к столу, и мы с ним выпили; и дядя Личность выпил с нами, а потом, пошатываясь, вышел из комнаты.

Костя снова возлег на кровать. Но играть на гитаре он уже не мог. Он долго лежал молча, а потом вдруг громко заявил:

— Ребята, похороните меня под раскидистым дубом! — Когда Костя сильно напивался, он всякий раз завещал себя где-нибудь похоронить — и каждый раз в новом месте. Иногда под тенистой елью, иногда в горах, иногда в широкой степи. В прошлом году, когда он ошибся в интеллигентной девушке Нине, он просил бросить его труп в море, а сейчас вот ему понадобился раскидистый дуб.

21. Осенью

Опять начались занятия. На занятия теперь ездили мы вдвоем: я да Костя. В техникуме все было вроде бы по-прежнему. Но кое-что изменилось. Все прошлые грехи спали с меня, как шелуха. С Амушевского завода пришло в техникум письмо, подписанное Злыдневым, где было сказано, что работал я хорошо, и даже высказывалась благодарность в адрес техникума за то, что в нем прививают студентам чувство дисциплины и ответственности. Письмо такое писать было вовсе не обязательно, это была, по-видимому, инициатива Злыднева. А может быть, кто-то из техникума послал ему запрос и натолкнул его на это благое дело?

Однако, войдя в Машин зал, где опять висела свежая стенгазета, я прочел в ней заметку за подписью «Общественник». Заметка называлась так: «Один из лучших».

«В то время как учебная дисциплина в техникуме еще не поднялась на должную высоту и еще имеются случаи хронической неуспеваемости, а также случаи игры на занятиях в чуждую, антисоциальную игру „крестики-нолики“, мы имеем право гордиться отдельными передовыми студентами, которые высоко несут знамя нашего техникума. Честь и слава тем студентам, которые добровольно отправились на Амушевский завод, чтобы там наладить производство и поднять его на новую высоту! Одним из лучших является...»

Дальше шло мое имя и фамилия. На душе стало совсем легко. Я взглянул на Голую Машу. Она с одобрительной улыбкой глядела на меня с окна. За окном простиралась осень, шел дождь, падали листья. Два мокрых пятипалых кленовых листа налипли на спину Маши с улицы — а ей было хоть бы хны! Вид у нее был совсем летний, праздничный.

— Не стыдно глазеть на нее? — спросила меня подошедшая Веранда. — Ты бы лучше на Люську поглазель, девочка что надо.

Действительно Люсенда похорошела за лето. Но для меня это значения не имело. Никого на свете не было лучше Лели.

Теперь мы с Лелей встречались часто. Иногда я заходил к ней, но чаще мы назначали свидания на Большом под часами и потом шли бродить по городу. Иногда мы даже брали билеты в «Форум», хоть кино мы не так уж и любили. Но в кинозале было тепло, уютно, и на экране все время что-нибудь да происходило. Ведь можно не очень любить кино, но все равно смотреть на экран интересно. Потом мы выходили под осенний дождь и опять бродили по улицам до ночи.

Я провожал Лелю до дверей. В квартиру поздно заходить я не решался. Даже и днем стеснялся заходить — это все из-за Лелиной тети, Любви Алексеевны. Хоть она хорошо каждый раз меня встречала и человеком, видно, была добрым, но иногда она говорила со мной каким-то таинственным тоном, и я не знал, как себя вести. При ней я чувствовал себя в чем-то виноватым, будто я что-то скрываю, а она знает, что я скрываю, но делает вид, что ничего не знает. Мне ведь известно было, что она уверена, будто у нас с Лелей «очень серьезные отношения». А никаких очень серьезных отношений у нас еще не было. Мы только каждый раз долго целовались на лестнице.

Однажды Леля зашла в наше с Костей жилье, в нашу изразцово-плиточную комнату. Она пришла в новом коричневом пальто с капюшоном, обшитым по краям узенькой полоской меха. Костя был дома, он сразу же подскочил к Леле и помог ей снять пальто. Потом повесил его в шкаф, где висело, стояло и лежало все наше имущество.

— Леля, это — Костя; Костя, это — Леля, — представил я их друг другу.

— Вам надо сделать отдельную вешалку для пальто, — сразу заявила она. — А то тут в шкафу у вас и хлеб рядом, и тарелки, и все-все-все.

— Отдельная вешалка — это нерационально, — возразил Костя. — Рационально, когда все сконцентрировано в одном месте. Меньше лишних движений.

— А по-моему, отдельная вешалка — очень даже рационально, — возразила Леля. — А нерационально разводить неряшество. — Она сказала это довольно сердитым тоном, и у меня вдруг мелькнуло опасение, что сейчас у нее случится нахлыв: сорвется, наговорит Косте чего-нибудь такого-этакого, и начнется у них перепалка. Но в это время наверху, в семействе парнокопытных — так Володька прозвал семью, живущую над нами, — завели патефон и начали долбить в пол каблуками — танцевать румбу с притопом.

— Опять пляс завели! — Костя погрозил потолку кулаком. — Чтоб им провалиться!

— Если они провалятся, то провалятся к вам сюда, — спокойно сказала Леля.

Костя внимательно посмотрел на нее, потом на потолок и захохотал. Я тоже представил себе, как в потолке образуется дыра и к нам сыплется штукатурка и с ней парнокопытные, и я тоже захохотал.

— Ну, раз такое дело, я ненадолго смоюсь, — сообщил Костя, торопливо надевая пальто и выходя из комнаты.

— Куда это он убежал? — удивленно спросила Леля. — Или это у вас всегда так, если приходят девушки?

— Девушки к нам почти никогда не приходят, такое у нас правило. Мы сами к ним ходим. А Костя побежал в угловой за плодоягодным. Ты, видно, ему понравилась.

— Не так уж и плохо у вас тут, — сказала Леля, осматривая комнату. — И даже не очень грязно. Только вот стены надо бы помыть. В следующий раз я приду с мылом и тряпками и вымою вам стены. Картинок я не трону, не бойся.

— Вот это Гришкина картинка, — объяснил я. — Здесь стояла его койка. А вот здесь стояла Володькина койка.

— Но ведь Володька-то ваш жив. А ты так говоришь, будто...

— Еще бы не жив! Еще как жив! В форме тут к нам приходил. Но, знаешь, он как-то отошел от нас. Отрезанный ломоть.

— А у тебя тут мягко! — сказала Леля, сев на мою кровать. — Я думала — куда жестче.

— Панцирная сетка, чего же еще мягче, — проговорил я, садясь рядом с ней. — Хотела бы отдохнуть на панцирной сетке?

— А что? Ну и хотела бы!.. Что ты! Нет! Нет, только не сейчас!.. Какой ты смелый у себя дома! — Она встала и, оправляя платье, не спеша пошла к окну. Каблочки ее застучали по метлахским плиткам, полупустая комната откликнулась тонким эхом. Леля стояла у окна лицом ко мне, упершись ладонями в подоконник. — Какой ты смелый у себя дома! — повторила она и тихо засмеялась. — Вот скажу твоему Косте, что ты ко мне пристаешь!

Вскоре из коридора послышались Костины шаги. Он принес не дешевое плодоягодное, а какой-то дорогой немислимый ликер, настоящий на лепестках роз. С торжественным видом поставил он бутылку на стол. Мало того, из кармана Костя извлек коробку «Мишки на Севере».

Мы разлили ликер по простоквашным стаканам и стали пить. Он был очень густой.

— Напиток богов и сумасшедших, — сказал я Косте. — Долго ты, наверно, выбирал его.

— Совсем неплохой ликер, — примиряюще проговорила Леля, облизывая губы. — Я такого никогда еще и не пила. Такой сладкий!

— В будущем не будет ни ликеров, ни водки, ни вина, — объявил Костя. — Будет один чистый спирт. И не будет никаких бокалов, фужеров, рюмок и стопок. Желаящим опьянеть алкоголь будет вводиться при помощи шприца. Это разумно и целесообразно.

— А куда будут делать уколы? — задал я провокационный вопрос.

— Туда же, куда их делают при разных прививках, — смело ответил Костя. — В руку, в плечо, в... Ничего тут нет смешного, — строго добавил он, взглянув на Лелю. — Это рационально.

— А как в ресторанах будет? — спросил я. — Вот пришли мы втроем в «Золотой якорь» на Шестой линии...

Леля опустила глаза и фыркнула. Простоквашный стакан с ликером задрожал в ее руке. Костя поглядел на Лелю, покачал головой и расхохотался.

— Ну вас всех, — сквозь смех проговорил он, — вы все излишне конкретизируете...

Наверху перестали обрабатывать пол каблуками, теперь оттуда доносилось ритмичное шарканье подошв под плавную музыку: танцевали танго «Огоньки Барселоны».

Я проводил Лелю до ее квартиры. Мы долго стояли у двери, не нажимая на кнопку звонка. Губы у Лели были сладкие от ликера. От нее и в самом деле пахло розами.

— Хорошая девушка, — сказал Костя, когда я вернулся. — И красивая, и интеллигентная, и в то же время своя в доску. Но не по себе, Чухна, ты дерево рубишь! Уж слишком она намного лучше тебя. Вот увидишь — пройдет два-три года, и она в тебе разочаруется и отошьет тебя. И правильно сделает!.. А у тебя, конечно, серьезные планы?

— Очень даже серьезные... Ну чего ты ко мне пристал?

— Все равно она когда-нибудь уйдет от тебя, помани мое слово. Уйдет и не вернется.

— Заткнись, перестань каркать! — сказал я. — Я и сам боюсь этого.

Через день в нашей комнате появилась новая мебель: вешалка. Чтобы прикрепить ее возле двери, пришлось нам расколоть два изразца и забить в стену деревянные пробки. Вешалка представляла из себя обыкновенную доску, в которую мы, под небольшим углом, забili двенадцать гвоздей. Двенадцать гвоздей на двенадцать гостей, хоть мы и не ожидали, что когда-нибудь придет к нам столько народу. Для пущей красоты доску мы покрыли красной тушью. «Леля нас, наверно, похвалит за эту вешалку, — думал я. — Ведь на днях она зайдет сюда опять, она обещала вымыть „наши стены“».

И действительно, через несколько дней Леля пришла. И я сам торжественно повесил ее пальто на новую вешалку. Она одобрила нашу работу. Только цвет ей не очень понравился.

22. Поздней осенью

В тот вечер поздней осени мы с Костей сидели друг против друга за столом и честно занимались спецтехнологией. Иногда мы задавали друг другу вопросы, изображая из себя строгих экзаменаторов. Костя все норовил подловить меня на цифровых данных, зная, что

это мое слабое место. Но на этот раз я и тут не плошал. Предмет я знал, нечего уж тут скромничать. Ведь я был «одним из лучших», как выразился в своей заметке наш показательный общественник Витик Бормаковский.

От долгого сидения без движения нам стало прохладно. В комнате было сыро, холодно. Пора бы уже печь топить, но дровяные деньги мы опять проели.

— Протопим камин? — предложил Костя, стукнув по столу кулаком. — Двадцать поленьев! Кто больше?

— Двадцать пять! — откликнулся я. — Кто больше?

— Тридцать! — выкрикнул Костя.

— Зажигаем! — закричал я, срываясь со стула. Мы тридцать раз обежали вокруг стола. Потом плюхнулись на свои койки, чтобы отдышаться. Костя извлек из-под кровати гитару и, лениво перебирая струны, запел старинную песенку:

Мама, мама, что мы будем делать.
Когда настанут зимни холода, —
У меня нет теплого платочка,
У тебя нет теплого пальта.

Кто-то торопливо постучал в дверь.

— Войдите! — сказал я.

В комнату боком просунулся дядя Личность.

— К вам тут пришли... — невнятно проговорил он и скрылся в коридоре. В комнату вошла Любовь Алексеевна, Лелина тетка. Она была бледна, губы у нее дергались. Шляпка из черного потертого плюша сидела набекрень, будто у пьяной.

— У нас несчастье, — сказала она, глядя не на меня, а куда-то в стену. — Вы можете пойти к нам?

Я молча подошел к нашей красной вешалке, взял пальто и торопливо начал напяливать его на себя. Оно вдруг стало каким-то узким и никак не налезало на плечи. «Что случилось? — крутилось у меня в голове. — Леля под трамвай попала?..»

— Что такое случилось? — спросил я вслух.

— У нас несчастье, — повторила Любовь Алексеевна. — Несчастный случай... Нет больше Коли... Несчастный случай на ученьях... Я боюсь за Лелю.

Костя подошел ко мне и помог надеть пальто. Потом он быстро подскочил к столу, схватил пачку «Ракеты» и сунул мне в карман.

— Ну, иди, — сказал он. — Тут все будет в порядке. Ты иди...

На улице стоял холодный туман, окна сквозь него светились неяркими размытыми пятнами. Над горящими фонарями стояли чуть заметные мутные и бледные радуги. Когда мы свернули на Большой — на проспект Замечательных Недоступных Девушек, — там было еще много гуляющих. Мы шли по «холостой» стороне навстречу их потоку, и некоторые с удивлением посматривали на нас. Асфальт был влажно-черен, капли сгустившегося тумана падали с ветвей на жухлую траву, на опавшие листья. Любовь Алексеевна шагала быстро, будто хотела обогнать меня. На ходу она бессвязно говорила о срочном вызове к военному, о сообщении из части. Отец Лели тоже извещен, он должен приехать... Колю уже похоронили там... Может быть, отец и Леля поедут в часть...

А здесь, на Большом, все было в порядке. Шло вечернее гулянье, неторопливая шлифовка мокрого асфальта. Много девушек — и ни у одной не погиб брат, — иначе не пришли бы они сюда, а сидели бы дома и плакали. У подвальной пивной со сводами, где не раз я бывал и с Гришкой, и с Костей, и с Володькой, стоял пьяный и, держась за поручень витрины, быстро, не в такт перебирая ногами, выкрикивал:

За кукараччу, за кукараччу
Я жестоко отомщу!

Я не заплачу, я не заплачу,
Но обиды не прощу!

Трамваи шли как им положено — не тише и не быстрее, чем всегда. На концах бугелей вспыхивали от сырости яркие зеленые всполохи, и на мокрые рубероидовые крыши сыпались красные крупные искры, как при электросварке. Редкие автомашины торопливо пробегали мимо нас, неся перед фарами два мутных клубящихся конуса, — как всегда в такую вот погоду. В том-то и дело, что все было как всегда.

Мы быстро поднимались по лестнице. Еще недавно Леля и я так легко взбегали по ней, и, казалось, дом поднимался к небу вместе с нами. А теперь лестница была темна, и чем выше, тем плотнее приникал к ее окнам туман. Вот-вот он поднажмет и выдавит стекла.

В прихожей пахло валерьянкой. И мне на миг почудилось: то, что произошло, не так уж страшно. Дело в том, что у нас в техникуме некоторые девушки в дни зачетов бегали в медпункт, и там Валя поила их для бодрости валерьянкой. Потом девчонки преспокойно сдавали зачеты — они, конечно, сдали бы их и без всяких лекарств, просто у них такая мода завелась. И потому этот запах у меня был связан с чем-то не очень серьезным. Меня только испугала тишина, стоявшая в квартире. Я думал, что еще из прихожей услышу плач, но никто и не думал плакать. Вся квартира была набита тишиной.

— Идите к ней, — тихо сказала Любовь Алексеевна. — Уговорите ее хоть что-нибудь поесть.

Я вошел в маленькую комнату Лели. Леля сидела, оперев локти о пустую чертежную доску. Она не была ни очень бледна, ни даже заплакана. Просто она сидела и смотрела в одну точку. Она даже поздоровалась со мной, но потом сразу как-то забыла, что я здесь. И я не знал, что мне делать. Стоял в сторонке и молчал. И она молчала. В комнате было холодно и сыро, и единственное, что я сообразил, это что хорошо бы закрыть форточку.

— Леля, ничего, что я форточку закрою? — спросил я.

— Ничего, — не оборачиваясь, ответила она. И я закрыл форточку и снова не знал, что же мне делать, что говорить. У меня не было опыта в утешении, мне никогда никого не приходилось утешать. И сам я никогда не терял родных — я просто не знал их, я был застрахован от потерь. Но от этого мне было нисколько не легче.

— Леля, тут очень холодно, — сказал я. — Я затоплю печку, хорошо?

— Хорошо, — ответила она.

Я пошел к Любове Алексеевне, постучался к ней. Она сидела на потертой ковровой кушетке и тихо плакала. Комнатка у нее тоже была небольшая, не больше Лелиной, но казалась совсем тесной из-за темно-вишневых обоев. На стенах, как и в гостиной, вкривь и вкось пестрели всякие недорисованные холсты. Еще здесь висел фотопортрет молодого военного с усиками, в форме царской армии. Под портретом на черной ленте приколот был букетик бессмертников. Над стареньким комодом виднелась цветная репродукция. Она изображала город — просто белые кубики домов, — и вокруг города, зажав его в кольцо, лежал какой-то огромный не то дракон, не то змей. «Град обреченный» — гласила подпись под этой картиной. Лампа с неуклюжим темно-зеленым абажуром, подвешенная на фарфоровом блочке, горела ярко, будто вот-вот готова была перегореть, но все равно комната оставалась темной и неудобной. И все же, именно из-за того, что здесь так мрачно, и из-за того, что Любовь Алексеевна плакала, а не сидела молча, как Леля, мне стало здесь немножко полегче. Здесь я хоть мог что-то сказать.

— Любовь Алексеевна, так я схожу за дровами, — сказал я. — Вы только дайте ключ от сарая... И не плачьте, ведь слезами вы ему не поможете. Вот сидите и плачете, а он уже не плачет. Ему теперь все бара-бир.

— Что? Бара-бир? — спросила вдруг Любовь Алексеевна.

— Ну да! Ему теперь бара-бир. Бара-бир — это значит: все равно. Это такое азиатское выражение.

— Да, ему теперь все равно, — согласилась Любовь Алексеевна. — Но нам-то... — Она

заплакала еще сильнее, и мне стало не по себе: не обидел ли я ее?

Однако она не обиделась. Вскоре она даже немного успокоилась, вышла со мной в кухню, дала мне ключ, керосиновую лампу, ватник и толстую веревку для дров и объяснила, где находится их дровяной сарай.

Я надел ватник, перекинул веревку через плечо. Спустившись до нижней площадки лестницы, через боковую дверь прошел во двор, миновал прачечную и на заднем дворе отыскал нужный подвал. Там лежали пиленные, но еще не колотые чурки, и я нашел в углу топор и начал их колоть. Я колот их от всей души, не жалея силы. Лампа стояла на земляном полу, и тень моя качалась на поленницах, на стене, и черная голова в кепке моталась на потолке, где шли железные балки и, между ними, бетонные плоскости со слоистыми следами дощатой опалубки. Устав колоть, я сел на широкий чурбан, и меня обступила тишина. Не та печальная тишина, что была сейчас там, наверху, в Лелиной квартире, а спокойная сыроватая подвальная тишина, вроде как в лесном овраге. Слышно было, как в трубах тихо-тихо журчит вода. Можно сидеть и сидеть так, слушать и слушать — и не надоест. Но потом мне стало совестно, что я сижу здесь, в этой тишине, будто прячусь от другой тишины, верхней. Я торопливо стал накладывать дрова на веревку.

Я внес вязанку в гостиную, осторожно опустил ее перед печкой. Печка эта выходила тылом в Лелину комнату, и я знал, что, когда протоплю печку, у Лели там будет тепло. А печи топить я, слава богу, умел — это мне часто приходилось делать в детдоме, в дни дежурства. Первым делом я открыл трубу, поставил стоймя дрова в печку, оставив между ними маленький коридорчик, потом нащепал лучины и напихал ее в этот коридорчик между поленьями. Потом горизонтально, между лучинами покрупней, просунул несколько совсем тоненьких лучинок и зажег их. Огонек робко спрятался между маленькими лучинками, потом осмелел, забегал по ним и, тихо пощелкивая, перепрыгнул на лучинки потолка. Потом занялись и дрова. Но печь давно была не топлена, дымоход еще не прогрелся, в нем пробкой стоял сырой воздух — и из топки вдруг полыхнуло дымом. Внезапно вошла Любовь Алексеевна, села на стул и сказала:

— Господи, точно ладаном... — Она опять заплакала.

— Сейчас хорошо потянет, — успокаивающе сказал я. — Сейчас все будет в порядке. — И действительно, больше дыма из печки не выкидывало. Огонь уже крепко вцепился в поленья, теперь его не оторвать было от этой работы. Лелина тетка ушла, затем притащила подушку и темно-зеленое одеяло и положила их на клеенчатый диван. Потом принесла горячий чай.

— Хлеб и масло в буфете, — сказала она. — Я раньше Лели ухажу на работу... Вы завтра заставьте ее пойти на работу. Ей надо быть сейчас на людях, тогда легче будет... И хоть утром заставьте ее поесть.

Она ушла. Я походил по комнате взад-вперед, налил Леле чаю, отрезал хлеба, намазал маслом, снес ей в комнату. Леля лежала на постели лицом в подушку. На ней был синий сатиновый халатик, в котором я увидел ее в первый раз в библиотеке, в Амушеве.

— Леля, ты спишь?

Она ничего не ответила. Я поставил чай на чертежный столик, сходил в соседнюю комнату, взял предназначенное мне одеяло и набросил его на Лелю. Не гася света, чтобы ей не стало вдруг страшно, когда проснется, притворил за собой дверь и вернулся к топящейся печке. Открыв дверцу, сел на пол перед огнем. Дрова горели красиво, нарядно — все в лентах пламени, в красных бантиках огня. За окном теперь шел снег. Он торопливо, по прямой, падал на город крупными влажными хлопьями.

Этой ночью мне плохо спалось. Лежа в одежде на клеенчатом диване, я ворочался и, когда, казалось, уже начинал засыпать, вдруг вздрагивал, будто меня кто-то ударял из темноты. Ночные мысли текли бестолково. Многие из них никакого отношения не имели ни к Леле, ни ко мне, и вообще ни к кому и ни к чему на свете. Иногда всплывала мысль, что когда-нибудь действительно будет война. Та большая война, о которой не раз говорил Володька... Володька редко теперь бывает у нас, он теперь военный курсант. Но, в

общем-то, он все такой же, только бросил писать стихи. Может быть, просто некогда?.. Если в Германии произойдет революция, то войны и вовсе не будет. А если Гитлера не свергнут, то война, наверно, все-таки будет. Но это еще не скоро, не скоро... Она будет еще не скоро, но она уже подкрадывается, уже отправляет людей на тот свет поодиночке — вот как Лелиного брата. Он погиб вроде бы и не на войне, а вроде бы и на будущей войне. На войне, которой еще нет.

Утром Леля разбудила меня. Она тронула меня за плечо, и я сразу проснулся и вскочил с дивана. Мне стало стыдно, что не я ее разбудил, а она меня. Леля была аккуратно одета, челочка причесана, лицо блестело от умывания.

— Иди помойся, — сказала она мне. — И будем пить чай... Ты молодец, что протопил печку.

Мы молча позавтракали. Потом я помог Леле надеть пальто и сам надел пальтукан и кепку. Мы уже готовы были выйти на лестницу, но тут Леля вспомнила, что не взяла портфель. Она пошла за ним в свою комнату — и вдруг выбежала оттуда в слезах, громко плача, будто увидела там что-то страшное. Я обнял ее и стал говорить ей сам не помню что, а она все плакала и плакала. Потом немного успокоилась, пошла к крану, умыла глаза, и я проводил ее до ее работы.

В техникум я опоздал, но это сошло. Ничего я, конечно, не объяснял никому, да никто ничего и не спрашивал. Я давно заметил, что если происходит какая-то большая неприятность, то мелкие неприятности расступаются перед ней, добровольно уступают дорогу. Потом они еще возьмут свое.

— Ну, как? — спросил Костя, когда я уселся рядом с ним в аудитории.

— Ничего веселого, — ответил я. — Чего тут поделаешь?..

— Ничего тут не поделаешь, — согласился Костя.

23. Новый год

Берег былого постепенно скрывается из памяти, сливается с темным морем забвения. Но минувшие праздники, как маяки, светятся позади — и не гаснут. Конечно, погаснуть и им суждено — но вместе с нами.

К Новому году мы с Костей справили себе костюмы. Ордера на материал нам выделили еще к двадцать третьей годовщине Октября. Косте по жребию достался отрез серого шевиота «прима», мне — темно-синий бостон. И вот двадцать седьмого декабря мы принесли костюмы из мастерской. Пиджаки — с богатырскими ватными плечами; брюки — настоящий Оксфорд, не подкопаешься: они были так широки, что закрывали кончики ботинок. Когда мы облачились во все это и поглядели друг на друга, наша изразцовая комната показалась нам убогой.

— Мы будто иностранцы, — заметил Костя. — Интуристы герр Чухна и мистер Синявый соизволили посетить скромное жилище советских студентов... Но ничего! Общее благосостояние повышается. Через год-другой, когда будем работать по специальности, мы еще не такие клифты и шкары оторвем! Трепещите, кошки-милашки!.. Ты, впрочем, к тому времени уже женишься, тебе не до кошек-милашек будет.

— А ты? Ты, может, еще раньше женишься.

— Ну, не с моим ликом, — не то сердито, не то печально сказал Костя. Он плюхнулся на кровать, вытащил из-под нее гитару и с надрывом запел:

Он юнга, родина его Марсель,
Он обожает шум кабацкой драки,
Он курит трубку, пьет крепчайший эль,
Он любит девушку из Нагасаки.
У ней следы проказы на руках
И шелковая кофта цвета хаки,

И вечерами джигу в кабаках
Танцует девушка из Нагасаки.

Я слушал его не перебивая. Я знал, что про эту девушку из Нагасаки Костя поет в тех случаях, когда ему становится грустно, когда он вспоминает про свои неудачи с интеллигентными девушками, когда он размышляет о том, что прозрачная жизнь все ускользает от него.

Я терпеливо дослушал песню до ее печального конца, где юнга горько плачет, узнав, что пьяный боцман зарезал девушку из Нагасаки.

Костя сунул гитару под кровать, встал, подошел к зеркалу — и отвернулся от него. Зеркало было маленькое. Костя в нем видел только свое лицо, а не костюм. А ведь лицом-то своим он и был недоволен.

— Пойдем к тете Ыре, — предложил я. — Посмотримся в трюмо.

Хоть тетя Ыра жила бедновато, но у нее имелось самое большое в квартире зеркало. Правда, левый нижний угол у него был отбит.

— Ой, и модные ребята вы стали! — заявила тетя Ыра, оглядев нас. — Я помню, парни узенькие брюки носили, в трубочку, чем ужее — тем моднее, а нынче чем ширше — тем красивше... Теперь вы, ребята, модностью на пять лет запаслись. Носить вам не переносить.

Она быстро-быстро извлекла из-за иконы, висевшей в красном углу, какую-то мензурку из дымчатого стекла. Потом сизым, наверное, голубиным, пером, торчавшим из мензурки, быстро-быстро побрызгала на наши пиджаки какой-то прозрачной жидкостью.

— Это святая вода, — пояснила она. — Это чтоб обновки ваши хорошо носились, это чтоб бесы вас в них не захороводили.

— Мы же неверующие, — сказал Костя. — Мы просвещенные атеисты, святая вода нас не интересует. Нам бы чего покрепче.

— У меня и другая вода есть, — подмигнула тетя Ыра. — Сейчас спрыски устроим.

Она выдвинула ящик обшарпанного комода и вытащила оттуда поллитровку горькой и три стопочки из толстого зеленого стекла. Потом повернулась к подоконнику и перенесла оттуда на стол тарелку с ливерно-гороховой колбасой — неофициально колбаса эта в те годы называлась мюнхенской.

Мы присели, выпили по первой, потом по второй. После третьей глаза у тети Ыры оказались на мокром месте.

— Гриша-то из вас самый порядочный был, вот его бог и прибрал к себе, — заявила она, всхлипывая. — Гриша сейчас на небесах радуется, что вы модные двойки себе справили... Сам-то до хорошего костюма не дожил...

Когда бутылка опустела, мы поблагодарили тетю Ыру и пошли мотаться по всей квартире. Заходили в каждую комнату и просили дать нам посмотреться в зеркало. И все жильцы поздравляли нас с приобретением, и все говорили нам только хорошее. Костино самочувствие резко повысилось, и, когда мы вернулись в нашу комнату, он сразу же извлек из-под кровати гитару и запел:

Я вчера играл в лото,
Проиграл свое пальто,
Пару брюк и два кольца,
Ламца-дрица гоп ца-ца!

Я знал: если он поет эту залихватскую частушку — значит, у него хорошее настроение.

* * *

1941 год я надеялся встретить с Лелей.

Сперва я хотел вытащить ее на встречу Нового года к нам в техникум, но она побоялась, что там будет очень шумно и весело, а ей не до веселья. Она еще не привыкла к мысли, что у нее нет больше брата. Правда, она уже не плакала о нем, по крайней мере при мне, но она стала немножко не такой, какой была, — стала не то серьезнее, не то строже, не то просто грустнее. Мы с ней с того дня не обнимались, не целовались, хотя встречались часто. Я боялся обидеть ее.

Тридцать первого декабря я купил бутылку хорошего портвейна «Ливадия», постоял в очереди у «бывшего Лора» на углу Среднего и Восьмой линии — за пирожными, и пошел к Леле встречать Новый год, — так было условлено. Но едва я вошел в прихожую, как на меня повеяло холодком. Встретила меня Леля не очень-то ласково. Когда я снял пальто, она равнодушно взглянула на мой новый костюм и небрежно бросила:

— Брюки широковаты.

— Мы с Костей специально мастеру в руку сунули, чтобы он брюки нам пошире скроил, — обиделся я. — Еле уломали, он говорит, что от начальства ему влететь может. А ты недовольна!

— Ах, не все ли равно, какие брюки, какие пиджаки, какие юбки, какие шляпки, какие тряпки! — не то шутя, не то сердясь сказала она. — Все это не имеет никакого значения для мыслящих людей. И вообще...

— Значит, я, по-твоему, не мыслящий! И значит, тебе больше нравится, если я как гопник буду ходить... Это ты вроде Кости заговорила, он любит так рассуждать.

— А Костя твой где Новый год встречает? — уже более мирно спросила она.

— Пойдет на Петроградскую, будет встречать с одной кошкой-милашкой. Предстоит новогодняя ночь любви к близнему... А где твоя тетя Люба?

— Моя тетя Люба ушла к знакомым. Но тебе здесь такой ночи не предстоит. Если ты за этим пришел, то можешь идти на Большой. Там много кошек-милашек гуляет.

— Леля, да что с тобой такое! Опять нахлыв?

— Ничего со мной такого! Такая, как всегда...

— Не дай боженька, чтоб ты всегда такая была!

— Если я тебе не нравлюсь такой, то зачем ты приходишь ко мне?! Иди к своим кошкам-милашкам.

— Ну и пойду! Захочу — и пойду!

— Ну и иди!

— Ну и пойду! — Я сдернул с вешалки пальто, торопливо напялил кепку.

— Уходи сейчас же! — Она подбежала к наружной двери и распахнула ее.

Я вышел на лестницу и, не оглядываясь, зашагал вниз. За мной резко хлопнула дверь. Когда я спустился до третьего этажа, дверь наверху с шумом открылась, послышались шаги... Сейчас Леля крикнет в пролет, как в романсе: «Вернись, я все прощу!» или что-нибудь в этом роде — и я взбегу наверх.

— Никогда не приходи ко мне! — крикнула она, и мимо меня пролетело что-то небольшое серое и мягко шлепнулось вниз. А наверху гулко захлопнулась дверь.

Я спустился вниз, на аптечную площадку. Здесь на серых плитках пола лежал пакет с пирожными от «бывшего Лора». Вернее, то, что от пакета осталось. Упаковка лопнула, раскрылась, пирожные разломались, разлетелись. Я вспомнил, как Леля рассказывала об обманутой девушке-самоубийце, которая потом «лежала в гробу как живая». «По закону свободного падения тел эта девушка упала тогда вот на эти же самые плитки», — подумал я.

Когда вышел на улицу, меня охватило чуть пьянящее ощущение свободы, когда терять уже нечего. Торопливо пошел я к Неве, будто там меня кто-то ждал. На набережной в этот час было холодно и безлюдно. Лихтера, пришвартованные на зиму к гранитной стенке, стояли впаянные в лед. В борту черного морского буксира празднично светилось несколько иллюминаторов, оттуда слышалась патефонная музыка. Мужской голос пел:

Это было весной,

Когда фиалки цвели,
Нам казалось с тобою,
Что весь мир — мы одни.
Ах, это было забвенье...

Миновав Горный институт, я свернул к Масляному буяну, уперся в заводской высокий забор и пошел вдоль него, сам не зная куда. Кругом никого нет. Редкие фонари. Здесь меня вполне могут принять за иностранного шпиона. На мне хороший костюм и дрянное пальто. Я торопливо свернул в какой-то проулок, где сновали люди. Потом вдруг очутился на длинной и совсем безлюдной улице. По обе стороны тянулись заводские корпуса, неярко светились большие длинные окна. Видны были рабочие у токарных и фрезерных станков, тускло поблескивали колонны радиально-сверлильных. Из открытых, обтянутых пыльными сетками фрамуг слышался ритмичный шум, похожий на шум большого ливня. Порой, врываясь в эту ритмику, где-то тонко и тревожно взывал шлифовальный станок. Я шагал по этой улице совсем один, как во сне или как в кино.

Когда вернулся домой, из-под дверей нашей комнаты виднелась полоска света. Это меня удивило и даже обрадовало: а что, если вдруг это Леля пришла? Но когда я распахнул дверь, обнаружил Костю. Он сидел за пустым столом — нарядный, сердитый и совершенно трезвый. Уж не задумал ли он снова начать прозрачную жизнь?

Но Костя быстро рассеял мои подозрения. Оказывается, когда он явился со своей знакомой к инвалиду, который обычно предоставлял ему ночное убежище, тот был пьян, да еще не один: к нему приехал брат из Пскова. И Косте со своей кошкой-милашкой пришлось уйти не солоно хлебавши. Вдобавок она обиделась, обозвала Костю трепачом и пошла встречать Новый год в другое место.

— Но ты-то почему здесь? — спросил меня Костя и пристально посмотрел мне в глаза. — ЧП какое-нибудь?

— ЧП. Меня отшили.

— Иди ты! Леля?

— А кто же еще! Она самая. Твои прогнозы были верные. В одну телегу впрячь не можно...

— Чухна, это ты всерьез?

Я стал рассказывать, как это произошло. Я знал: Косте можно доверять все. Чужая беда его никогда не радовала и не утешала, даже в дни, когда ему самому приходилось плохо. Он слушал внимательно и огорченно, уставясь на меня своим единственным зрячим глазом. Потом закурил «Ракету», начал ходить по комнате.

— Чухна, дам тебе один совет, — начал он. — Взгляни, не жмурясь, в лицо жестоким фактам. Ты потерпел моральный Дюнкерк. Твои дивизии сброшены в море, оружие и боеприпасы захвачены противником. Ты должен признать свое поражение и начать жизнь заново. Тебе надо погрузиться в бытие, полное новых впечатлений и переживаний. Тогда ты забудешь эту девушку. Тем более, она создана не для тебя.

— На этот раз ты, пожалуй, прав, — согласился я. — Только как это «погрузиться в бытие»? Легко сказать...

— А еще легче сделать! — отрезал Костя. — Для начала погружения поедem встречать Новый год к Люсенде и Веранде. Веранда делала намеки, что она и Люсенда не возражали бы против нашего присутствия. Собирайся!

Я взглянул на ходики. Было без двадцати минут двенадцать.

— Мы опоздаем, — сказал я. — И потом, они нас и не ждут. Мало ли что Веранда делала подходы... Ведь договоренности нет.

— Не увиливай от погружения! — строго заявил Костя. — Тем более, мы придем в гости не с пустыми руками. — Он вынул из шкафа сеточку с двумя большими бутылками плодоягодного. — А у тебя ничего нет?

— Бутылка осталась у Лели.

— Наплевать, двух вполне хватит... Бутылку она, значит, не сбросила с шестого этажа?
— Наверно, просто забыла, — ответил я, надевая пальто.
— Побоялась, что попадет в твою умную голову и повредит твой мыслительный аппарат. Откуда ей знать, что он у тебя отсутствует.

— Закройся! Ты больно умен! — крикнул я Косте, выбегая вслед за ним из комнаты.

Мы добежали до трамвайной остановки и на ходу вскочили в задний вагон. Трамвай ехал раскачиваясь, торопясь, все ускоряя ход. Никто в него больше не входил, на каждой остановке он только терял пассажиров. Вскоре в вагоне осталось четыре человека: пожилой кондуктор, Костя, я да какой-то дядька в валенках, дремавший в противоположном углу.

— Сколько сейчас? — спросил я кондуктора. Тот не спеша отстегнул пуговицу на потертой шубе, полез во внутренний карман, вынул часы — большие, медные, с черными узорчатыми стрелками.

— Без трех минут сорок первый, — сказал он. — Опоздали, ребята. Без вас встретят.

— Мы и здесь встретим, — нашелся Костя. — Ведь фактически времени нет. Если взять колбу и создать в ней абсолютный вакуум, то в ней не будет и времени, ибо время — это только промежуток между двумя событиями. Если же условиться, что время существует как объективный фактор, то оно должно одинаково учитываться субъектами в любых точках пространства. Эрго: Новый год, встреченный в движущемся трамвае, ничуть не хуже Нового года, встреченного в какой-либо неподвижной точке: в ресторане, в частном доме, в психиатрической больнице, под забором... — С этими словами он вынул из брючного кармана перочинный нож и стал счищать сургуч с горлышка одной из бутылок. Потом отогнул штопор и с ловкостью почти профессиональной вогнал его в пробку. — Готово!

— Вот это вы правильно! — уважительно сказал кондуктор, но нельзя было понять, к Костиным словам или действиям относится это замечание.

— Вы первый, папаша! — предложил Костя, протягивая ему бутылку.

— Нет уж, ребята, почните вы, — скромно ответил кондуктор. — А я после.

— Пей! — повелел Костя, сунув мне в руки бутылку. — Пей! Мы уже въехали в Новый год.

— За удачу! — провозгласил я тост. — Пусть этот год будет счастливым для всех нас! И для тебя, Синявый! — Я запрокинул голову и стал глотать вино. Здесь, в холодном вагоне, оно казалось очень вкусным. За мохнатым от инея окном, вздрагивая, проплывали городские огни. Мне вдруг стало очень хорошо. Мир показался торжественным, светлым и грустным. «Леля, будь счастлива в этом году!» — произнес я про себя.

— Пей, но не забывай других! — пробурчал Костя, отбирая у меня бутылку. — Пусть этот год будет годом без ЧП. А в частности, Чухна, пью за твое глубокое погружение в бытие. Через Дюнкерк — к Тулону и Аркольскому мосту! — Костя приник к бутылке и замолчал. Потом старательно отер горлышко рукавом.

— Ваша очередь! — сказал он кондуктору.

— Ну, ребята, за Новый год! Чтоб ничего такого, чтоб все хорошо было в сорок первом! — Кондуктор оглянулся по сторонам, сделал несколько изрядных глотков, отер горлышко рукой. Бутылка пошла по второму кругу.

* * *

Дверь нам отворила Веранда. На ней было новое платье фасона «день и ночь»: спереди — из куска белой материи, сзади — из черной. Веранда, кажется, совсем не удивилась нашему внезапному появлению.

— Ага, пришли! — констатирующе сказала она. — Снимайте свои бобры. Нравится вам моя новая прическа? — Она тряхнула пышной, завитой кудряшками головой. — Не хочу походить на Люську прилизанную.

— Не нравится, — честно объявил Костя. — Ленпушнина. Баран в мелкую стружку.

— Ничего-то он не понимает! — без обиды, нараспев произнесла Веранда. — Идемте к столу... Нет, прежде я Люську сюда вытащу. Она будет довольна.

Веранда побежала по коридору к дальней комнате, откуда доносились веселые, уже не совсем трезвые голоса. Здесь, в большой прихожей с потертыми зелеными обоями, пахло духами, лимоном, елочными свечками. Веранда уже шагала обратно, держа за руку сестру. На Люсенде тоже было платье «день и ночь», только «ночь» у нее находилась спереди. Мне показалось, что и Люсенда приходом нашим не удивлена, скорее просто обрадована. Дома она не казалась такой недотрогой, такой цирлих-манирлих, как в техникуме. Но и здесь в ней оставалась какая-то сдержанность.

Девушки привели нас в большую комнату, где за столом, уставленным бутылками и закусками, сидело человек двадцать — люди все больше пожилые. Они все были из этой же квартиры; по-видимому, квартира была дружная, праздники справляли в складчину. Веранда стала нас знакомить с каждым поочередно, но имена и отчества сразу же выскакивали у меня из головы. Потом неугомонная Веранда начала перетасовывать сидящих, чтобы усадить новых гостей. Меня она поместила рядом с Люсендой на торце стола. Я сразу же заметил, что Люсенда стесняется сидеть со мной на председательском месте, у всего света на виду, и хотел было пересесть. Но тут нас с Костей заставили пить штрафную. После стопки какой-то крепкой смеси я уже не захотел пересаживаться. Я увидел, что все пьяны и никому до того, кто с кем сидят, никакого дела нет.

— Люся, почему ты не пьешь? — спросил я.

— Я уже пила. Но, если хочешь, я выпью с тобой. Только ты, пожалуйста, закусывай. — Она положила мне на тарелку винегрета. — Ешь, пожалуйста.

— Люся, а я что? Пьян уже разве?

— Нет, не очень... У тебя какая-то неприятность?

Я искоса посмотрел на нее. Она сидела, не глядя на меня, слегка наклонившись над столом. В светлых, гладко причесанных волосах отражались огоньки елочных свечей.

— Ты угадала, — признался я. — Неприятность. Но тут никто не поможет. Тут дело в одной девушке. Тут, ты понимаешь...

— Не надо никому рассказывать, — прервала она меня. — Завтра тебе будет стыдно, что ты что-то рассказал.

На другом конце стола кто-то пробовал запеть «Катюшу», но пока что пения не получалось. Зато очень хорошо был слышен голос Кости. Справа от него сидела Веранда, но с ней ему было неинтересно. Она не подходила под рубрику скромной интеллигентной девушки. В то же время не подпадала она и под стандарт кошки-милашки.

— Они отхватили себе такой кус в Европе, что сразу им его не переварить! — кричал Костя в ухо соседу слева. — Их сырьевой и промышленный потенциал полностью еще не отобилизован, им в ближайшие годы нет смысла делать дранг нах остен... У них на очереди добрая старая Англия, и ей в этом году придется плохо!

Веранде надоело сидеть, она вскочила из-за стола и подбежала к самоварному столику. На его темной мраморной доске вместо самовара стоял темно-зеленый патефон. Веранда начала быстро крутить ручку. Потом не опустила, а прямо-таки бросила тонарм на пластинку. Пластинка взвизгнула от укола иглы, от боли, потом зашипела, а уж потом запела:

Сердиться не надо, мы ведь встретились случайно,
Сердиться не надо, в этой тайне красота,
Сердиться не надо, хорошо, что это тайна,
Сердиться не надо...

Послышался шум отодвигаемых стульев — из-за стола стали выходить желающие потанцевать. Веранда вдруг подскочила к нам:

— Чего сидите как сычи, жених и невеста? Поцелуйтесь! — Она взяла нас за головы и

легонько подтолкнула друг к другу. Получился поцелуй не поцелуй, а что-то вроде того.

— Как ты смеешь! — рассердилась на нее Люсенда. — Это уж я не знаю что! Совсем распустилась!

— Глаза у нее вспыхнули благородным гневом, она засмеялась геометрическим смехом и прыгнула в пропасть! — отчетливо произнесла Веранда и захохотала. Потом подошла к какому-то дяденьке и стала с ним танцевать.

— Идем и мы, — предложил я Люсенде. — Только я неважно танцую, тем более танго.

— Я тоже неважно, — улыбнулась она. — Попробуем.

Я осторожно обнял ее, и мы вошли в толпу танцующих. Танцевала Люсенда хорошо, она, в сущности, вела меня. С ней было легко. Все вокруг плавно покачивалось, плыло куда-то. Огоньки свечек на елке тихо колыхались. От Люсенды пахло черемуховым мылом, чистотой. Праздничная радость прихлынула ко мне. Все было праздничным, весь мир — несмотря ни на что — был праздничным. И впереди, за легкой дымкой неизвестности, тоже угадывалось что-то праздничное и светлое... Меня охватило чувство благодарности к кому-то за все, что есть, и за все, что будет. Но я не знал, кого благодарить. Если б был бог, то я благодарил бы его. Но в бога я не верил. Тем временем пластинка кончилась.

— Люся, большое тебе спасибо, — сказал я, подходя с ней к столу.

— За что? — удивилась она.

— За то, что ты меня тогда выручила, в прошлом году. Меня могли бы из техникума попереть, если б не ты.

— Опять ты об этом! — поморщилась она. — Ну не надо, не надо.

— Ну и вообще спасибо. Просто так. Не знаю за что.

Тут к нам подошел Костя. В руках он держал два стакана, полных какой-то подозрительной алкогольной смеси.

— Чухна! Выпьем за погруженье! Через Дюнкерк и Капоретто — к Каннам и Трафальгару!

— Не надо вам больше пить, — с опасением сказала Люсенда. — Ты, Костя, и так уже... Да и ты, Толя...

— Не мешай ему погружаться! — прервал ее Костя. — Не разоружай его морально! Подними свою рюмку и гляди ему в глаза! А ты, Чухна, гляди ей в глаза!

— Зачем в глаза? — спросила Люсенда.

— Для взаимного контроля! — ответил Костя. — Ну, выпьем все разом!

— Люся, за твоё счастье в этом году, — сказал я. Люсенда поднесла к губам рюмку. Она глядела на меня не мигая — не то с сожалением, не то с сочувствием, не понять было толком.

— Все! — Я поставил на стол пустой стакан.

— Все! — сказала Люсенда, ставя на стол пустую рюмку.

— Все! — Костя поставил пустой стакан, сел за стол, отодвинул от себя тарелки и рюмки и запел — вернее, завопил, — молотя кулаками по столу:

Мама, купи же мне туфли,
Чтоб ноги не пухли!
Мама, купи же мне туфли
И барабан!

Вначале все на него уставились, некоторые с неудовольствием. Затем, когда Костя пропел эту белиберду раза четыре подряд, ему стали подтягивать. Потом эту чепуху стали выкрикивать все, кто был в комнате. Патефон напевал свое: «Парень кудрявый, статный и бравый, что же ты покинул нас...» Но никто его уже не слушал. Все пели про туфли и барабан.

Я все понимал и мог петь и говорить не запинаясь. Но голова кружилась и ноги подкашивались. Какое-то странное состояние. Я слышал, что такое бывает от дорогих

выдержанных вин, но ведь здесь их не было.

— Тебе, кажется, плохо? — спросила вдруг Люсенда.

— Мне хорошо, но все кружится.

— Идем, я тебя уложу, поспишь часик. Идем, это ведь не наша комната.

Она повела меня по коридору, потом мы свернули в маленький коридорчик.

— Вот здесь мы живем, — чуть-чуть настороженно проговорила она, открыв дверь и включив свет.

Я огляделся. Комната большая, но какая-то очень уж пустая, чем-то напоминает наше с Костей жилище. А занавески с заплатами, и ничего лишнего нет, и даже чего-то такого нет, что есть у многих, а чего — не поймешь.

— Там за шкафом Верина постель, а это — моя, — сказала Люсенда. — Ты ложись, не стесняйся.

Я лег, свесив ноги, на железную, без всякой никелировки и шариков кровать, на синее солдатское одеяло. Все это было почти такое, как у нас с Костей. Только подушка — чистая и мягкая, и пахнет черемуховым мылом.

— Спи! — сказала Люсенда. — Пойду посуду мыть.

Она вышла, не погасив света. Я оторвал голову от подушки, еще раз оглядел комнату. Вот, значит, как у них дома. А я-то почему-то считал, что Люсенда и Веранда живут в достатке. Мне стало стыдно за себя. Я бы по-другому относился к сестрам, если б знал о них больше. Как по-другому — это было мне самому неясно. Может, мягче, сердечнее. Ведь одно дело, когда бедно живут мужчины, и другое дело — когда женщины. Когда нам, мужчинам, плохо живется — не так уж это и грустно. Мы вроде бы сами в этом виноваты.

Дверь открылась, и вошла Люсенда. Она положила мне на лоб мокрое, холодное вафельное полотенце.

— Спасибо, Люся. Ты прямо как сестричка. — Я хотел сказать «медсестричка», но «мед» почему-то выпало. Я прижал к губам Люсендину ладонь. Она неторопливо отняла руку и ушла. Я сразу же уснул.

Мне приснился большой город. Я все шел и шел по улицам, и не было им конца. Дома стояли высокие и чистые, отделанные черным и темно-красным полированным гранитом, в скверах били фонтаны. Где-то пел хор — пел без слов, сквозь зубы, но очень хорошо. Я шагал под какой-то странный, то словно стелющийся по земле, то вдруг плавно взмывающий в небо напев. Я шел и думал: «Чего же не хватает в этом городе?»

Разбудил меня Костя. Он просто-напросто дернул меня за ногу:

— Здесь тебе не гоп! Вставай! Сейчас пойдем с сестрами на улицу, выветривать винные пары. Иди умой пьяную харю!

Вода из-под крана была колюче-холодная. Я вдруг почувствовал себя трезвым, бодрым, решительным, перешагнувшим какую-то черту. Потом, вешая полотенце на гвоздь возле притолоки, я вдруг вспомнил, чего не хватало в городе из сна. Там не было никаких входов в дома, там не было дверей, только и всего.

Я поспешил в прихожую. Люсенда и Веранда уже надели свои серые пальто. Вчетвером мы вышли на холодную лестницу, где по случаю праздника не был выключен на ночь свет. Когда спустились этажом ниже, то увидели большую пеструю кошку, она сидела возле двери чьей-то квартиры.

— Это трофимовская кошка, она трехцветная, — заявила Веранда и вдруг нажала на кнопку звонка и побежала вниз.

— Сумасшедшая... — прошептала Люсенда. — Бежим!

Мы с грохотом ссыпались с лестницы, выбежали на улицу и остановились, чтобы отдышаться. Было тихо и совсем не холодно.

— Сумасшедшая Верка! — повторила Люсенда и засмеялась.

— Раз кошка трехцветная, о ней надо заботиться. Она же счастье приносит, — наставительно сказала Веранда.

— Первый человек, которого мы встретили в Новом году, это трехцветная

счастьеприносящая кошка, — изрек Костя. — Вывод напрашивается сам собой: наступивший новый одна тысяча девятьсот сорок первый год обещает быть счастливым.

Домой мы с Костей вернулись под утро. Вся квартира спала. Не спала только тетя Ыра — она очень рано уходила на работу. Нового года она не праздновала — вернее, ее Новый год должен был наступить через тринадцать дней. Услышав, что мы вернулись, она постучалась к нам в комнату. В руке она держала что-то цилиндрическое, завернутое в газету.

— Барышня ваша принесла, — заявила она мне. — В четвертом часу ночи позвонила, звонки такие сильные давала. Я аж испугалась... А это барышня бутылку принесла.

Я развернул газету, в которую была завернута «Ливадия». Бутылка, конечно, не раскупорена. Никакой записки.

— Она что-нибудь сказала?

— Спросила, дома ли вы. Я ей, понятно, говорю, что дело его молодое, гулевое, где-нибудь в гостях бузует. А она: «Передайте ему, пожалуйста, вот это», — и ушла... Серьезная такая.

— Эта та самая бутылка, которая предназначалась для твоей головы, — объявил Костя, когда тетя Ыра вышла. — Теперь пусть она ударит нам в головы через наши желудки.

— Нет, Костя, я пить не буду. С этим делом кончено. Давай спрячем ее до какого-нибудь важного момента. Например, до твоей свадьбы. Спрячем и вроде как бы забудем, а потом вытащим и разопьем. И вспомним этот Новый год.

— Идея не нова, по этому же принципу американцы закопали в землю Бомбу времени на Чикагской выставке. Ее должны вырыть через сто лет. Бутылке твоей до моего бракосочетания придется пролежать не меньше.

Я раскрыл двери шкафа и стал рыться в хламе, который валялся на нижней полке. Выискав несколько рваных носков — тут были и Гришкины, и Костины, и Володькины, и мои, — я старательно, плотно, в несколько слоев натянул их на «Ливадию». Потом придвинул к печке стол, на стол взгромоздил два стула, а на стулья табуретку. Я влез на это сооружение, и Костя подал мне бутылку. Я положил ее на верх нашей печки, под фигурные изразцы, украшавшие ее вершину. Здесь, на кирпичной площадке, огражденной изразцами, валялось много пустых банок из-под сгущенного молока и много хлебных огрызков и корок — Володькина работа. Пахло пылью, она лежала плотным слоем.

— Все кончено, — сказал я, спустившись вниз. — Бомба времени заложена. Счастливая любовь не состоялась... Костя, а может, все-таки сходить мне к Леле? Вдруг она эту бутылку не просто так принесла? — Я представил себе, как она идет одна по ночному городу, чтобы вручить мне эту чертову «Ливадию».

— Не унижайся! — строго ответил Костя. — Ты, к примеру, пошел в гости, а тебе там набили морду и спустили с лестницы так, что кепка с головы слетела. Потом подобрали кепку и принесли тебе на квартиру, чтобы швырнуть ее тебе в физиономию, но не застали тебя дома. А ты на основании принесенной кепки хочешь идти к набившим тебе морду со словами благодарности. Вот твоя логика! Логика раба и холоя! Логика не советского детдомовца, а дореволюционной приютской крысы!.. Мобилизуй свою гордость! Перековывайся! Сжигай мосты! Погружайся в бытие!

Костя, хлопнув дверью, пошел на кухню, а я призадумался над его словами. Да, тут он прав. Нечего мне на что-то там надеяться. Я вынул из записной книжки четыре Лелиных письма — она писала мне в Амушево из Ленинграда, — открыл в печке медную дверцу, вынул вьюшки, чиркнул спичку. Письма сгорели быстро. Вот только что они были — и вот их нет. Потом взял фото, где мы снялись вдвоем. «Ее я все-таки жечь не стану, — решил я. — А с собой я имею право делать что угодно». Лезвием безопасной бритвы я отрезал свое изображение, отделил его от Лели. Теперь она одна стояла на площади этого маленького городка, на фоне полотняного дворца, и только кусочек моего плеча остался рядом с ней. Я сжег свою половину фотокарточки, а Лелину вложил обратно в записную книжку.

Когда все было кончено, мне вдруг стало жаль Лелю. Будто это не она прогнала меня

от себя, а я сам чем-то обидел ее и в чем-то перед нею виноват. Она вспомнилась мне не сердитой, не распахнувшей передо мной дверь, чтобы я выкатывался, а беззащитной, зябкой — такой, какой была у причала парома на вечерней реке. Но я оборвал эти бесполезные мысли. Надо забыть ее.

24. Погружение в бытие

В порядке погружения в бытие я записался в стрелковый кружок, которым руководил Юрий Юрьевич, наш преподаватель военного дела. Теперь каждое воскресенье в двенадцать дня приходил я на стадион «Красный керамик», где был стрелковый тир. Винтовку я собирал и разбираю на «отлично», это дело я давно освоил. И вот у меня в руках настоящее боевое оружие — с желтым прикладом, с непросверленной казенной частью.

Мы становились по команде «смирно», потом Юрий Юрьевич называл чью-нибудь фамилию. Тот, кого он вызывал первым, строевым шагом шел к стене, вынимал из деревянных захватов винтовку, подходил с ней к Юрию Юрьевичу. Юрий Юрьевич выдавал три патрона. Но не сразу все три — он вручал их по одному, каждый патрон с силой кладя на ладонь стрелка.

Ощущая бодрящую тяжесть оружия, по красноватому ксилолитовому полу я иду к толстому и жесткому темно-зеленому мату, ложусь на него животом, примащиваюсь поудобнее.

— Отставить! — кричит вдруг Юрий Юрьевич. — Куда левый локоть завел! Вы здесь не на уроке танцев, это вам не танго «Голубой цветок»! Встать!

Приходилось вскакивать по стойке «смирно» и выслушивать его руководящие указания. С каждого кружковца он семь потов норовил согнать, прежде чем разрешал отстреляться. Но эта придирчивость не обижала. Я подчинялся без обиды. Ведь есть радость и в подчинении — когда знаешь, что тот, кому подчиняешься, сам подчинен чему-то высшему и командует тобой вовсе не для своего удовольствия.

Но вот винтовка наведена на цель. Там, на другом конце тира, мишень. Она состоит из кругов, но круги эти накладываются на изображение неприятельского солдата. Я целюсь в него, он целится в меня. Он в военной форме — не в красноармейской, конечно, а в невесть какой. И каска у него не наша, конечно. Но она и не такая, как у немцев в кинохронике. И она не такая, не чуть продолговатая, как у англичан. Она нечто среднее между немецкой и английской — гибрид, к которому не придерется ни один военный атташе. И лицо у солдата — неизвестно какое: не немец, не финн, не англичанин, не француз. Просто безымянный солдат, который старательно целится в другого безымянного солдата.

Я мягко, бархатно нажимаю на спусковой крючок. Чувствую сильный, но безболезненный толчок, — безболезненный потому, что приклад как надо прижат к плечу. Одновременно слышу выстрел. Он не оглушает. Свой выстрел никогда не кажется громким. Эхо еще мечется между бетонными кессонами перекрытия, а пуля давно уже там, где ей надо быть. Стреляю я неплохо, и иногда за это, в знак поощрения, Юрий Юрьевич дает мне один или два патрона сверх нормы — для удовольствия.

«Вот, — размышлял я, — неплохо учусь в техникуме, хожу в тир, неплохо стреляю. Пусть не думает Леля, что я без нее не проживу. Еще как проживу без нее!»

Вскоре и Костя заразился от меня стрелковым энтузиазмом.

— Ты поумнел после своего Дюнкерка, — заявил он однажды. — Правильно делаешь, что учишься стрельбе. В такое время каждый порядочный гражданин СССР должен уметь стрелять... Мне тоже надо взяться за это дело.

— В какое «такое» время? — подкусил я Костю. — Ты сам недавно говорил, что никто на нас нападать не собирается — им не до нас... Да и вообще ты белобилетник. Твое дело маленькое.

— Нет, ты совсем не поумнел! — взъелся Костя. — На нас никто еще не напал, но опасность существует!.. И не тычь мне в мой единственный глаз моим белым билетом. Если

бы людей классифицировали по их умственным способностям, у тебя был бы белоснежный военный билет, белее горных снегов.

— Тебя могут просто не принять в стрелковый кружок.

— Примут!

И действительно, в кружок Костю приняли. Он научился стрелять не хуже меня. Он стрелял даже чуточку лучше. Целиться ему было проще, чем всем другим: ведь ему не надо было прищуривать левый глаз.

— Костя, я завтра в тир не пойду, — сказал я однажды. — Ты скажи Юрь Юрьичу, что я по уважительной причине.

— А по какой уважительной?

— По какой — говорить не надо. Понимаешь, я пойду с Люсей в Русский музей. Мы договорились.

— Вот до чего — и то ничего! — воскликнул Костя. — Твое средневековье кончилось. Регулярно читаешь газеты, вина в рот не берешь, повышаешь свой культурно-художественный уровень. Начинается Ренессанс. Моральное возрождение через новую юбку.

— Юбка тут ни при чем, — обиделся я. — Это ты каждый раз начинаешь прозрачную жизнь из-за юбки. А я отношусь к Люсенде как к сестре.

— Где ж тут логика! — прицепился Костя. — Разве ты можешь знать, как брат относится к сестре, если у тебя никогда не было сестры! Двадцать лет без сестер прожил — и ничего, не помер, а теперь сестру себе нашел! Выбрал сестренку посимпатичнее, не какую-нибудь там Гунц или Останову. (Гунц и Останова были самые некрасивые девушки в группе.)

— Отвяжись! — сказал я. — Я не из-за внешности. Просто Люся хороший человек.

— Я, может, тоже хороший человек. Но меня ты в кино не поведешь, в Русский музей не пригласишь, пирожного мне не предложишь. И все только потому, что на мне брюки, а не юбка. А ведь я твой брат во Христе.

— Бей братьев во Христе! — крикнул я и схватил с койки подушку.

Костя тоже вооружился, и мы стали бегать по комнате и лупить друг друга по головам. Но это нам быстро надоело. Когда-то мы устраивали подушечные бои вчетвером — это было куда веселей.

Мы сели на свои койки. Против меня на изразцовой стене, там, где когда-то стояла Гришкина кровать, верблюды на картинке все шли и шли к своему неведомому оазису по желтым пескам пустыни.

— Треп трепом, а Люсенда — девушка серьезная, — негромко сказал Костя. Ты ее держись.

25. Леля

В конце февраля по техникуму прошел слухок, что нам прибавят год обучения. Конечно, первым узнал об этом Малютка Второгодник. В перерыв после лабораторных занятий он подошел к нам с Костей в курилке стрельнуть папироску.

— Долго нам еще эту «смерть мухам» придется курить, — объявил он, затянувшись «Ракетой». — Переход на «Беломорканал» откладывается на год. У нас будет четвертый курс.

— Брось арапа заправлять! — всполошился Костя. — Брехня!

— В главке совещание было, — авторитетно изрек Малютка. — Сложность производства растет, знания выпускников не должны отставать от роста техники. Выпускному курсу тоже добавят год на спецпредметы, черчение и математику. — Малютка с удовлетворенным видом отошел от нас с Костей, пошел разванивать другим эту благую весть.

— У, всезнающий долговязый гад! — пригрозил Костя кулаком вслед Малютке. — А

ведь к тому дело и шло, и в принципе это правильно. Но еще год на стипендии!.. Что ж, тем крепче будет наша моральная закалка. Утешься, Чухна! Мудрый, погружая бадью разума в мутный колодец печалей, черпает чистую влагу радости. Так сказал один индийский мудрец.

— Самые мудрые мысли ты почему-то всегда высказываешь около уборной, — заметил я. — К тому же твой мудрец не жил на стипендию.

На лекции по общей технологии я сообщил новость Люсенде, мы теперь часто сидели рядом. Люсенда очень огорчилась.

— Я-то думала, что уже в этом году буду работать лаборанткой... Значит, все откладывается... — Она отвернулась. Мне стало жаль ее. Я ведь теперь знал, что живется ей трудно.

— Может, это еще одни разговоры, — сказал я.

— Нет, Малютка Второгодник никогда не врет, — улыбнулась она сквозь слезы. — Как он скажет — так и получается. Он уж такой...

Через минуту она уже и забыла про свои слезы. Это не от легкомыслия — просто женщины быстрее все переживают, они живут в несколько ином, ускоренном времени.

— Ты куда не собираешься вечером Восьмого марта? — спросила она.

— Нет. А что?

— Здесь будет вечер.

— Прийти мне? Ты хочешь, чтоб я пришел?

— Я ничего не хочу. Но если тебе интересно, то можешь прийти.

— Я приду.

* * *

Восьмого марта мы занимались только два часа, а потом всех отпустили по домам. Девушек в техникуме было много, и серьезной учебы от них в этот день ждать не приходилось. Да и от ребят тоже.

Мы с Костей поехали к себе на Васильевский. Но, сойдя с трамвая, я не пошел домой сразу. На душе у меня было смутно, и я решил побродить по линиям — авось станет веселей. Вдруг город мне чем-то поможет? Прошло уже шестьдесят семь дней с Нового года, и все эти дни были днями без Лели. Я ее не встречал, не ждал, я уже ни на что не надеялся. Вернее — заставлял себя не надеяться. И все вроде бы шло нормально, но иногда становилось очень грустно.

Я дошел до тихой Многособачьей линии, прошелся по Малому проспекту, быстрым шагом миновал Сардельскую линию, вышел на Средний, вошел в Кошкин переулок, очутился на проспекте Замечательных Недоступных Девушек, поравнялся с Андреевским рынком.

У меня мелькнула мысль, что я имею полное моральное право поздравить Лелю с днем Восьмого марта. Это просто долг вежливости. Да, она прогнала меня из дому, мне нет до нее никакого дела — но я человек вежливый и культурный, я ее поздравлю с праздником. В этом для меня нет ничего унижительного, я ж не напрашиваюсь к ней в гости.

Я знал, что в железном корпусе этого рынка продаются цветы, и вошел туда. Действительно, цветы в продаже были — конечно, бумажные. Я купил, цветок. Его проволочный стебелек был обернут гофрированной зеленой бумагой, а лепестки алели, как живые. Я вышел на бульвар и сел на скамью. Вынул из кармана записную книжку — она нужна была мне как точка опоры. Отогнув верхние лепестки цветка, я написал на нижних: «Леля! С праздник...» На «ом» и на второй восклицательный знак лепестков не хватило. Потом отогнул обратно верхние лепестки. Если она заинтересуется этим цветком, то прочтет. А если сразу выбросит цветок — значит, туда ему и дорога.

Затем я направился к Симпатичной линии. За все шестьдесят семь дней я шел туда впервые. После Нового года я обходил стороной эту улицу: боялся, что вдруг встречу Лелю,

и она увидит меня и пройдет мимо, и тогда уже — никакой надежды. И теперь я не сразу свернул на Симпатичную. Остановился на углу возле доски «Читай газету» и стал читать:

«Трудящиеся капиталистических стран встречают день 8 Марта в обстановке расширяющейся мировой войны...»

Я старательно прочел до конца передовицу, потом перемахнул на четвертую полосу: «Война в Европе и в Африке», «Обсуждение в сенате законопроекта Рузвельта», «Недостаток хлеба во Франции», «На фронтах в Китае», «Футболисты едут на юг». Ноги у меня начали мерзнуть, да и пора было решаться. Или ты отнесешь цветок — или нет! Отнесешь? Отнесу!

Когда вошел в парадную, откуда-то сверху слышны были шаги. Я забежал в аптеку, чтобы переждать. Это была солидная большая аптека, со шкафами под красное дерево, с широкими стеклянными прилавками. Я машинально подошел к тому прилавку, возле которого не было покупателей. И тотчас же откуда-то появилась молодая аптекарша и вопросительно поглядела на меня, ожидая, что я вручу ей чек.

— Нет, я так, — пробормотал я и отошел в сторонку. Аптекарша легонько усмехнулась. Отходя, я заметил, что за витриной, перед которой только что стоял, выставлены разные резиновые изделия. Я перешел туда, где лежали коробочки с лекарственными травами. Потом вышел на лестницу.

Теперь сверху не слышно было ничьих шагов. Я стал подниматься. Двигался так осторожно, будто ступени сделаны из взрывчатки. Дойдя до пятого этажа, прислушался, а потом беззвучно, ступая на самые грани ступенек, взмыл к Лелиной площадке. Там я сунул цветок в почтовую кружку. Он упал проволочным стебельком вниз.

Когда вышел на улицу, то подумал: «Зачем я это сделал? Теперь буду чего-то ждать, на что-то надеяться — а надеяться не на что, ждать нечего. Пойти и взять этот цветок? Но его уже не вытащишь обратно. Он перестал быть моим...»

Придя домой, я застал Костю лежащим на койке и читающим затрепанный том Плутарха.

— Слушай! — сказал Костя. — Когда этому самому Цезарю предложили окружить себя телохранителями, он знаешь что заявил? «Лучше один раз умереть, чем постоянно ждать смерти». Ничего себе человек, а? У него есть чему поучиться, хоть кое в чем он не лучше Гитлера. Он...

— Надо купить пачку лезвий, — прервал я Костю. — Этими мы уже по десять раз брились.

— Собираешься на женский праздник в убежище раскаявшихся блудниц Марии Магдалины? — спросил Костя.

— А ты разве не пойдешь?

— Где уж нам, малярам, у меня там нет сестер во Христе. Может быть, я проведу время наедине с Плутархом, а может быть, пойду к моему покровителю-инвалиду, с одной знакомой.

— Хорошо, что хоть с одной... До утра?

— Джентльмен джентльмену таких вопросов не задает... А ты знаешь, что сказал недавно этот гад Муссолини? Он сказал: «Война облагораживает нации, имеющие смелость заглянуть ей в лицо». Он явно работает под Цезаря, только побеждать не умеет.

— Зато ты умеешь, — подкусил я. — Побеждаешь кошек-милашек... Невозможно бриться, весь изрезался. Рожа у меня теперь — как тетрадь в косую линейку. Почему бы нам хоть иногда не покупать новых лезвий?

— Экономия! Святая дева Экономия! — возгласил Костя с постели. — Богат не тот, кто много получает, а тот, кто мало тратит... У тебя опять что-то стряслось?

— Кажется, сделал глупость. — Я вкратце рассказал о том, где недавно был.

— Это хуже, чем глупость, это холопская беспринципность, — сердито высказался Костя. — Это позорный рецидив! Это вспышка эпидемии возвратного тифа! Твой цветок уже лежит в мусорном ведре — там ему и место. Иди в убежище Магдалины и погружайся в бытие!

* * *

На вечер в техникум я приехал с опозданием. Уже кончилась торжественная часть, шла самодеятельность. Первым, кого я встретил в вестибюле, был Малютка Второгодник. На руке его красовался распорядительский бант.

— В буфете есть таллинские папиросы «Викинг». Дешево и красиво, — объявил мне Малютка. — А пальто оставь в седьмой аудитории. Раздевалка закрыта, тетя Марго отмечает Международный женский день.

— Ты здесь специально торчишь, чтоб новости сообщать? — поинтересовался я.

— Специально! — важно ответил Малютка. — Я сегодня главный диспетчер по вестибюлю... Слушай, можно тебя позвать, если шпана будет ломиться, как в прошлый раз?

— Ладно, зови. Мы им навешаем батух. Когда я вошел в трапезную, которая во время праздничных мероприятий служила танцевальным залом, там было темно. Сквозь стеклянное тело Голой Маши тускло просвечивали дальние городские огни. Несколько опоздавших ребят слонялись по натертому паркету. Издалека, из Большого зала, доносилось: «Снега белы выпадали, охотнички выезжали...» Выступал хор техникума. Потом запели «Если завтра война...». Отфильтрованные расстоянием, здесь эти голоса звучали торжественно и слитно, будто где-то вдали пел один очень большой человек.

Явился дежурный и включил люстру. Зал сразу стал высоким, широким и светлым. Голая Маша отпрыгнула куда-то в сторону, в темноту, слилась со стеной. Из динамика послышалось хрипкое гудение, потом сквозь это гудение с трудом процарапались синкопы танго «Маленькая Манон» — в местном радиоузле поставили пластинку. Зал начал наполняться. Девушки все казались очень нарядными. На некоторых были модные платья с подкладными плечиками и рукавами-фонариками. Девушки улыбались, глаза у них загадочно блестели; каждая ждала чего-то очень хорошего и от этого вечера, и от всей своей дальнейшей жизни. Люсенда и Веранда опять надели платья «день и ночь», только они поменялись ими: у Люсенды «день» теперь был впереди.

— Значит, ты все-таки пришел, — сказала она.

— Почему «все-таки»?

— Ты мог и не прийти. Я бы не обиделась. Ведь мы просто дружим, а друзья друг на друга не обижаются... Ты со мной будешь танцевать?

Танцевать с ней было легко. Казалось, она угадывала каждое мое движение. Но в глубине души я понимал, что она просто ведет меня. Однако ничего обидного в этом сознании не было.

— Не прижимайся так, — сказала она вдруг. — Это невежливо.

— Это я нечаянно, не сердись.

— Я не сержусь, но это невежливо.

Когда поставили румбу «Девушка в красном», я опять танцевал с Люсендой. И вальс-бостон «Колыбельная Листьев» тоже танцевал с ней. Я уже начинал казаться себе заядлым танцором, мною овладела какая-то бальная легкость движений. И Люсенда была такой близкой, празднично-легкой.

Внезапно танцы прекратились. В зал прорвалась тетя Марго. На ней — длинное старинное лиловое платье с черной вышивкой. Она уже крепко поднабралась по случаю праздника.

— Не умеешь танцевать, молодежь! — закричала она. — Учись у нас, у раскаянок! Сам

товарищ Распутин глядел да радовался!

Тетя Марго резко остановилась среди зала и, приподняв подол кончиками пальцев, стала ритмично выбрасывать ноги в старомодных высоких узконосых ботинках. В такт движениям она громко пела:

Ах, мама, мама, мама,
Какая драма!
Вчера была девица,
Сегодня — дама!

Из репродуктора продолжали выпрыгивать синкопы, но она плясала под свой мотив. Вдруг движения ее утратили ритмичность, она стала качаться, понесла какую-то околесицу. К ней подбежали девушки и ребята, бережно повели в уголок, усадили на стул. Там она и осталась сидеть, уже совсем раскисшая и тихая. Вскоре объявили антракт.

Я пошел в курилку, закурил тонкую, слабенькую и душистую папироску «Викинг». Здесь было людно и дымно, здесь все было как всегда. Что бы там ни происходило снаружи — всемирный праздник или всемирный потоп, — в уборных и курилках мало что меняется. Как всегда, вентилятор выл, скручивая дым в серый толстый жгут и выталкивая его за окно.

И вдруг все изменилось.

В курилку с деловым видом вошел Малютка Второгодник и направился прямо ко мне. Думая, что он хочет закурить, я полез в карман за пачкой.

— Идем вниз, — сказал он.

Тут я подумал, что нужен как боевая единица для борьбы со шпаной. Честно говоря, это была даже не шпана, а парни с соседних улиц. Каждый раз, когда у нас происходило какое-нибудь мероприятие с танцами, они норовили прорваться в техникум, чтобы потанцевать с нашими девушками.

— Идем вниз, тебя там ждут! — повторил Малютка и вышел из курилки.

— Кто ждет? — спросил я, догоняя длинноногого Малютку.

— Ждет девушка. Просила вызвать тебя... Девочка — закачаешься. На пять с плюсом! Перед ней даже шпана расступилась и пропустила в дверь.

— Неужели Леля? — подумал я вслух. Сердце захолонуло, словно меня затащили на десятиметровую вышку и велели нырять — а внизу не вода, а лед.

— Как звать ее — не знаю, врать не буду, — словно откуда-то очень издалека услышал я голос Малютки. — Такая... — он запнулся, — изящная... — Это слово Малютка произнес, может быть, первый раз в жизни, и оно в его устах прозвучало как-то странно и нескладно. Почувствовав неловкость, он перешел на обычные слова: — Пупсик — дай бог на пасху. В таком коричневом пальто...

Оттолкнув Малютку Второгодника, я побежал по коридору. Бежал так, будто спасался; бежал так, будто спешил кого-то спасти. «У ней что-то стряслось, — крутилось у меня в голове. — Или отец помер, или с теткой что-нибудь. Так бы Леля не пришла... Какая длинная эта парадная лестница... Что-то такое случилось, так бы она не пришла...»

В коричневой шубке с откинутым капюшоном Леля стояла в вестибюле справа от лестницы, между деревянной будочкой вахтера и желтой полированной колонной.

Она стояла потупясь, глядя на муфту. По лицу ее ничего нельзя было понять.

— Леля! Что случилось? — спросил я, подбегая к ней. Она настороженно посмотрела мне в глаза и вдруг улыбнулась.

— Нет-нет-нет, ничего не случилось. Я просто так. Вот взяла — и пришла... Ты недоволен?

— Взяла и пришла? Ко мне? — Я все еще не верил в такое чудо.

— Ну да, к тебе. За тобой... Мы вместе пойдем, да?

— Вместе пойдем... — повторил я. — Пойдем... Куда пойдем?

— Господи, ну куда-нибудь пойдем отсюда... Ты на меня очень сердисься?

— Я просто ничего не соображаю... Значит, мы пойдем вместе?

— Да-да-да. Только ты пальто надень.

Я побежал в седьмую аудиторию, схватил пальто и побежал обратно. Бежал и думал: «А вдруг она уйдет?.. Надо бы с Люсендой попрощаться... Нет, некогда... Вдруг Леля уйдет?»

Леля была на том же месте. В сторонке стоял Малютка Второгодник и делал вид, что наблюдает за порядком, а на самом деле глазел на Лелечку.

— Парадная временно закрыта, я вас через подвал проведу, — сказал нам Малютка. — Бирюков — за главного! — начальственно крикнул он в группу ребят, стоящих у дверей. Потом взял из окошечка дежурки «летучую мышь» и повел нас мимо лазарета в боковой коридорчик. По узкой щербатой лесенке мы спустились в подвальный широкий коридор, и Малютка большим ключом открыл блиндированную дверь бомбоубежища. Он не включил электричества — для таинственности, что ли? И в неярком свете «летучей мыши» наш военный кабинет показался мне странным, и мне почудилось, что это не мы, а какие-то другие люди идут сейчас по его бетонному полу. На мгновение качающийся свет лампы выкрал из темноты учебный плакат «Час атаки». Некоторые красноармейцы еще вылезали из траншеи, а некоторые уже бежали вперед с винтовками наперевес. Перед ними вставали черные столбы разрывов.

Пройдя бомбоубежище, мы очутились в обыкновенном подвале, где стоял сырой густой холод. Вышли мы уже у пищеблока.

— Спасибо, Женька! — сказал я.

— Спасибо, Женя! — повторила Леля.

— Ну не за что, — смущенно ответил Малютка. — Я ж понимаю...

Он захлопнул за собой подвальную дверь. Она плотно и гулко вошла в дверную коробку и словно сразу вклеилась в нее, срослась со стеной. Мы с Лелей остались вдвоем. Кругом валялись пустые ящики из-под картошки, пахло сырым снегом и золой. Из техникума негромко доносилась музыка, крутили «Похищенное сердце» — медлительное, надрывно-грустное танго. Мы вошли в длинный проход между двумя высокими штабелями дров. Здесь было совсем темно. Впереди светилось окно флигеля, виднелся черный силуэт клена. Мы медленно и молча шли рядом в этом дровяном коридоре — даже не под руки, только касаясь плечами друг друга. Я никак не мог собраться с мыслями.

— Ты не сердисься? — остановившись, спросила она.

— Не могу на тебя сердиться. Что бы ты ни делала... Как ты меня здесь отыскала?

— Нашла твой цветок — пошла к тебе домой — там был Костя — он сказал, где ты, — приехала сюда, — монотонной скороговоркой ответила Леля.

— С Костей тебе повезло. Он ведь собирался к одной кошке-милашке. — Я помнил, что тогда, под Новый год, ее рассердило это слово, с него все и началось. Я испытывал ее.

— Нет, он не пошел к кошке-милашке. Ни к каким кошкам-милашкам он не пошел. Лежал на кровати и читал. Когда я пришла, встал и начал мне читать про Антония, как он повернул свой корабль из-за Клеопатры. Потом стал мне доказывать, что этот Антоний просто изменник из-за бабской юбки, его надо вздернуть на рее... Ты слушаешь?

— Ну да!

— Он сперва не хотел мне говорить, где ты. Он сказал, что я не должна тебе мешать погружаться в бытие... А как это ты погружаешься?

— Потом расскажу... Ну...

— Когда я начала плакать, он сказал, где ты.

— Ты и сейчас плачешь.

— Говори мне так, как на пароходе, помнишь?.. Ну, какие у меня глаза? Соленые? — Она придвинулась ко мне.

— Прямо как свежепросольные огурцы, — сказал я, целуя ее.

— Господи, как глупо! — Леля тихо засмеялась. — Но теперь у нас все по-прежнему, да?.. Ты поедешь ко мне?

— Сейчас?.. А тетя твоя?

— Тетя в Гатчину уехала. И потом тетя за тебя. Я ей рассказала про Новый год, так она мне все время твердит: «Иди к нему, объяснись. Ведь сам он не может прийти к тебе, раз ты так... ну, поступила...» Она все говорит: «Вам все равно не уйти друг от друга, потому что это шикзаль».

— Какой шикзаль?

— Не какой, а какая. Это по-немецки судьба. Только не просто судьба, а уж такая судьба, когда ничего с ней не поделаешь.

Мы вышли из дровяного коридора в сад, потом проулком прошли к трамвайному кольцу. Едва вошли в вагон — трамвай сразу зазвенел и тронулся, будто только нас ему и не хватало. И время текло в том трамвае быстро, по своей системе отсчета, и он обгонял другие трамваи — должно быть, просто перелетал через них. Мы и не заметили, как доехали до Васильевского острова.

В первом этаже на нас дохнуло аптечной полынью, — и мы сразу же очутились на Лелиной площадке, вошли в квартиру, и лестничный сквозняк услужливо захлопнул за нами дверь. Сняв пальто, мы прошли на кухню.

— Господи, какая я бестолковая! Чаю, кажется, нет, — сказала Леля. — Придется нам пить кофе. Ты любишь кофе?

— Мне бара-бир, — ответил я. — Кофе так кофе. Ты обо мне не беспокойся.

Она накачала примус, налила из-под крана воды в зеленую эмалированную кастрюльку, взяла с полки желто-синюю пачку суррогатного кофе «Здоровье». Я, будто хронометражист, следил за ее торопливо-четкими движениями. На ней было платье из холстинки, с красным пояском — летнее, совсем не по сезону, — то самое платье, в котором она ездила со мной на лодке за сиренью.

— Что ты так смотришь? — обернулась она ко мне. — Очень скучал без меня?

— Очень... Шестьдесят семь дней.

— Это все я виновата, глупая Лелька. — Она подошла ко мне, прижалась щекой к моей щеке. — Никогда больше не буду тебя обижать... Давай пить кофе в кухне, здесь уютнее. Да?

Над кастрюлькой взбухла шапка темной пены, и Леля быстро погасила примус. Стало очень тихо. В этой тишине мы пили из толстых синих чашек горьковатый, пахнущий горелым цикорием кофе, заедая его печеньем «Альберт». Квадратный столик стоял в углу, мы сидели на табуретках у двух его свободных сторон, вполоборота один к другому, касаясь друг друга коленями. Мы о чем-то разговаривали, но все сразу забывалось, падало в тишину.

— Ужасно я бестолковая — угостила тебя кофе без молока, — сказала она, отодвигая чашку. — Ведь бестолковая?

— Ужасно бестолковая, — ответил я, встав из-за стола. — А ты без меня скучала?

— Да. Скучала, — коротко и глухо ответила она, глядя куда-то в сторону.

Мы вышли из кухни в прихожую. Я посмотрел на свое пальто, и Леля перехватила мой взгляд.

— Мы запереть забыли, — спокойно сказала она и, подойдя к наружной двери, неторопливо, нерезко закрыла ее на крюк. Потом как-то вроде даже сердито посмотрела на меня:

— Незачем тебе сейчас идти домой, будешь у Лельки ночевать.

* * *

Там, за незашторенным окном, было обычное мартовское утро — правда, воскресное, — и все же обычное для города. Но, войдя в комнату, утренний свет стал четок и нежен; мягко обволакивал глаза, но не мешал видеть то, что было вокруг. Разбуженный этим светом, я приподнялся на локте и посмотрел на Лелю. Дышит ровно. Челочка растрепана, а

лицо очень спокойное, и даже какая-то сонная детская важность на нем. А ресницы очень длинные — это потому, что глаза закрыты. Первый раз вижу ее с закрытыми глазами.

Боясь разбудить ее взглядом, я стал смотреть на стену, на столик у стены. С лежащей под наклоном чертежной доски свисал шелковый, подштопанный на пятке чулок. Со стены, со своей последней фотографии, висящей между двумя рейсшинами, смотрел на меня Лелин брат. Он был в гимнастерке, которой он уже никогда не снимет. Он смотрел на меня из ниоткуда, но он как бы и существовал. Пока есть этот город, и этот дом, и Леля, куда есть то, что есть, — ты тоже есть.

«Не бойся за нее, — просигналил я ему мысленно. — Никому не дам ее в обиду и никогда не брошу — лишь бы она меня не бросила. Я ж понимаю, что она лучше меня, как 100:1».

— Ты уже не спишь? — спросила она вдруг.

— ...?!

— Нет-нет-нет... надо вставать. Римма должна сейчас прийти. Она очень точная. Она батистовую кальку принесет. Мы еще вчера утром договорились. Я же не знала...

— Батистовую?

— Да-да-да. Она достала себе и мне. Это не для работы... Нет-нет-нет, милый, отвернись, я буду одеваться.

Я отвернулся к стене. Прямо передо мной на черном шнуре висела вилка громкоговорителя. Я включил ее в розетку. Послышался приятный, нарочито равнодушный голос женщины-диктора: «...майских бомбардировщиков были направлены против аэродромов в Южной и Центральной Англии. Причинены значительные повреждения ангарам и казармам... В сводке командования германских вооруженных сил сообщается, что германские войска, вступившие на территорию Болгарии, продолжают продвигаться согласно приказу... Обсуждение в Соединенных Штатах закона о передаче займы или в аренду вооружения не наталкивается, как ожидалось ранее...»

Я выдернул вилку из розетки. — Можно повернуться?

— Не совсем еще можно, но можно.

Она стояла перед зеркалом в желтом халатике, в теплых тапочках на босу ногу. Лицо у нее было удивительно спокойное и кроткое.

— Лелечка... — окликнул я ее.

— Ну что? — Она подошла, села на кровать, положила руку мне на голову. — Ведь все очень хорошо. Все-все-все хорошо... Соблазнил глупую Лелю — а глупая Леля и рада.

В прихожей послышался звонок, и она вышла.

Я услышал скрип дверного крюка, потом голоса Лели и ее подруги. Слов не разобрать было, хоть говорили они довольно громко. Потом вдруг ничего не стало слышно — похоже, что перешли на шепот. Потом опять заговорили громко, но теперь голос подруги звучал нарочито бесстрастно, вроде как у дикторши, которая только что сообщала о военных действиях.

Послышался звук запираемой двери, потом легкие Лелины шаги.

Она вошла с рулоном кальки. Калька была цвета необычного — какая-то голубоватая.

— Тут на две блузки и еще на платочки останется. Хочешь, и тебе платочек подрублю?

— Говорят, платки дарить — это к разлуке, — сказал я.

— Тогда не будет тебе никаких платков. Не хочу никакой разлуки... Ты знаешь, Римма твое пальто заметила... Ну, я ей немножко сказала. Ведь если уж она заметила...

— А она?

— Очень удивилась. Кошка выскочила, глазки выпучила... Я пойду на кухню, поставлю кофе... А вообще все-все-все хорошо.

* * *

Когда я вернулся домой, в комнате было очень накурено. Белые изразцовые стены сквозь дым казались голубоватыми. Костя, одетый, лежал на кровати и читал. При виде меня он молча сунул Плутарха под подушку, вытащил из-под кровати гитару и запел базарным голосом:

Для кого я себя сберегала,
Для кого, как фиалка, цвела!
До семнадцати лет не гуляла,
А потом хулигана нашла...

— Итак, нет больше Пиренеев? — спросил он, снова пряча гитару под кровать.

— Иди, Синявый, к черту! — ответил я. — Скажу одно: я — счастливый человек. Больше ничего не скажу.

— Я за тебя рад, Чухна, — уже серьезным голосом сказал Костя. — Но ты не очень-то верь в свое счастье. Все равно она не для тебя. Все равно она от тебя уйдет. Уйдет и не вернется.

— Зачем ты мне это говоришь? — обиделся я. — И не в первый раз ты это мне говоришь. Если б ты был мне враг...

— Оттого что не враг, оттого и говорю, — ответил Костя. — Я тебя подготавливаю. Я тебе делаю прививки, я ввожу в твое тупое сознание малыми дозами то, что потом ты получишь сполна. Тебе нужен иммунитет... Но ты не забыл, что сегодня ты дежурный по питанию? Напитай меня сардельками, напои меня киселем, ибо я изнемогаю от любви к пище.

26. Июль

Их артиллерия била откуда-то слева. Снаряды рвались далеко позади, справа от нас; может быть, таким изгибом шли наши траншеи, а может, это били по тылам. Около нашей роты пока что не упало ни одного снаряда. И тем неожиданнее было, когда из дальнего леска стали выбегать человеческие фигурки. Форма на них была темнее нашей. Они бежали по направлению к нам и сразу же скрывались, перебежав небольшую высотку. Можно было догадаться, что они сосредоточиваются вон за тем длинным бугром. Между этим бугром и нами лежала топкая, мшистая низина, поросшая мелким сосняком.

Это были враги, фашисты — они самые. Отсюда не разобрать было, какие они из себя; отсюда это были просто перебегающие через высотку темные человечки в касках. До них было далеко, и команды стрелять нам никто не подавал. Комроты капитан Веденеев стоял у поворота траншеи и, кажется, делал выговор красноармейцу Столярову. Пилотка у Столярова была, не как положено, сдвинута на самый затылок, он был бледен, губы у него дрожали. Он или натворил что-то, или уже испугался.

«Я еще не испугался, но, наверно, испугаюсь, когда они подойдут ближе, — подумал я. — Хорошо бы сразу за все отбояться, чтобы потом уже ничего не бояться. А лучше — с самого начала ничего не бояться. Вот Логутенок был на финской, он, наверно, ничего не боится. Ему хоп што».

Младший сержант Логутенок, огневая ячейка которого была справа от меня, привстав на земляной приступочек, глядел поверх бруствера. Широкое лицо его было спокойно. Заметив, что я смотрю в его сторону, он подошел ко мне.

— Гранаты, гранаты приготовь, — тихо сказал он. — Чего стоишь зря!

Я отнял руки от винтовки, вынул обе гранаты из холщовой сумочки и положил их на нишку, сделанную в стенке траншеи. Эти РГД были такие аккуратные, ладные: рубашки — в диагональных четких насечках, приятный желтовато-зеленый цвет, какая-то конструктивная завершенность во всем. Казалось странным, что такие красивые вещи сделаны только для того, чтобы их не стало за одно мгновение.

— А запалы? — спросил Логутенюк. — Запалы вставь.

— Запалы в них уже. Я как в Огорелье получил, так и вставил.

— О дурни! — прошептал Логутенюк и постучал себя кулаком по лбу. — Другой день с запалами в гранатах таскаешься! Ведь подорваться мог! Набрали дурней!.. Нельзя запалы без дела вставлять!

Я поспешно взял одну из гранат, отогнул круглую крышечку на ее дне, вынул блестящий цилиндрок. Пальцы у меня слегка дрожали.

— Да теперь-то их зачем вынимать, — презрительно сказал Логутенюк. — Теперь-то они в самый раз... Тебя что, гранатам не учили?

— Учили, — ответил я, снова утопив запал в отверстие и закрыв его крышечкой.

— А учили — так действуй как положено, — уже спокойнее и дружелюбнее проговорил Логутенюк и отошел на свое место.

Там, в Ленинграде, в казарме, на плацу, нас действительно обучали гранатному бою, — но всего один день. Да и то, конечно, не целый день, а часа два или три. И сперва я вроде все запомнил, а потом кое-что позабыл. Всего не упомнить было. Теперь все происходило слишком быстро. Будто бежишь с горы, и все набираешь скорость, и не можешь остановиться и собраться с мыслями. Прежде мне почему-то казалось, что хоть на войне и страшно, но все происходит постепеннее, что человек входит в войну как винт. А тут война вбивала меня куда-то, как гвоздь в перегородку. Удар — 22 июня; удар — я в казарме; удар — я в товарном вагоне; удар — я в этой вот траншее. Может быть, еще один удар — и гвоздь выйдет куда-то по ту сторону переборки, где уже ничего нет: ни войны, ни меня.

Но пока что я здесь, по эту сторону. Пока что мне везет.

Вчера на марше, на Веревском шоссе, среди поля, совсем близко от меня убило старшину Горшенко. Мы с ним рядом залегли в кювете, когда налетели «мессершмитты»; вернее, не рядом, а в одну линию: его ноги были у моей головы. Я лежал лицом вниз, а сверху, с неба, нависал вой моторов и не очень громкий, даже не очень страшный, шум выстрелов. Когда пули ударяли в щебенку шоссе, слышались короткие, шелкающие удары. «Мессершмитты» — их, кажется, было три или четыре — дали несколько очередей и улетели, а потом быстро вернулись и опять стреляли. Когда они улетели совсем, послышались голоса, двое раненых кричали. Все стали подниматься — кто из канав, кто из-под придорожных кустов. Я медлил, равнялся по Горшенко, ждал, когда он подымет. Потом я встал, а он так и не встал. Кювет был сухой, чистый, старшина тихо лежал лицом вниз, будто решил пошутить: все, мол, встали, а я еще полежу, посмотрим, что из этого получится. Но на его гимнастерке видна была вмятинка, и вокруг нее все шире расплывалось темное пятно. Я вспомнил, что во время второго захода «мессеров» старшина дрыгнул ногой, ткнул меня сапогом в голову. Но это было не больно, я в тот же миг это забыл, а его, наверно, в этот-то миг и убило. И еще убило шесть человек, а одиннадцать были ранены, но некоторые — совсем легко.

Политрук Аверкиев лежал в стороне от дороги, в поле. Он лежал на спине, руки прижаты к груди, ноги в солдатских обмотках согнуты в коленях, будто он хочет подняться. На лицо его смотреть было нельзя: крупнокалиберная пуля вошла в затылок и вышла через лицо. Оказывается, когда «мессеры» кончили первый заход, Аверкиев выскочил не то из канавы, не то из-под куста и побежал в поле к четырем бойцам, которые лежали слишком кучно, совсем рядом. Он успел разогнать их в разные стороны — чтоб не было лишних потерь. Но «мессеры» вернулись для второго захода очень быстро, и сам он залечь не успел.

Дальше мы шли уже не по самому шоссе, а по обе его стороны, и без всякого строя. А метров через пятьсот начался лес, и там мы шли под деревьями, и никто там не мог нас увидеть с неба. Под невысокими соснами лежал светлый жестковатый мох, кое-где виднелись песчаные проплешины; песок был мелкий, серый, как зола. В лесу, как в большой котельной, стояло ровное сухое тепло, в просветах между стволами воздух дрожал и слоился.

— Двоих из начальства немец отоварил! — сказал мне вдруг с вызовом в голосе красноармеец Барышевский, шагавший справа от меня. — Так мы скоро без начальства

останемся, ничего себе!

Барышевский был моих лет и тоже некадровый. Я подумал, что вот он тоже никогда не бывал на войне, а ему не страшно. Есть, видно, люди, которым на все начхать. Но вдруг Барышевский побледнел, щеки его раздулись, будто он захотел изобразить толстяка. Потом он резко отвернулся от меня, сделал шаг в сторону, к сосенке. Его стошнило.

— Сапоги вытри! — крикнул ему сержант Федоров, когда Барышевский снова поравнялся со мной, и Барышевский снова отошел в сторону и пошел по мху, неуклюже выворачивая ноги, чтобы очистить носки сапог. Лицо у него теперь было бледно-серое, в мелком поту. Меня тоже начало подташнивать, будто я натошак выпил целую бутылку плодоягодного. Но потом это прошло. В лесу было тихо, покойно. Казалось, что война кончилась, а может быть, ее и не было. А может, она где-то есть, а где-то ее нет. Вот в этом лесу всю жизнь можно прожить без войны. Некоторые опять вышли на шоссе, и командиры не гнали их за обочину. Все шли как хотели, будто возвращались с экскурсии; только вот нагружены были все не по-экскурсантски... А вдруг придем в это самое Ново-Лысково — и там объявят: в Берлине восстание, Гитлера расстреляли, немецкие войска откатываются по всему фронту к своей границе... Ведь может это быть? Может!

Дорогу косо пересекала широкая просека. Старые серые пни были окружены молодыми березками, кусками малины. Цветы иван-чая, уже увядающие, покрытые сероватым пухом, сонно покачивались на стеблях. Просека уходила далеко, и из нее, как из большого коммунального коридора, уютно тянуло теплым сквозняком с чуть заметным привкусом дыма.

Вдруг все — и те, что шли по дороге, и те, что шагали по обе стороны за обочинами, — замедлили шаг и на минутку остановились, хоть никакой команды на это не было.

Справа, оттуда, где вырубка взбегала на холм и исчезала, упираясь в нарядные, легкие, негрозовые облака, слышны были негромкие, глухие, как бы плывущие по земле удары.

— Чего, Вася, ушми стрижешь? Пушек не слышал? — крикнул кто-то кому-то вроде бы в шутку.

Но никто не засмеялся. Каждый прислушивался — не то к этому отдаленному гулу, не то к самому себе. А капитан Веденеев нарочито громким голосом позвал к себе старшего сержанта Паликова и приказал ему подтянуть отставших. Тот побежал в хвост роты, где несколько бойцов, у которых были натерты ноги, и трое легкораненых ковыляли рядом с санинструктором. Почти наступая им на пятки, шла нагнавшая нас третья рота.

Миновав просеку, все ускорили шаг. Разговоров стало меньше. Каждый невольно старался поменьше шуметь. И я тоже старался теперь шагать плавнее, не наступать на ломкие, трескучие сучья, не задевать ветки стволом винтовки. Это не потому, что мне вдруг стало страшно. Нет, это было совсем особое чувство. Чувство близости к чему-то очень важному. Мне хотелось тишины, хотелось остаться наедине с самим собой, чтобы понять, что же такое происходит вокруг, что же такое происходит со мной. Четыре дня тому назад, еще в военном городке под Ленинградом, я получил сразу три письма: два от Лели и одно от Кости. Сперва я прочел Лелины, с трудом разбирая ее торопливый почерк, — он у нее был торопливым даже тогда, когда она никуда не спешила. «За меня не бойся ни в каком смысле. Ты плюс я, а больше никого никогда нигде не будет. Да, да, да! Это шикзаль (только теперь это слово их, оно теперь не годится)...» — так кончалось одно из ее писем. Костино письмо начиналось так: «Чухна, не хочется тебе об этом писать, но ничего не поделаешь. Шкиля убит...» Дальше Костя сообщал, что сперва получил от Володьки бодрое письмо с адресом полевой почты и сразу же ответил ему. Но от Володьки больше ничего не было. Тогда написал второе, и на него пришел короткий ответ из части: «Погиб в бою смертью храбрых». В самом конце своего письма Костя писал: «Наши костюмы и кое-какое барахло я отнесу Леле, у нее будет сохраннее. Комнату запечатают, так как я иду в народное ополчение. Теперь и я годеи».

Вот так вчера шел я по лесу и никак не мог собраться с мыслями и вместить в себя все, что происходит. «Прилечь бы, — думал я, — вон под ту старую ель, в сыроватую тишину,

полежать бы час или два — и думать, думать, и тогда все станет яснее и легче. Но надо идти, идти неизвестно куда, шагать с полной выкладкой. Винтовка, два подсумка, гранаты, шанцевый инструмент, противогаз, фляга, котелок, сидор... А Володьки уже нет на свете».

* * *

— Они отходят! — крикнул кто-то.

— Отходят! Отходят! — послышались голоса вдоль траншеи, и сразу же снова стало тихо.

Они и не думали отходить. Просто они двигались теперь не в нашу сторону. Из-за того длинного бугра, за которым они постепенно скапливались, они стали выбегать вправо то по одному, то по нескольку и, перебежав небольшое поле, скрывались за другой высоткой, на которой росли две сосны. И тогда слева от нашей траншеи заработал наш ручной пулемет. Винтовочные выстрелы грохнули справа и слева от меня, и я понял, что теперь и мне нужно стрелять. Свой первый боевой выстрел я сделал не спеша, как в тире, но потом заторопился: мне показалось, что чем больше я пошлю пуль, тем будет лучше и вернее. Вся траншея гремела, рваное эхо выстрелов металось над нашей высоткой, остро пахло пороховыми газами. Казалось, здесь не рота, а целая стрелковая дивизия.

Мы били вовсю, а они все перебежали и перебежали через поле, и нельзя было понять, есть ли у нас попадания. Из-за высокой травы немецкие солдаты видны были только по грудь, да и далековато было до них. Они перебежали согнувшись. Некоторые бежали по двое, все время на одинаковом расстоянии один от другого, и по их одинаковым позам можно было догадаться, что они тащат что-то длинное. Иногда некоторые из бегущих фигурок вдруг наклонялись, сгибались быстро-быстро и исчезали; это, наверно, те, в которых мы попали. Но, может быть, они просто падали в траву, чтобы ползти...

Из-за бугра, куда они перебежали, стали высываться и опадать вершины бурых кустов, стал слышен грохот недалеких разрывов — это начала туда бить наша артиллерия. Но они все равно перебежали в ту сторону, куда им было нужно. Они могли бы на время залечь, могли бы отстреливаться — но они этого не делали. Нет, они двигались куда им нужно, не обращая на нас внимания, будто нас уже не было здесь. Было что-то угнетающее душу в их равнодушии к нам, в их расчетливой подчиненности какому-то непонятному для меня замыслу.

И вот их не стало видно. Наверно, все перебежали, куда им было приказано. Теперь стрелять просто не имело смысла, и наша стрельба утихла сама собой, безо всякой команды. Там, справа, далеко от нас, гремели разрывы, слышались винтовочные выстрелы, пулеметные очереди — а у нас настала тишина.

— Вот и все, а ты, Маша, боялась! — шутовски прокричал кто-то, и в ответ послышался нервный, настороженный смех.

Ротный торопливым шагом прошел за моей спиной, не сделав никакого замечания. Потом подошел Логутенок. Он неодобрительно посмотрел на дно траншеи: все оно около меня было усеяно гильзами.

— Почитай, целую цинку извел зазя, — хмуро сказал он. Потом взял мою винтовку. — Накалил ты ее, будто это тебе уют! Стрелок!.. А рамка-то, рамка на сколько поставлена!

Действительно, винтовка здорово разогрелась. Там, где цевье прилегало к брустверу, осталась полоска светлого, рассыпчатого песка.

— Товарищ сержант, они что, боятся идти на нас в лоб? — задал я вопрос и сам сразу почувствовал, что сказал совсем не то.

— Тебя боятся! — невесело усмехнулся Логутенок. — Зачем им сюда по болоту переть? Они другую дорожку найдут... Дай-ка твоих хороших, закурим.

Я полез в брючный карман и вытащил коробку «Северной Пальмиры» — последнюю

из тех, что Леля принесла мне в казарму у Благовещенского канала. Она передала мне папиросы в зазор между прутьями ограды: гражданских на территорию не пускали. Передача была аккуратно упакована в газету «Смена» и перевязана веревочкой. «Там еще мыло, и конфеты, и десять лезвий, — сказала она. — А завтра я принесу тебе еще чего-нибудь... А когда тебе выдадут форму?» — «Говорят, послезавтра, — ответил я. — Ты только не пугайся, когда тебе принесут мой чемоданчик с гражданской одеждой. Я дам твой адрес. Говорят, некоторые пугаются: думают — если вернули гражданскую одежду, значит, с ним что-то случилось. А это просто такой порядок». — «Нет-нет-нет! Я не испугаюсь чемоданчика, — ответила Леля. — Я знаю, что все будет хорошо». Она улыбнулась и посмотрела мне в глаза. Под глазами у нее лежали легкие синеватые тени. За последнее время она побледнела и осунулась. На ней было серенькое рабочее платье с аккуратной, почти незаметной заплаткой на левом локте, на шее — ниточка бледно-розовых бус. Вся она была и скромна, и нарядна в своей скромности, и вся подтянутая, собранная. «Ты сейчас много работаешь?» — спросил я. «Да, много. Я там помогаю упаковывать... Разве я тебе не сказала в прошлый раз, что институт эвакуируется?.. Да, наверно, не сказала...» — «Значит, и ты эвакуируешься? Что ж ты сразу мне не сказала?» — «Нет! Я не эвакуируюсь. Я совсем недавно работаю, стажа нет, меня отчисляют. Работу я себе найду, не бойся...» Она строго и чуть-чуть сердито посмотрела поверх моего плеча на казарменный плац, где уже начиналось очередное построение. В этот миг она солгала мне. Я поверил, потому что привык к ее правдивости. Много позже я узнал от тети Любы, что Леля преспокойно могла эвакуироваться; она сама сделала все, чтобы остаться в Ленинграде.

«Лелечка, так ты завтра придешь сюда в это же время?» — «Да-да-да, милый. Ну конечно, я приду».

Я побежал на построение. Нас очень часто выстраивали на переклички, заново разбивали по ротам и взводам, и нельзя было понять, какой в этом смысл. Но на этот раз нас просто повели строем в столовую. Когда строй шагал недалеко от ограды, за ней по-прежнему стояло много женщин. Леля была среди них. Она искала меня глазами и не могла найти. Она не плакала, но на лице ее была тревога и растерянность. Я вдруг понял, что ей не легче, чем мне. У меня холодок прошел по коже — не то от нежности, не то от жалости к ней.

На следующий день Леля уже не застала меня в той казарме. Нас подняли ранним утром и опять разбили на роты. Это были огромные роты, не такие, как в стрелковых полках. В нашей было человек двести пятьдесят, а то и больше. Через час после пробуждения, построения и завтрака длинная колонна, по четыре человека в ряд, начала выходить из казарменных ворот.

В то ясное и теплое июльское утро город был чист и светел и казался совсем мирным. Только в каждом окне каждое стекло было крест-накрест перечеркнуто белыми бумажными полосками, да прохожие слишком уж серьезно и пристально вглядывались в наши лица. Мы шли окраинными улицами, стараясь ступать в ногу по неровной булыжной мостовой. Шаг у нас был еще не военный и выправка не военная; да и вообще военного в нас было только то, что мы отправлялись на войну. Все были в гражданском, каждый напялил на себя то, чего не жалко: когда идут в баню, на рыбалку или в армию, надевают то, что поплоче. На мне были узковатые, немодные брюки с бахромой на концах штанин, поношенный Гришкин пиджак серого бумажного сукна, и только ботинки были хорошие — модные лакиши «джимми», купленные всего за две недели до войны. Я надел их потому, что других у меня и не было, старые износились вдрызг. А чемоданчик мой был совсем небольшой и легкий; в такие спортсмены кладут боксерские перчатки. Некоторые несли довольно большие чемоданы; некоторые тащили на плечах самодельные фанерные сундучки, обитые медными гвоздиками с фигурными шляпками; некоторые шли с узелками за спиной. Рядом со мной шагал парень моих лет с портфелем. Это был Вася Лучников, новый мой знакомый. При всех перетасовках и разбивках на роты и взводы мы всегда оказывались вместе и поэтому познакомились и даже подружились. Вася тоже был василеостровец. Одно время он даже учился в

университете на филфаке, но его отчислили со второго курса из-за неудачной любви; точнее сказать, из-за неудачной любви он стал выпивать, вот его и вышибли. После отчисления он работал обрубщиком в литейном цеху на заводе Котлякова, потом вдруг устроился библиотекарем, потом началась война. В армии Вася прежде не служил, у него тоже была отсрочка по здоровью. По сравнению со мной он был очень начитан, но не кичился этим. Несмотря на то, что в жизни ему не везло, он во всем умел находить смешное. «Я из могучего племени трепачей», — говорил он о себе. Он часто цитировал какие-то странные стихи, которые трудно было понять.

Я шагал в ряду крайним справа, и мне хорошо были видны и тротуары, и улицы, и дома. Прошое уходило, уходило от меня с каждым моим шагом. Я понимал, что могу и не вернуться, и невольно с прощальной зоркостью вглядывался в окна, в лица прохожих — во все, что уплывало, уплывало, уплывало, может быть, навсегда, навсегда, навсегда. Колонна шагала без оркестра и песен. Провожающих не было. Нас провожал сам город.

К вечеру мы пришли в военный городок, и нам дали сутки полного отдыха. Здесь тоже была казарма, но здесь было теснее, военный городок не успевал перерабатывать потоки новобранцев. Здесь было очень много людей. Здесь были люди очень хорошие, просто хорошие, неплохие, плохие, очень плохие, — но среди них сейчас не было, пожалуй, ни одного счастливого.

Двухэтажных нар на всех не хватило, и первые две ночи нам с Васей пришлось спать на полу. Подложив под голову чемоданчик, я засыпал на теплом от июльского зноя бетоне. Это напоминало мне детство, когда я был беспризорником и порой ночевал на вокзалах. И пахло здесь, как на вокзале, карболкой, хлоркой, мочой, пропотевшей, нестираной одеждой. Война словно швырнула меня обратно — в бездомное детство, в детство, которое я хотел забыть.

На третий день в казарме стало просторнее — маршевые роты все уходили и уходили из городка. Нас свели в баню, выдали форму, началась строевая подготовка. Потом мы принесли присягу, нам вручили винтовки, смертные медальоны, стеклянные фляги в суконных чехольчиках, вещмешки, шанцевый инструмент, противогазы.

Тем временем фронт приближался. Однажды ночью нас подняли по боевой тревоге, и мы с полной выкладкой отмаршировали на станцию, погрузились в эшелон. Ехали мы недолго. Под Старо-Паново нас влили в дивизию.

Сержант закурил «Северную Пальмиру», и тут до меня дошло, что ведь и я тоже могу курить, что мне все время хотелось курить. Когда я затянулся, голова слегка закружилась, стало очень хорошо. Никогда еще табачный дым не казался мне таким душистым, вкусным и необходимым. Как это могут некоторые люди жить — и не курить! Если вернусь с войны, если все будет хорошо, всегда буду покупать самые дорогие папиросы! Буду выкуривать по две пачки в день! И Леля не станет на меня сердиться за это, потому что она добрая и хорошая.

Логутенок вдруг бросил папиросу, сорвался с места, побежал по траншее вправо. Его поманил взводный. Я остался один. Раньше я почему-то был уверен, что солдаты в траншеях стоят рядом, плечом к плечу; кажется, я это и в кино видел. А здесь до соседа справа и соседа слева было шагов по восемь, если не больше. И еще — когда мы пришли в эти окопы, кто-то сказал, что они на роту малы, а то бы нас еще больше растянули. Мы явились сюда на готовенькое. Здесь поработали девушки-окопницы. Утром, когда мы заняли позицию, на глинистом дне траншеи еще видны были следы женских туфелек, сетчатые отпечатки физкультурных резиновых тапочек. Недалеко от меня на бруствере лежал тонкий, в несколько стебельков, букетик розовых болотных цветов, перевязанный белой ниткой; теперь он увял: время перевалило за полдень.

Июльское небо было безоблачно. Из низины тянуло запахом багульника. Слева от нас все было тихо. Справа по-прежнему слышалась стрельба. Там клубился над лесом дым, он широким сизым столбом уходил в высоту и расплывался. Может быть, горела какая-нибудь деревня. Наверно, там, в деревне, есть пруд или она стоит около озера, но пожар тушить некому, и огонь делает что хочет. Я вспомнил, что Гришка когда-то спас меня, но Гришки

уже нет. И Володьки нет. Мне стало тоскливо. Я взял винтовку и пошел навестить Васю Лучникова: его ячейка была слева от моей.

Когда я подошел к Васе, он жадно курил. При затяжках он сильно втягивал щеки и от этого казался совсем тощим. Худая шея блестела от пота.

— Жарко, но не в военном — в метеорологическом отношении, — сказал он. — Дядя Танк и тетя Бомба не приходят в гости к нам... Ты не слыхал, какая сводка?

— Откуда я знаю. Если б было что-нибудь хорошее, то сказали бы.

— А ты знаешь, сколько отсюда до Ленинграда?

— Ну километров двести пятьдесят. Ленинград, слава богу...

— Нет, не слава богу. По моим подсчетам, от нас до Ленинграда примерно сто семьдесят по прямой. Вот там Псков, он у немцев, — Вася ткнул рукой куда-то вправо. — Вот там Старая Русса, вот здесь Луга. А вот там Ленинград, — Вася повел руку вниз. — Так что не слава богу... Скоро мы вступим в город над Невой, как его именуют некоторые журналисты.

— Вася, не наводи на меня паники, — ответил я, — Ленинград далеко... А вот что у нас тут? Тебе не показалось, что они нас обходят?

— На мужественном лице покойного застыло выражение непоколебимого оптимизма... Толя, они же нас обошли.

— Боевой пост бросать! Сволочь такая!.. — загремел за моей спиной голос, я даже сразу не узнал чей. Оглянулся — это командир взвода. Он был вне себя.

— Товарищ лейтенант, я только на минутку, — тихо сказал я. — У нас вот с ним цинка на двоих...

— Арш на место! — крикнул лейтенант, но уже без всякого раздражения. — Что это за шлянье!

Он побежал куда-то в конец окопа, а я в два прыжка очутился на своем месте. Я понял, что дело тут не во мне, что взводный чем-то очень встревожен. Меня не обидело, что он наорал на меня. Никогда у меня не было предвзятой нелюбви к начальству, как у некоторых других. В детдоме моим начальством были воспитатели, а в техникуме — преподаватели, и ни от тех, ни от этих я не видел ничего плохого. Наоборот, они делали все, чтобы из нас, бывших маленьких гопников и лодырей, получились мало-мальски стоящие люди. Еще я вспомнил, что мечтал в детстве стать командиром, когда вырасту. Будь я сейчас командиром, тоже, наверно, психовал бы; может, обложил бы кого-нибудь покрепче, чем наш взводный.

— Что, получил вентиляцию? — сказал Логутенок, подходя ко мне. — Здесь тебе не гражданка! Хоть под себя ходи, а поста не бросай!.. Дай-ка закурить твоих хороших, пока у нас тихо. Вон справа-то как гремит...

— Товарищ сержант, они нас обошли?

— Слушай, ты же студент, культурный человек!.. Ты тоже понимать должен... С соседями связи нет, с батальоном связи нет. Мы скоро отход начнем.

* * *

Когда скомандовали отход, мы первым делом бросились по боковому ходу сообщения в блиндаж; он был вроде комнатки с земляными стенами, только без потолка; наверно, накат окопницы не успели сделать. Здесь лежали наши скатки, вещмешки, фляги. Похватав каждый свое, стали гуськом вылезать из траншеи — там, где она шла по самому склону. Скоро все очутились по другую сторону высоты и двинулись через редколесье к деревне Мера, которой не было видно.

Мы отходили в порядке, взводами. Но, конечно, не в строю. В пределах своего взвода каждый шел с кем хотел. Я шагал рядом с Васей Лучниковым, впереди шел Логутенок, позади нас брел Барышевский. Комроты Веденеев появлялся то здесь, то там. Он то пропускал взводы мимо себя, то обгонял нас; рядом с ним все время ходил связной. На лице

ротного был страх, скрыть его он не мог, хоть и старался. Это был не тот страх за себя, который я испытал, когда с неба строчили «мессера», — это был страх за всех нас и за то дело, за которое капитан был в ответе.

Ноги уходили в мох, как в снег. Все время приходилось петлять между кочками. На потную шею налипали мелкие мошки, спину под скаткой зудило, и нельзя было почесать ее. Пахло болиголовом и тлеющим торфом. Над низиной висела легкая синеватая дымка. Далеко впереди высоко-высоко кружил ястреб. Для него не было войны. Он был двойником того, который летал там, над речным островком, когда мы с Лелей ездили на лодке за сиренью. Неужели все это было?

— О чем ты думаешь? — спросил Вася Лучников.

— Так, вообще... Не могу я привыкнуть, что — война. А ты о чем?

— Об том же самом... В край забвенья, в сень могилы, как слоны на водопой, ангелы и крокодилы общей движутся тропой... Как ты думаешь, чем эта война кончится?

— Кончиться она должна хорошо. Она слишком уж плохо началась. Когда вначале идет плохо, то потом всегда получается хорошо. Уж это я знаю.

— А по-моему, что плохо начинается, то плохо и кончается. Если ты закурил «Ракету», то после четвертой или пятой затяжки она не станет «Казбеком». По-моему, мы эту войну проиграем.

Я оглянулся, посмотрел налево и направо. Нас никто не подслушивал.

— Слушай, Вася, таких вещей говорить не стоит. Конечно, жаловаться на тебя начальству я не побегу, не в этом дело. Но если такие мысли есть в душе, то пусть они там и лежат. А если их выговаривать словами, то они вроде бы становятся ближе не к мысли, а к делам. И тебе самому от этого тяжелее.

— Ты, Толя, не думай, что я против этой войны, — тихо ответил Вася Лучников. — Я знаю, что мы ее проиграем, но я ж не говорю, что мы должны сдаваться этим сволочам и ложиться лапками вверх. Прежде чем они нас победят, нам надо этих сволочей перебить как можно больше, чтоб помнили нас... Ну, хоть идти теперь полегче.

Местность стала посуше, повыше. Здесь уже рос не мелкий сосняк, а высокие сосны. Короткий остистый мох пружинил под ногами, помогая ходьбе. В бору стоял плотный теплый воздух, пахнувший смолой, нагретой хвоей. Но к нему был подмешан горьковатый запах торфяной гари.

Совсем близко, слева от нас, загрохотали винтовочные выстрелы. Одна пуля со свистом ударила в можжевельниковый куст возле меня, и он весь вздрогнул. «Залечь!» — крикнул кто-то, но все залегли еще за мгновение до этой команды. Там, слева, прогремело еще несколько выстрелов, но свиста пуль уже не было слышно. Стали доноситься крики, слов разобрать я не мог. Я лежал, положив винтовку на корень сосны, выступающий из мха. Далеко, в просветах между стволами деревьев, мне видна была маленькая сосенка на маленькой поляне. Солнце падало прямо на нее, она стояла, ничего не понимая, — веселая, легкая. Как около нее кто-нибудь покажется — надо стрелять, попаду наверняка.

Внезапно мимо нас протопал в полный рост наш взводный, за ним бежало несколько бойцов. За ними со связным и двумя бойцами пробежал капитан Веденеев. В руке у него была неизвестно откуда взявшаяся симоновская винтовка с ножевым штыком. Эти красивые, ладные на вид винтовки отказывали в стрельбе, чуть немножко пыли или песку попадет в механизм, и только штыки у них были хорошие.

— Не стрелять! — закричал капитан, скрываясь между стволами.

Издали слышались голоса. Опять грохнуло два выстрела, потом взрыв криков. Похоже, что это просто ругались. Голоса стали приближаться.

— Свои! — сказал Логутенок, поднимаясь со мха. — Немцы пока еще матом говорить не умеют.

Наши быстро вернулись. С нашими пришло человек пятнадцать бойцов. Они оказались из другого полка. Вид у них был измученный и какой-то помятый, и в то же время настороженный. Один был без винтовки. Около рта у него запеклась кровь, рукав

гимнастерки — тоже в крови. Его вели под руки двое, а он шел и мотал головой как заведенный. Его контузило.

Некоторые из наших подбежали к этим бойцам, чтобы расспросить, что делается там, где они были. Но капитан приказал отойти от них. Он дал им в начальство одного сержанта, и эти пятнадцать пошли дальше одним путем с нами, но в то же время как бы и отдельно. Логутенок объяснил мне: это для того, чтобы они не развели паники.

И мы пошли дальше.

Лес поредел, начался березняк, потом кустарник. Мы вышли к петливой луговой речке, совсем мелкой, перешли ее вброд и очутились на топком заливном берегу, очень широком для такой небольшой речки. Впереди чернел лес, справа виднелся мост шоссе. Здесь, на пойме, росла только высокая темно-зеленая болотная трава да лютики. Вот тут-то нас и застал огневой налет.

Вряд ли они засекли нашу роту, наверно, били на всякий случай, на кого бог нанесет: сперва снаряды, летя над нами с берущим за душу свистом, рвались далеко правее нас, ближе к мосту. Потом свист стал короче, а разрывы громче. Мы залегли. Я пока что не чувствовал большого страха, и только неприятно было ощущать, как постепенно намокает одежда на груди и животе от этой низинной сырости.

Но вот разрывы приблизились. Теперь зыбкая почва вздрагивала от них, как студень. Сквозь просветы между травинками я видел эти разрывы. Они были не черного, а какого-то странного рыжего, красно-бурого цвета. Когда они стали еще ближе, я уткнулся лицом в траву. Но мне чудилось, что я все вижу: и что впереди, и что позади, и что наверху. Будто я весь — огромный глаз, всевидящий и беспомощный, — глаз, который сейчас проткнут — и тогда конец всему. Казалось, снаряды летят сюда не с дальней артиллерийской позиции, а какая-то огромная, стометровая невидимая сволочь ходит здесь, нагибается и втыкает в эту топь страшные железные зерна — и они сразу прорастают взрывами. И все же сквозь страх я понимал, что к чему. Я понимал, что нельзя сейчас сорваться с места и бежать: это еще хуже. Понимал и то, что вовсе не обязательно меня убьет: поле большое, всего его не накроешь снарядами. Может убить, но может и не убить. Может убить, но может и не убить... Может убить (вот где-то сзади, совсем близко, ударило), но может и не убить...

...Метрах в пяти воткнулось в землю что-то тяжелое — так, что почву вокруг вспучило и закидало меня грязью. Сердце остановилось. В этот миг кто-то ударил меня по боку и что-то крикнул. Я мгновенно понял все и почувствовал, что пячусь как рак и рядом со мной пятится Вася Лучников. Но скорость у нас была не рачья, не всякий бегун обогнал бы нас. Мы отползли метров двенадцать, потом оба, будто сговорившись, вскочили на ноги и пробежали еще метров десять — и опять оба, словно у нас это давным-давно было условлено, плюхнулись наземь. Но там, откуда мы отползали и убегали, ничего особенного не произошло.

— Камуфлерт! — облегченно прокричал кто-то возле нас. — Камуфлерт! Не разорвался!

— Не камуфлерт, а камуфлет! — поправил Вася, говоря куда-то в землю. — Очень жаль, что умираем, умираем иногда, а ведь жизнь была бы раем, коль не эта б ерунда.

— Слушай, заткнись! — сказал я, не поднимая лица от травы. — Не изображай, будто тебе не страшно. — Мне показалось, что он может накликасть беду такими шуточками и следующий снаряд долбанет нас.

— Мне именно страшно, — даже с какой-то обидой ответил Вася. — Одни, когда им страшно, молчат, а другие не могут молчать... Ну, кажется, можно складывать зонтики.

Обстрел кончился.

Все начали подыматься, но как-то сонно, нехотя, потягиваясь и поеживаясь. Гимнастерки и брюки у всех стали двухцветными: сзади — нормального цвета хаки, спереди — темно-зелеными. Мне вспомнились платья «день и ночь» Люсенды и Веранды. Тогда, в день Восьмого марта, я ушел с танцев, даже не попрощавшись с Люсендой. Нет, она не обиделась. В понедельник была такая же, как всегда. «Ведь мы с тобой друзья, а друзья друг

на друга не обижаются...» Как далеко все это! Как все хорошо было прежде, и как все плохо теперь! Будто я долго-долго сидел в теплом, уютном кинозале, смотрел хорошую-хорошую картину, а потом война пинком выгнала меня на холод, в слякоть, черт знает куда...

Казалось, нас столько же встало, сколько залегло. Но нет, двоих недосчитались. Около воронки, ближе к речке, валялась искореженная винтовка; какие-то красные тряпки, ошметки были расшвыряны далеко по траве. На дне воронки, сквозь мутную воду, виднелась сплюснутая коробка противогаза.

Мы пошагали через пойму дальше, к лесу. День продолжался, до вечера было далеко, но мне очень захотелось спать. Прилечь бы, вздремнуть бы, приткнуться бы куда угодно, не снимая гимнастерки, не разматывая обмоток. Под любой куст, на любую траву, сухую или мокрую... Глаза слипались, я шел, не глядя под ноги. Должны же наконец объявить привал! Вот дойдем до этого леса — и привал...

Сзади, с того берега, откуда мы шли, раздались негромкие выстрелы; похоже, что стреляли из пистолета. Потом грохнула винтовка. Свиста пуль слышно не было.

Все остановились, некоторые залегли. Сержант Логутенок остался стоять, и я, глядя на него, тоже. Выстрелов больше не слышалось. Зато стали слышны крики. Капитан Веденеев поднес к глазам бинокль — и сразу же опустил его.

— Там Колыван! — крикнул он нашему взводному. — Идемте со мной!

Они торопливо прошли мимо нас. Лица у обоих были тоскливо-настороженные. Я заметил, что у капитана гимнастерка сухая и сзади, и спереди. Значит, он не лег во время артналета? Но зачем? Почему? Командир не должен лично вести бойцов в атаку, а также зря рисковать собой — это я помнил, это я читал.

— А кто это Колыван? — спросил я Логутенка. Выше ротного начальства я еще никого не знал.

— Командир батальона — вот кто! — строго ответил Логутенок. — Такого тебе стыдно не знать, а еще студент!.. Тяжело нашему ротному сейчас придется, — добавил он, понизив голос. — За оставление позиции... Приказа свыше не было... Могут и шпалу снять. Он и так на роту с понижением поставлен.

— Он же не виноват, что немцы нас обошли.

— Это не нам с тобой судить! — отрезал Логутенок. — Судильщик еще выискался! Здесь тебе не гражданка.

Мы стояли среди этой низины, не зная, что будет дальше. Никаких команд никто не подавал. Все поняли, что сейчас можно курить, и около тех, у кого не отсырели спички, возникли группки прикуривающих. Я вытащил из брючного кармана помятую коробку «Северной Пальмиры». Папиросы еще годились в дело. Я поделился с Логутенком. Он чиркнул зажигалкой, сделанной из патрона. Сырой табак тянулся плохо, дым казался кислотатым — и все равно это была благодать.

— Идемте, сиделище нашел! — сказал Вася Лучников, подойдя к нам.

— Мне сидеть не положено, — ответил Логутенок, а я пошел вслед за Васей. Шагах в двадцати в траве лежало бревно. Его, видно, занесло сюда весенним паводком. Мы сели на сухое и теплое дерево, и сразу же прибежало несколько человек. Все длинное бревно теперь было под сидящими. Мы сидели лицом к тому берегу, от которого ушли. Нам была видна группа военных с винтовками, человек двадцать. Трое, без винтовок, стояли отдельно.

— Что-то там насчет нас решают, — сказал кто-то из сидящих.

— А вдруг мир опять начался? — с надеждой молвил другой.

— Мир нам теперь будет на том свете, — мрачно высказался Барышевский.

— Вон как твой мир гремит, — сказал красноармеец Баркун, мотнув головой вправо. И правда, гремело не тише, чем утром. Только теперь грохот сместился к востоку.

— Он в нас снаряды какие-то новые бросал, — молвил Барышевский. — Видали — разрывы не черные, а рыжие какие-то.

— Не, нормальные снаряды, — сказал Баркун. — Мы на торфу здесь. Этот торф, когда его взрывом подымет, такой цвет дает. Торф, когда пластом лежит, черный, а на самом деле

он коричневый.

Сидящий справа от меня Рыбаков вдруг ни с того ни с сего плавно развел руки, будто растянул мехи гармошки, и пропел: «А вернешься домой, и станцует с тобой гордая любовь твоя...»

— Станцует, да с кем другим, — угрюмо пробурчал Барышевский. — Нас к тому времени Гитлер всех отоварит.

— Заткнись, — сказал я. — Сейчас бы поспать.

— Любил он явления природы: мимозу, грозу, осетра, котлеты, коньяк, корнеплоды и сон без кальсон до утра, — ровным голосом произнес Вася Лучников. Некоторые с насмешливым удивлением посмотрели в его сторону, а некоторые негромко засмеялись.

В траве спокойного темно-зеленого цвета желтели крупные лютики. Маленькие букашки, тихие твари, у которых нет души, а есть только жизнь, вползали на мокрые обмотки. Накурившись, мы развязали вещмешки и стали жевать хлеб и грызть кусковой сахар. Но есть не очень-то хотелось, и мы опять закурили. Сидели, негромко переговариваясь, впитывая в себя покой, ощущение неподвижности.

Через десять минут был дан приказ идти обратно. Мы пошагали по топкой пойме мимо воронок, опять перешли речку, опять вернулись в тот бор, из которого вышли, и повернули вправо.

27. Час атаки

На длинной и узкой поляне мы сбросили наземь скатки, вещмешки, котелки, фляги — так было приказано. Стеречь их осталось два бойца. Ноги у них были так натерты, что ни на что другое эти двое уже не годились. Контуженный тоже остался. С приоткрытым почерневшим ртом сидел он на груди шинелей, медленно и ритмично поворачивая голову то вправо, то влево — будто смотрел, не подкрадывается ли вор. Оба сторожа со стыдливой суетливостью, преувеличенно хромая, нагибались, зачем-то переключивали с места на место оставленные нами вещмешки.

Без полной выкладки шагать стало легко, будто то, что осталось у нас и с нами, — это всегда уже было нашим, от рождения. Мы шли, как приказано, цепью, с оружием наизготовку, с интервалами метров в семь, то сближаясь, то удаляясь друг от друга из-за мешающих держать равнение древесных стволов. Пулеметные очереди раздавались все ближе, и пули уже долетали сюда. Но они летели верхом, щелкая по стволам и роняя на нас веточки и сосновые иглы.

Мы вышли к опушке леса. Перед нами лежал луг, поросший кустарником. По краю луга шла неровная, загибающаяся вправо дорога. Дорога эта немного возвышалась над почвой, она была хоть и не мощеная, но насыпная; ее окаймляли кусты, росшие прямо из канав. Правее опушки, по сю сторону дороги, в канаве уже залегли бойцы какой-то незнакомой части. По ту сторону дороги тянулось поле, переходящее в небольшую высоту, состоящую как бы из нескольких горбов, покрытых мелким сосняком. На склоне высоты, то там, то здесь, невысоко над землей взлетало и опадало что-то желтоватое. Противник окапывался. Очевидно, на той стороне высоты были наши окопы, и он их взял, и теперь они были ему ни к чему: ему нужно держать этот склон. Солнце светило сбоку, и выбрасываемый лопатами песок словно вспыхивал и гас, вспыхивал и гас...

Мы ползком пересекли луг и залегли у дороги, слева от уже лежащих там. Отсюда мы должны идти брать эту высоту. За бегство с поля боя — расстрел на месте. Разрывов снарядов не бояться — нас будет поддерживать огнем артиллерия. К раненым не кидаться, не задерживаться около них под предлогом помощи; на это есть санитары.

Здесь мы лежали близко друг к другу. С высоты слышались пулеметные и автоматные очереди. Одна очередь прошла низко, кто-то закричал. Я лежал, и в голове у меня крутились странные мысли. Неужели на самом деле есть этот лес, это поле, эта высота впереди, и есть я, и это я сейчас лежу у дороги? Неужели все это правда?.. Десятилетие лет Колумбина

расцвела, как фиалка весной... А что, если у меня на бегу разматается обмотка? Я нагнусь, чтоб замотать ее, — тут-то меня и кокнут...

Над нами начали свистеть снаряды. Они разрывались где-то там, на высотке. Один разорвался близко от нас. Потом артобстрел прекратился. Оттуда, с высотки, вовсю били из пулеметов. Вдруг что-то — не свистя, а вроде бы шурша и вибрируя на лету — пролетело над нами и разорвалось где-то рядом. Кого-то ранило, он громко и тоскливо закричал, а кто-то другой закричал кому-то:

«Куда! Куда! Назад, сука такая!» И опять свист над нами и разрывы у высотки. Я поглядел на лежащего рядом Логутенка. У него было напряженное, страдающее лицо, даже припухшее слегка, как при сильной зубной боли.

Близко хлопнул pistolетный выстрел, прогремел громкий и неразборчивый командный выкрик. Я знал, что это означает, но подняться было страшно. Логутенок выматерился, больно толкнул меня в плечо и выскочил из кустов на дорогу. Тогда и я выскочил за ним. Пыльная мягкая дорога сразу уплыла из-под ног. Я пробежал сквозь кусты, что росли по другую ее сторону. Широкое поле, качаясь, полетело мне навстречу. Впереди меня бежало несколько человек, справа и слева тоже. Все мы что-то кричали.

Капитан Веденеев с симоновской винтовкой, тоже что-то крича, бежал впереди всех. Вдруг он упал, винтовка отлетела в сторону. Он поднялся и, уже без оружия, размахивая руками и наклоняясь все ниже и ниже, побежал куда-то в сторону и упал лицом вниз. Потом кто-то еще упал и закричал. Вася Лучников бежал близко от меня, немного впереди. Что-то прошуршало и с воем разорвалось перед ним, и он упал. Меня сильно толкнуло в бок, и я тоже чуть не упал. Я пробежал мимо Васи и сразу же забыл о нем. Впереди уже отчетливо было видно самое страшное: невысокие продолговатые горки песка и не то дымки, не то огоньки, мелькающие над ними.

И вдруг все это начало плавно исчезать, будто проваливаясь куда-то. Я почувствовал, что сбегая под изволок и вот очутился в зеленой длинной впадине. Здесь уже скопилось много наших. Пули сюда не залетали.

— Отсиживаться?! — закричал вдруг, вбегая в ложбинку, наш взводный. — Они же отходят!.. А ну! Бобичев! Дранков! А ты! А ты! А ну! Они же отходят!

Лейтенант побежал вперед, размахивая наганом, и мы взбежали за лейтенантом по небольшому, но крутому в этом месте откосу и опять очутились на ровном поле. И сразу же полоснула пулеметная очередь, и лейтенант упал, и еще кто-то тоже. Все остальные бросились обратно и залегли на склоне ложбинки. Потом вполз лейтенант. Его ранило в ногу. Кто-то кинулся к нему, стащил с него сапог и начал бинтовать ногу индивидуальным пакетом.

— Ведите огонь! — закричал лейтенант. — Нечего тут!..

Я оглянулся на него. Глаза у взводного были совсем круглые от боли. Но мне показалось, что даже сквозь эту боль он поглядел на меня с каким-то удивлением.

— Веди огонь, черномордый! — крикнул он, глядя на меня, и откинулся на спину.

Я подобрался ближе к вершине откоса, прицелился в вершину песчаного бугорка и выстрелил. И вдруг увидел, что выше окопа, по склону высотки, там, где один ее горб идет под уклон, примыкая к скату другого горба, пригнувшись, бежит между сосенок человек в темной, не в нашей форме, с автоматом. Он нес какой-то плоский ящичек, поблескивающий вороненым металлом. Я повел мушку за ним и, когда он пробежал в просвете между двумя деревцами, нажал спуск. Солдат остановился, будто увидел канаву, через которую нужно перепрыгнуть, выронил плоский ящичек и упал.

Когда замолчал их пулемет, бывший слева, мы вылезли из своего укрытия и на этот раз добежали до их окопов. Немцы из них уже ушли. Траншеи были неглубокие, недорытые. В нескольких местах они были разрушены прямыми попаданиями снарядов, в двух местах виднелись следы крови. Ни одного убитого мы не нашли. Валялись патронные гильзы, длинные коробки из плотного вощеного картона, несколько бинтов, окурки сигарет — вот и все трофеи. Дальше, через гребень высотки, мы не пошли, приказа не было. Они все время

били из автоматов по гребню, чтоб мы не перевалили через него, но в атаку тоже не шли. Пули их к нам залететь не могли, и мы отдыхали. Когда мы немного очухались, ко мне вдруг подошел Логутенок и сказал:

— Ты бы хоть вытерся. Глядеть тошно! Он вынул из кармана маленькое круглое зеркальце, на обороте которого имелась надпись «Помни меня, как я тебя!!!». Я посмотрелся в зеркальце. Все лицо у меня было в черных полосах и разводах. Так вот почему взводный обозвал меня черномордым! Противогаз мой пробило осколком, и из коробки сыпался активированный уголь, а я, значит, хватался за коробку, а потом за лицо: может, вытирал пот, поправлял пилотку. Я не помнил, как это было.

Когда стемнело, пять бойцов и помстаршины отправились в лес, где мы оставили свои вещи. Они принесли два старшинских мешка с консервами и несколько фляг. Воду мы нашли у склона высотки — там бил родничок. Вода пахла болотом, но пить ее было можно.

Ночью фашисты бросали осветительные ракеты и несколько раз поднимали стрельбу. Чуть стало светать, пришел приказ скрытно оставить позиции. Проходя через лес, через знакомую полянку, мы быстренько забрали свои вещи. Второпях каждый брал, что ближе лежит, и я схватил чужую скатку. Потом оказалось, что шинель Васи Лучникова. Она пришлась мне в самый раз. А моя так и осталась там в лесу.

Свой покалеченный осколком противогаз я бросил в немецкой траншее, и взводный приказал мне найти другой, а Логутенку дал указание проследить за выполнением. Когда мы проходили через рошу, что за деревней Озерцы, в стороне от дороги лежало несколько убитых — они, наверно, погибли при воздушном налете. Мы уже миновали их, как вдруг Логутенок сказал мне, чтобы я вернулся и взял там противогаз.

Я побежал к убитым. Ни оружия, ни вещмешков при них не было. Противогаз был только у одного, но я не сразу решился взять у него этот противогаз. Красноармеец лежал бледный, но не как мертвый, а как долго не спавший и только что уснувший человек. Он бы и совсем был похож на спящего, но на шее темнела рваная рана. Кого-то этот парень мне напоминал, но кого — я не мог понять.

Я осторожно снял с него противогазную сумку. Первый раз в жизни прикасался я к мертвому. Ни страха, ни отвращения я не испытывал, просто мне было его очень жалко: вроде бы это лежал я сам, а кто-то другой снимал с меня противогаз.

Уходя, я еще раз взглянул на него. Теперь мне показалось, что он похож лицом на Гришку только чуть постарше. Я вспомнил, что Гришка, когда он только что поселился в нашей детдомовской спальне №5, часто говорил, что у него где-то есть родной брат. Он, конечно, врал. Он был подкидыш и ничего знать о своей родне не мог. Просто ему очень хотелось иметь брата.

Недалеко от мертвого куст, вроде лещины, с широкими светло-зелеными листьями. Я сломал ветку, осторожно положил ему на лицо и бросился догонять своих.

28. Дымный день

Через два дня в бою у деревни Поддубье полк понес большие потери, а соседний полк был опрокинут. Всю ночь мы отступали по изрытому пыльному проселку. Далеко впереди двигались пушки разрозненной артбригады, прямо перед нами шли бойцы неизвестно какой части, позади тянулись повозки, группами плелись легкораненые; бинты их стали серыми от пыли. Ночь стояла лунная и душная, в пыльной полумгле слышались тяжелые, не в ногу, шаги, позвякивание металла. Позади, за льяными полями, за лесом, беззвучно колыхалось неяркое широкое зарево.

На рассвете через поле показалась церковная колокольня, кирпичная водонапорная башня с деревянным верхом и острой железной крышей. Потом стали видны товарные вагоны, они тянулись длинным красным забором. Когда мы подошли к станции, то увидели, что поезда стоят в несколько рядов, на всех запасных путях. Эта рокадная дорога была уже перерезана с юга. Городок при станции кишел военными из разных частей и подразделений.

Группами и в одиночку сновали красноармейцы; командиры с озабоченными и строгими лицами торопливо проходили по деревянным мосткам, заменяющим здесь панели. Некоторые из офицеров были в высоких званиях, даже с ромбами на петлицах.

Войдя в городок, мы пошли строем, а все вокруг шагало, двигалось, торопилось куда-то без строя, и казалось, что никакого порядка здесь нет, сплошная неразбериха. Но порядок все-таки был, просто мне не видны были те каналы, по которым шло его осуществление. Нас хорошо накормили из походной кухни, стоявшей в скверике возле собора, а потом батальонный связной, шагая рядом с нашим новым ротным, которым теперь стал лейтенант Белов, привел роту на место расположения. Это был лесокombинат, единственное предприятие городка. Здесь нужно было держать оборону, когда подойдет противник. А сейчас нам полагался сон.

При этом большом лесокombинате была маленькая мебельная фабричка, в ней мы и расквартировались.

В цеху готовой продукции, одноэтажном бревенчатом здании с беленным известью потолком и широкими окнами, состоящими из мелких квадратных стекол, рядами стояли неказистые буфетки, платяные двустворчатые желтые шкафы, поставленные друг на друга в несколько ярусов стулья, темно-зеленые табуретки. Пахло сиккативом, клеем, древесной стружкой. Казалось, мебель эта сделана только вчера — да почти так оно и было. Позже мы узнали, что фабрика работала, когда война уже шла, и закрылась недели две тому назад. В цеховой конторке на полу валялись накладные, листки копировальной бумаги; на стене висела первомайская стенгазета.

Хоть мебели было много, но и свободного места тоже оставалось немало: народу в роте сильно поубавилось. Каждый расположился спать как ему удобно. Я составил себе кровать из восьми табуреток, расстелил на них Васину шинель. Потом подтащил буфет, прислонил к нему винтовку, на раскрытых дверцах развесил обмотки и портянки, котелок и флягу сунул на буфетную полку. В изголовье положил вещмешок, пилотку и ремень, сапоги поставил справа от постели, чтоб в случае чего сразу попасть в них ногами. Все это я проделал очень быстро и вроде бы в полном сознании, но вроде бы уже и во сне, потому что потом не помнил, как я уснул, а помнил только эту техническую подготовку ко сну.

Мне приснилось, будто мы с Володькой и Костей сидим в нашей изразцовой комнате, едим сардельки, и вдруг к нам пожаловал Гришка. Он стал говорить что-то непонятное, и тут в нашу дверь кто-то начал сильно колотить не то кулаком, не то даже ногами. «Чухна, открой, ты же дежурный!» — сказал Володька. Я открыл дверь, и в комнату с испуганным лицом вбежала тетя Ыра. «Дядя Личность дарит всем подарки!» — плача сказала она и с шумом поставила на стол радиоприемник СИ-235. Из высокого ящика приемника, не подключенного к антенне, послышался нарастающий рев, стали раздаваться глухие удары, приемник начал раскачиваться на столе, потом все стихло.

Проснулся я оттого, что выспался. Было еще светло. Я не сразу сообразил, где нахожусь, потом вспомнил: я ведь на войне. Потом вспомнил, что видел во сне Гришку, но ведь его же нет. И лишь потом, когда совсем очухался, вспомнил, что Володьки тоже нет.

Спрыгнув со своего ложа, я надел сапоги на босу ногу и побежал во двор оправиться и умыться. Пробираясь к выходу между самодельных кроватей, заметил, что многие уже встали. Во дворе, плотно устланном старой серой щепой, Барышевский, нажимая на железный рычаг, качал воду. Вода лилась в наклонный деревянный желоб, и несколько человек, черпая ее ладонями, пили и умывались. Барышевский сразу же сказал мне:

— Покачай-ка для зарядки. Бомбежку проспал.

— ...?

— Над нами «юнгерса» восемь штук летели, я думал, всех нас отоварят. А они летели станцию бомбить, сильная бомбежка была. Зенитчики наши одного подшибли, да упал далеко... Дураки эти немцы, свою же добычу долбают. Дорогу-то, говорят, с двух концов перервали.

— Не наводи ты паники! — сказал кто-то из моющихся. — Кто это говорит?

— Гражданские говорят, вот кто. Сюда сторож заходил. Он и сказал. Уже эвакуация идет.

За забором лесокombината лежал длинный и широкий склон, и на вершине этого склона приказано было рыть окопы. Рыли не шанцевым инструментом — выдали настоящие большие лопаты. Ссохшаяся глинистая почва поддавалась плохо, потом пошел серый песок. Чем глубже становилась траншея, тем тяжелее было, втыкая лопату по штык, выбрасывать наверх этот сыроватый песок, никем еще до нас не копаный, — но было в работе и что-то успокаивающее, что-то дающее надежду. Ведь не зря же все это делается!

С откоса просматривался ручей, бегущий в ивняке, и за ним поросшая болотной травой низина, а за ней лес. Уже темнело, и чем темнее становилось, тем белее казались рубахи работающих. От станции через городок тянуло дымом и копотью. Там то опадая, то взметываясь в небо дрожащий свет пожара. Где-то очень далеко гремела артиллерия.

Когда так стемнело, что работать стало невозможно, нас накормили — есть-то можно в любой темноте. Все, кроме командира и часовых, улеглись спать. Я возлег на свои табуретки, и мне почудилось, что я тут живу и ночую уже давным-давно. Я вообще уже заметил, что чем непривычнее и несхожее с прежними место и обстановка, тем быстрее к ним привыкаешь. Пожар на станции полыхал все сильнее, его никто не тушил. В окна лез как бы красноватый светящийся туман, и в нем тускло обозначались все эти стулья, на которые после нас, быть может, никто не сядет, буфеты, в которые никто не поставит посуды.

Я думал, что ночью меня разбудят подменить кого-нибудь на посту, но меня дернули за ногу уже когда светало и когда я и сам готов был проснуться. Оказывается, старшина предназначил меня для иных славных дел, как выразился бы Костя. Логутенка, бойца Беззубкова и меня послали на станцию за «добавочным приварком» для роты. Логутенок шел за старшего, Беззубкова выделили на это как физически очень сильного — до войны он работал грузчиком в порту, — а меня выдвинул Логутенок. Он почему-то считал, что я совсем непьющий.

— Но чтоб ни одной бутылки не трогать! — предупредил он на всякий случай, вручая нам большие старшинские мешки. — От соседей двух послали, так один в дымину пришел, теперь его под трибунал могут упечь... Винтовки брать с собой, а больше ничего.

С винтовками за спиной и свернутыми мешками под мышками мы вышли из ворот лесокombината и пошли к центру городка.

Дым стлался по улочкам, небо затянуло ровными серыми облаками — оно словно защищалось ими от дыма, не хотело принимать его. Военных на улицах было куда меньше, чем вчера. Наверно, все уже заняли свои позиции.

Когда вышли на центральную, мощенную крупным булыжником улицу, увидели первые следы бомбежки: воронки, порванные телеграфные провода, какие-то тряпки и поломанные ящики на мостовой. Окна в некоторых домах вылетели, в других были закрыты ставнями, будто ночью. Перед каменным двухэтажным зданием школы стояли грузовики, два обшарпанных автобуса, несколько легковых «эмков», трактора с прицепленными к ним большими санями, конные подводы. Вокруг них толпились гражданские с узлами, сундучками, чемоданами. Некоторые женщины плакали, дети были бледны и молчаливы, будто их только что разбудили. Толстый мужчина надорванным голосом командовал, кому где размещаться.

— Соломкина! Лезь в кузов, тебе говорят! Брось кошку, тебе говорят!

Девочка лет двенадцати стояла возле лесенки, прислоненной к борту грузовика, держа кошку. Большая серая кошка пугливо прижималась к ней, положив ей на плечо голову. Никто, видно, эту кошку никогда не обижал, не бил, она привыкла не бояться людей, и теперь ее страшили не люди, а непонятная тревога, охватившая их.

— Брось кошку, тебе говорят!

Девочка испуганно отпустила руки, и кошка неуклюже, не по-кошачьи, оторвалась от нее и упала на мостовую. Девочка ступила на лесенку и заплакала, и сразу многие дети тоже заплакали в голос.

— Вон они, защитнички наши, топают! — крикнула какая-то молодая женщина, показывая на нас. — Вот они, защитнички-то! Топ-топ — от Гитлера!..

— Они-то чем виноваты? Стыдно такое говорить! — послышались голоса других женщин.

Мы шли, стараясь не ускорять шаг. Потом свернули в боковую улицу и невольно зашагали быстрее. Здесь было много разрушений. Из аптекарского магазинчика, где рамы были вырваны взрывной волной, горьковато потянуло полынью, и я сразу вспомнил Лелин дом, лестницу, ведущую к ней. Опять мне почудилось, что все это во сне. Неужели это вот я, а не кто-то другой, иду по этому городку? Неужели на мне вот эти брюки и гимнастерка х/б, и обмотки, и сапоги с кожаными шнурками — сапоги уже пообмявшиеся, но все еще пахнущие рыбьим жиром от той мази, которой я смазал их в военном городке? Неужели действительно есть все, что есть? И где-то далеко — нет, теперь уже не далеко, а страшно близко, потому что мы все отступаем и отступаем к Ленинграду, — где-то есть Леля? Сейчас лучше бы все удаляться и удаляться от нее — а потом вернуться.

Все эти дни я не вспоминал о Леле, но и не забывал ее ни на миг. Она все время была со мной тихим и незримым ощущением грусти и счастья. Она мне не снилась, ее внешний облик не возникал передо мной; она как бы прятала свое лицо от моей памяти, чтобы мне легче было переносить дни разлуки. И, словно по безмолвному ее повелению, я ни разу не раскрыл своей записной книжки, где хранил ее фото — то самое, где она стоит на фоне полотняного дворца. Но теперь горьковатый полынный запах так ясно напомнил все-все недавнее, ленинградское, что сердце защемило.

— Ходи веселей! — прервал мои мысли Логутенок. — Нечего унылость перед гражданскими показывать. Если мы будем носами книзу ходить, они подумают, что совсем дела плохие.

— А то хорошие? — буркнул Беззубков. — Уж куда лучше...

— Не сказать, что хорошие, но не сказать, что совсем плохие. На войне то так, то эдак бывает. Перебьемся, а там и по-нашему пойдет.

На крыльцо столовой, стекла которой были выдавлены взрывом, пошатываясь, вышел нестарый еще мужчина в белых брюках, в соломенной шляпе; дачному его виду странно не соответствовал пустой рукав, засунутый в карман светло-серого пиджака, на лацкане которого синел старинный треугольный значок ДР — «Долой рукопожатья».

— Патрулируем? — подмигнул он нам. — Ну и правильно! Порядок нужен! Амба! Румба! Зумба-кви! — Он ритмично затопал белыми парусиновыми ботинками по доскам крыльца и запел, сам себе дирижируя единственной рукой:

Бомба! Закройте двери!

Бомба! Гасите свет!

Бомба! Песок тащите!

Амба! Спасенья нет!

Исполнив этот номер, безрукий кинулся обратно в столовую, будто позабыл там что-то.

— Шуточки! — угрюмо сказал Беззубков. — Кому война, а кому хреновина одна. Развеселился!

— Может, он с горя веселится, — с неожиданной грустью в голосе произнес Логутенок. — Пьет, пляшет, а самому плакать охота...

— Стойте! Приказываю! — закричал кто-то у нас за спиной.

Послышался топот, нас нагнал какой-то толстый майор. За ним семенил худенький человек в блестящем от поношенности бостоновом синем костюме и в белой рубашке при черном галстуке. Майор был краснолиц, гимнастерка сидела мешком, как на солдате-новобранце. Справа на петлице не хватало шпалы — от нее на сукне остался чуть видимый невыгоревший прямоугольник. Кобура нагана была расстегнута.

— Стойте! Приказываю! — снова закричал он, подбегая к нам вплотную. Я заметил,

что глаза у него красные. Он походил на пьяного, но спиртным от него не пахло.

— Товарищ майор разрешите доложить выполняем приказ непосредственного начальника идем к вокзалу за питанием для роты, — без знаков препинания произнес Логутенок.

— Это вы успеете! Исполняйте мое распоряжение! Мне приказал лично подполковник Бельченко! Идемте со мной!

— Это тоже у вокзала, — сказал человек в бостоновом костюме, обращаясь к майору. — Ребята, это недолго, а потом пойдете по своим делам, — просительно обратился он уже к нам. — Надо ликвидировать животных... Их немного... Это быстро... Это необходимо в целях безопасности населения.

Несколько гражданских, все больше женщины, остановились и стали ждать, что у нас будет дальше.

— Исполняйте распоряжение, и нечего собирать публику! — Майор встал перед Логутенком, потом отвернулся и пошел вперед. Логутенок остался стоять на месте. Мы с Беззубковым тоже не двинулись.

— Они не слушаются, товарищ командир! — закричал человек в бостоне. — Прикажите им построже!

Майор вернулся, снова встал перед Логутенком.

— Товарищ майор, разрешите доложить... мы выполняем приказание непосредственного начальника идти за продовольствием...

— Исполнять мое распоряжение! — криком оборвал майор Логутенка и выхватил наган. Очевидно, уже ко многим обращался он со своим приказанием, и все отговаривались или просто удирали от него, и теперь он был готов на все.

— Слушаюсь, товарищ майор, — мрачно проговорил Логутенок. — Ребята, следуйте за товарищем майором.

Впереди вышагивал майор, за ним Логутенок, затем в паре мы с Беззубковым; шествие замыкал штатский. Он зорко следил, чтобы мы не драпанули. На ходу он объяснял, в чем дело. Две недели тому назад ехал по этой дороге передвижной зверинец откуда-то с юга, а на станции уже была пробка. Вагоны с ценными зверями («валютными» — уточнил он) кое-как прицепили к какому-то составу, увезли отсюда. А три вагона с менее ценными животными и всяким оборудованием сгрузили здесь. Теперь вывезти этих зверей нет никакой возможности, поезда не идут. А станцию начали бомбить, идет эвакуация. Если при очередной бомбежке будут повреждены клетки, может так случиться, что звери очутятся на воле, среди населения возникнет паника. Да и вообще что теперь делать с этими животными, чем их кормить? Кому за ними присматривать? Они все равно погибнут от голода. Ну что с ними делать? Ну?

Дым тек между домами. В душном воздухе висели хлопья жирной копоти. Майор теперь шагал рядом с нами, штатский впереди. Он вывел нас к рынку. Не было ни продавцов, ни покупателей. Обитые цинком прилавки печально мерцали в дыму, один их ряд был повален взрывной волной. Валялось множество листов синей плотной бумаги — той, что называется сахарной. Мы миновали рынок, скверик с переделанной в трансформаторную будку часовенкой, и наш вожатый подвел нас к длинному двухэтажному каменному зданию. Войдя в ворота, очутились в пристанционном дворе, между двумя слепыми кирпичными стенами; на них чернели крупные надписи: «За куренье под суд». С третьей стороны двора возвышался пакгауз с платформой, на которую выходило несколько железных дверей; две были распахнуты, и из них шел дым.

Длинный двор был пуст и безлюден, и только в дальнем конце его, у платформы, стояли на асфальте какие-то ящики. Что-то там пестрело около стен, но сквозь дым трудно было различить, что же там такое.

— Нам в тот конец, — сказал штатский. — Животные именно там.

Мы обошли две неглубокие воронки, в которых влажно чернела земля, подошли ближе к пакгаузу. У подножия платформы, и у стены, и просто на асфальте стояли и лежали

пестрые фанерные щиты с изображениями зверей. Все звери на щитах были злы, опасны — не дай бог на таких нарваться, когда они на воле! Огромный лев стоял на оранжевой скале, свирепо раскрыв пасть; лисица с коварной ухмылкой тащила в зубах окровавленную куропатку; медведь, встав на дыбы, злобно прищурил глаза, пер прямо на зрителя; волк, оскалась, стоял над трупом барана, наступив ему лапой на горло; обезьяна — и та, сидя на каком-то немисливо кудрявом дереве, глядела вниз, хищно ощерясь, — вот-вот кинется на кого-нибудь. Даже слон, изображение которого было поставлено вверх ногами, недобро выставлял вверх острые бивни; серый гофрированный хобот извивался, как трубка гигантского противогаса. Некоторые щиты были пробиты осколками. Тут же валялись легкие дощатые воротца с надписью: «ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗВЕРИНЕЦ». Лежала на боку пестрая будка-касса; над ее круглым окошечком синела табличка:

Взрослые — 50 коп., дети — 20 коп.

Красноармейцы и краснофлотцы при организованном посещении допускаются бесплатно

Клетки располагались неправильным квадратом, с интервалами, не вплотную одна к другой. Это были просто ящики разных размеров, добротные сделанные из толстых и гладких досок; у каждого такого ящика передняя стенка была не деревянная, а проволочная или из железных прутьев, смотря по зверю. Посреди этого каре клеток стоял зеленый стол для пинг-понга; за ним на желтом канцелярском стуле сидел бородатый старик со слезящимися от дыма глазами и открывал мясные консервы. Справа от него на столе валялось много пустых банок, слева лежал большой мешок, из которого он вынимал нераскрытые. Содержимое банки он вытряхивал на железный лист с загнутыми краями, на манер противня. При виде нас старик, словно нехотя, прервал свою работу, встал, вытер руки об мешок, неодобрительно покосился на наши винтовки. Он знал, для чего мы пришли.

— Хотел их лишний раз накормить перед смертью, — хриплым, пропитым голосом сказал он. — Благо консервы вон там, на путях, навалом лежат... Привели значит? — Он посмотрел на штатского в бостоне.

— Вот эти военные товарищи сейчас приступят к ликвидации животных, — сказал штатский старику. — Еще где-нибудь есть животные?

— Больше нигде нет, только эти бедолаги. Ценных всех увезли, — ответил старик, моргая слезящимися глазами. — Мне только расписку дайте, что звери списаны.

— Сейчас я напишу, — сказал человек в бостоне. — Сколько всего животных?

— Нет, вы — гражданская власть, мне надо от военных, это законно будет. Пусть вот товарищ командир напишет... А вы, ребята, осмотрите зверей и начинайте... Все одно они тут от угара или от бомбы погибнут. Кончайте их, все равно им не жизнь.

— На кого писать расписку? — спросил майор, вынимая из полевой сумки блокнот. — И потом, вы ведь от какой-то организации?

— Сейчас вам все документы дам, по ним и пишите. — Старик вынул из черного пиджака паспорт, какую-то книжечку и бумажку. — Тут список зверей...

— Петр Осипович Бучаренко... так... — сказал майор, положил блокнот на стол, рассматривая документы. — Так... так... А почему филармония? — как-то ошалело спросил он старика. — Почему филармония?

— Финансово и организационно передвижной зверинец подчинен их областной филармонии, — торопливо вмешался штатский в бостоне, будто боясь, что майор передумает и прикажет нам уходить, ничего не сделав. — Ведь это в Москве, или в Ленинграде, или там в Киеве филармонии на своем бюджете, а у них зверинец помогает как подсобное предприятие... Они разъезжают и делают сборы... Я, как финансовый работник, могу вам объяснить структуру...

— Ах, да что уж тут!.. — прервал его майор и, обернувшись к нам, приказал: — Приступайте. Распределите между собой кому... Исполняйте распоряжение!

Мы положили свои мешки на пинг-понговый стол, сняли винтовки со спины. Затыльники прикладов глухо тукнулись об асфальт. Майор сделал к нам шаг:

— Вы уж только их как-нибудь сразу... В голову, что ли, стреляйте, чтоб сразу. Чтоб они зря не мучились.

Мы обошли клетки. Звери выглядели не так, как на рекламных щитах. Они были тихие, пришибленные; забившись в дальние углы своих ящиков, они глядели на нас с тоскливым равнодушием. Только медведь бодро топтался у самых прутьев решетки, неумоимо мотал головой.

— Тебе — волков, рысь, гиенов, — приказал мне Логутенок. — Выполняй!

— Есть!

— Тебе — шакалов, барсука и еще вон того, — приказал Логутенок Беззубкову. — Выполняй!

— Есть!

— Мне, как старшему, медведь, потом кабаны, камышовый кот...

Я подошел к волчьей клетке, встал в положение стрельбы стоя, довел патрон в ствол. Живой волк был только один. Второй, мертво оскалив пасть и вывалив сизоватый язык, лежал неподвижно. Возле него на досках густо темнела кровь. Его убило осколком бомбы, в правой стенке клетки светилась пробоина. Живой волк стоял с опущенной мордой, перед ним лежала дощечка с расплывающейся горкой консервированного мяса, белела эмалированная латка, до краев полная водой. Услышав клацанье затвора, он мотнул головой, поднял на меня глаза. Они слезились от дыма, но в них не было никакого страха: он, наверно, никогда не видел оружия. Я целился ему в лоб, четко лежащий на мушке в заторе между двумя прутьями решетки, — а он стоял и смотрел на меня. Лучше бы он испугался или обозлился, а то он стоял и смотрел, вроде бы даже с каким-то интересом, не ожидая от меня никакой подлости. Поэтому я и медлил.

Справа грохнул выстрел, раздался хриплый рев, грузная возня, царапанье. Сразу же ударил второй выстрел, на миг стало тихо. Потом слева хлопнуло два выстрела. Волк отошел к дощатой стенке, и мне пришлось заново целиться в него. Теперь он стоял боком ко мне. Я нажал на спуск, и приклад больно толкнул меня, потому что я неплотно прижал его к плечу. Волк дернулся, упал, заскреб лапами по стенке и вытянулся. Стараясь не смотреть на его голову, я послал еще одну пулю в туловище, чтобы все было наверняка, и перебежал к клетке с гиенами.

Когда мы закончили это дело, майор заглянул в каждую клетку — проверил нашу доблестную работу. Теперь он был не краснолиц, а бледен. Похоже, что его подташнивало от этого зрелища, а может, от дыма.

— Спасибо, ребята, — сказал он. — Вы извините... Я понимаю, все это ужасно... — Он вынул из полевой сумки две пачки «Беломорканала» и протянул Логутенку: — Возьмите, пожалуйста, разделите на троих. Я ведь, собственно, не курящий... Все это ужасно... Вы свободны.

Мы взяли с зеленого стола свои мешки и отправились выполнять главное задание. На путях мы сразу же отыскали разбомбленный вагон с консервами. Вытащив из него два ящика, мы разбили их и стали наполнять свои мешки консервными банками. Таким же делом были заняты и гражданские: мужчины набивали большие мешки, женщины пихали добычу в авоськи и наволочки, ребятишки бегали с сеточками, с грибными ивовыми корзинами, кто с чем горазд. В соседних, неповрежденных, вагонах двери были раскрыты, там тоже всюду шуровали гражданские. Слышалась возня, треск взламываемой тары, жадно-тревожные возгласы. Над путями густо плыл дым, будто нагнетаемый гигантским вентилятором. Вдали, в красных коридорах между составами, волнами ходил огонь, полыхали вагоны и пробитые осколками цистерны. За пакгаузом горела лесная биржа. Там лежала целая роща или даже целый лес, только этот лес был очищен от коры и ветвей и уложен в штабеля, — и теперь там бушевал горизонтальный лесной пожар.

Наши мешки были полны желтыми, скользкими от противокоррозийной смазки

банками — тушеная говядина, Курганский консервный завод, — и Логутенок сказал, что надо немедленно возвращаться в часть. Он, кажется, побаивался, что Беззубков пойдет шарить по вагонам в поисках спиртного.

— Дай хоть покурить всидячку! — попросил Беззубков. — Мы еще упаримся, пока до лесокомбината с таким грузом допремся.

— Чего ж тут курить, когда и так дымина кругом, — возразил Логутенок. Но потом согласился: — Ладно, ребята, присядем покурим. Только чтоб от меня не отходить!

Мы зашли под навес из гофрированного железа и сели на прессованные пачки сухого ивового корья. Кругом стояли и лежали большие оплетенные бутылки, в таких перевозят кислоты; валялись связки ржавых матрасных пружин; стояли рулоны кровельного толя; пол был густо устелен тряпичной ветошью, какой обычно чистят станки. Логутенок вынул складной нож и открыл три консервные банки — по одной на брата. Вытащив из-за обмоток (а Логутенок — из-за голенища) ложки, мы стали есть тушеную говядину; мясо было теплое, будто подогретое. Потом закурили. Недалеко от нас, на путях, паровоз серии «Н» с пробитым осколком сухопарником стоял, тупо наклонясь над воронкой: он походил на большое искалеченное животное. Деревянная надстройка на каменной водонапорной башне от взрывной волны съехала набекрень. Мне вдруг почудилось, что вот так теперь все всегда и будет на свете, и ничего хорошего ждать уже нельзя. Мне стало страшно — не за себя, а за всех и за все. Неужели мы так и будем отступать? Неужели Вася Лучников был прав и нас разобьют? Зачем же тогда жить?..

— А майор-то ничего дядька, — высказался Беззубков, затыкаясь «Беломором». — Сперва на бас брал, а потом — «нате, ребята, курите».

— Нестроевик, грудь — что у старого зайца, — сказал с пренебрежением Логутенок. — «Исполняйте распоряжение!» — передразнил он. — Разве так в армии говорят! «Выполняйте приказ!» — вот как по-военному!.. А видать, человек не вредный... Чего мне нехорошо было — так это медведя стрелять. У нас в степи их не водится. В Ленинград когда меня перевели, в зоосад все собирался сходить — так и не сходил. Сестренка младшая в письме писала: «Леша, посмотри зверей, напиши мне, какой живой лев, какой живой слон, какой живой медведь...» Вот и посмотрел, какой живой медведь... Ну, хватит, накурились.

Шагать обратно было не так-то легко: мешки с банками давали себя знать. Ветер содрал с неба облачную пленку, солнце опять палило вовсю, в горле першило от дыма. Когда мы пришли со своей ношей на лесокомбинат, рота рыла траншеи, а Логутенку и мне приказали сменить бойцов, патрулирующих территорию.

С винтовками за спиной мы стали вышагивать между штабелями белых досок с черными, выжженными клеймами на торцах. Еще недавно эти доски предназначались на экспорт, может, в ту же самую Германию. Большие, аккуратно сложенные штабеля стояли, как домики. У них были даже крыши, тоже из досок. Домики без окон и дверей уходили вдаль. Целый городок, в котором даже сквозь дым чисто пахло свежим деревом, смолой — и еще дикой аптечной ромашкой, густо росшей в его переулках. Здесь было совсем тихо, и хотелось самому ходить тихо, чтоб не взболтать, не замутить шумом эту тишину.

Мы два раза пересекли территорию, потом наискосок пошли к решетчатому забору. Через дорогу, там, где поле подходило к леску, видны были зенитки под камуфляжными сетями.

— Теперь имеем право закурить, — молвил Логутенок, вынимая «Беломор».

— Здесь нельзя курить, — сказал я. — Вон там написано.

— Мы не склад этот охраняем, а тыл роты, — ответил Логутенок, чиркнув зажигалкой. — А доски эти охранять нечего. Завтра, может, сами их подожжем, чтоб ему не достались... Никак летят?

Издали нарастало натужливое прерывистое гуденье. Затем с юго-западной стороны неба показалось несколько точек. Они медленно увеличивались. По ту сторону дороги зенитчики, выскакивая словно из-под земли, бежали к своим длинноствольным пушкам, поправляя на ходу каски.

— Это «юнкерса» летят, — сказал Логутенок. — Занадобилась им эта станция!

Послышались резкие выстрелы зениток. Самолеты быстро выростали. Они летели в нашу сторону. Теперь они были почти что над нами; у одного я различил на крыльях черный крест, обведенный белой чертой. Зенитки лупили по ним всюду. Близко от нас на штабель упало что-то небольшое, отскочило, как градина.

— Осколки! — крикнул Логутенок. — Вон туда бежим!

Мы подбежали к окруженному штабелями колодцу и встали под небольшой железный навес. Колодец, до самого дна облицованный бетонными кольцами, был глубок; вода на дне его лежала, как черное масло. Одно бетонное кольцо выдавалось над землей, и мы стояли перед ним, а чуть подалее висела на столбе красная доска с двумя пожарными топориками и ломиком.

Раздался страшный нарастающий вой. Удар. Грохот. Земля качнулась. Откуда-то посыпались земля и щепа. Логутенок тихо опустился на землю.

— Колено... — услышал я его голос снизу, с утопанной глинистой площадочки. — Колено больно...

Я наклонился над ним. Он лежал как-то боком, неудобно. Лицо светилось странной белизной, будто в сумерках, хоть был солнечный день. Не помню, сколько минут и секунд прошло. Опять грохнуло где-то недалеко; дымная горячая волна ударила мне в щеку. Потом кругом послышались не очень громкие удары. Потянуло дымом, стало жарко. «Зажигалки кидает! — догадался я. — Надо уматывать отсюда, а не то сгорю».

Самый близкий к колодцу штабель уже занялся огнем, доски трещали.

— Колено... Сволочь... Ногу мне не шевели!.. Не тронь! Не тронь!.. — снова услышал я голос Логутенка, хоть я и не прикоснулся еще к нему, я совсем забыл о нем от страха.

Теперь, услышав этот хриплый голос, я нагнулся над самой головой Логутенка, схватил его под мышки и волоком потащил к проходу между штабелями. Здесь он мог сгореть. Винтовка его осталась лежать на земле, пилотка тоже. Втащив его в проулок между штабелями, я кое-как взвалил его себе на спину. Он стонал и ругался сквозь зубы. Тащить было очень тяжело — так тяжело, что страх за себя стал меньше. Вблизи по-прежнему свистело и грохало, отовсюду тянуло жаром и гарью. «И какой им смысл бомбить эти штабеля? — мелькнуло у меня. — Может, сверху им кажется, что здесь что-то другое?»

Уже не так далеко было до забора, когда путь мне преградил завал из горящих досок. Я свернул в боковой проход, потом еще раз свернул — и вдруг снова очутился у колодца. Здесь поыхало всюду. Я побежал со своей ношей обратно, свернул на этот раз налево и очутился в тихом месте. Штабеля здесь стояли в целости и сохранности, только со стороны тянуло дымом. Бомбежка вдруг кончилась, самолетов не стало слышно, и только зенитки почему-то продолжали бить.

Когда я подтащил Логутенка к забору и положил его на землю, снова с неба послышалось гуденье. Видно, «юнкерсы» пошли во второй заход. «Ну, теперь-то не так страшно», — подумал я. В этот миг рядом ударил ослепительный грохот, меня толкнуло в плечо и швырнуло прямо на Логутенка. Мне почудилось, что я куда-то лечу — лечу и никак не могу упасть. Потом ничего не стало.

Меня разбудила боль. Кто-то грубо, с силой вытаскивал меня из моего несуществования. Я начал кричать. Но или не слушали, или не слышали. Что-то закачалось подо мной, и я опять полетел куда-то, но теперь это было больно.

— Тот тоже живой! Неси! Неси! — услышал я из страшной дали писклявый голос санинструктора Денникова — и сразу не то уснул, не то кто-то выключил рубильник, и всюду стало темно и тихо.

29. Опять в Ленинграде

Этот госпиталь был развернут в помещении Дома культуры. Первые дни я лежал на правом боку в небольшой четырехкочной послеоперационной палате, у самого окна.

Оконный проем доходил почти до пола, и днем, когда поднимали синюю бумажную штору, я мог видеть улицу. Это была улица военного времени; и если б на моем месте лежал какой-нибудь марсианин, свалившийся сюда прямо с неба, он и то понял бы, что дело в городе неладно. Две витрины, заделанные досками, и угловое окно в нижнем этаже, забранное кирпичом, и узкая бетонированная амбразура в этом окне; а все остальные окна крест-накрест перечеркнуты бумажными полосами.

Ранение мое оказалось не то чтоб несерьезным, но для жизни не опасным. Просто я потерял много крови, так как нас с Логутенком не сразу хватились и не сразу нашли. Мне поранило левую руку чуть ниже плеча, не осколком бомбы, а обломком доски. Кость была цела, но в мускульной ткани застряло несколько щепок. Крупные щепки вытащили или вырезали — я не помню, как это происходило, — мелкие еще сидели во мне и выходили с гноем. Рука вздулась и болела.

Но постепенно я привык к боли. А когда я привык, то боль стала постепенно уходить. После каждой перевязки я чувствовал себя все лучше. Осталась только слабость, и все время хотелось есть, хотя кормили в госпитале хорошо: голодное время еще не началось.

Как только я немного очухался и начал понимать, что к чему, я попросил сестричку написать Леле; несмотря на то, что повреждена была левая рука, я правой писать не мог еще. Письмо пошло к Леле, и я стал ждать ее. По моим расчетам, Леля должна была явиться в госпиталь через день.

Мне почему-то казалось, что ее пропустят в палату в любое время, кроме ночи, конечно. Я представлял себе, как она войдет. Ее шаги я услышу еще издалека и притворюсь, будто сплю. Она войдет, но сразу меня не увидит, потому что я ведь лицом к окну. Она спросит Гамизова, что лежит на соседней койке, где же я. Тогда я запою будто бы пьяным голосом: «Скажите, девушки, подружке вашей...» Она засмеется, а может, и засмеется и заплачет, и подбежит ко мне.

Миновал день отправки письма и настал следующий. На душе у меня было спокойно и ясно. Сегодня к вечеру письмо придет по адресу, а завтра Леля придет ко мне, и сегодня я могу заранее радоваться завтрашнему дню. И сводка сегодня не такая уж плохая: наши крепко держатся под Лугой. Вдобавок я начал ходить. И теперь, выйдя в коридор, миновав умывалку, я спустился по лестнице на шесть маршей. Лестница была запасная, я никого не встретил. Потом, пройдя длинный коридор, я уперся в широкую стеклянную дверь, толкнул ее ногой и очутился на большой парадной площадке. Здесь за белым столиком сидела санитарка, около нее на стене чернел телефон. Санитарка читала книгу и при виде меня захлопнула ее. Это было «Красное и черное» Стендаля.

— Девушка, можно позвонить?

Она посмотрела в коридор.

— Звоните, но только чтоб недолго. И потом тут кнопки перепутаны. — Она подняла на меня глаза, и я понял, что она только что плакала. «Очевидно, из-за аббата Сореля», — подумал я.

Я снял трубку и, держа ее в руке, нажал на кнопку «Б», назвал барышне номер. Сквозь телефонные пiski и хрипы я услышал шум примусов от кухни, чьи-то шаркающие шаги. На самом деле ничего этого слышать я не мог.

— Номер не отвечает, — проговорила барышня.

— Вы потом можете еще раз позвонить, — сказала санитарка, пристально посмотрев на меня. — Это вы домой?

— Да, — ответил я. — Но там нет никого.

— Вы потом можете еще раз позвонить, — повторила девушка, встав с белого стула. — Я еще два часа дежурю... Скажите, вы часто писали домой, пока вас не ранило?

— Меня очень быстро ранило, — ответил я. — А что?

— Папа нам каждый день писал с фронта, а теперь одиннадцатый день нет письма. Как вы думаете?

— Просто полевая почта плохо работает. Потом вам сразу целая пачка писем

придет, — небрежно ответил я, направляясь к стеклянной двери.

— Это вы серьезно говорите? — спросила она, забегающая вперед и распахивая передо мной дверь.

— А с чего мне вам врать!

Я зашагал по коридору, не оглядываясь. Я знал, что полевая почта не так уж плохо работает.

Добравшись до своей палаты, я прошел мимо дверей, поднялся по какой-то лесенке в пять ступенек и очутился в узеньком безлюдном коридорчике, куда выходили узкие коричневые двери. «Костюмерная» — прочел я на одной, а на другой — «Гримерная». Я толкнул ногой дверь в гримерную. Это была маленькая комнатка с круглым, как иллюминатор, незамаскированным окошком и темно-вишневыми стенами. В одном углу ее стоял жестяной ящик с надписью «гипс медицинский», связками лежали тонкие деревянные брусочки, а подальше стояло красное плюшевое кресло; весело блестело большое, почти во всю стену, зеркало.

Осторожно, боясь удариться перевязанной рукой о подлокотник, я уселся в кресло. Из зеркала на меня глядел бледный, но не исхудалый бритоголовый субъект в серых полосатых пижамных штанах, в рубашке с завязками вместо пуговиц. «Вот до чего — и то ничего», — подумал я и стал смотреть в круглое окно.

Окно выходило на север. Внизу лежали застывшие волны крыш. Если бы стать великаном — можно было бы побежать по ним, с гребня на гребень, перепрыгивая через дворы и улицы, через Обводный, Фонтанку, канал Грибоедова, Мойку, Неву... Через десять минут был бы на Васильевском острове!»

Потом я загадал: сосчитаю до ста; если никто сюда не заявится и не погонит меня в палату, значит, завтра, и послезавтра, и вообще, и в частности, и во веки веков все будет хорошо. Я честно, не торопясь и не пропуская ни одной цифры, досчитал до сотни. Никто не вошел. Но я не торопился уходить. Давно не бывал один, все на людях, все на виду у какого-нибудь хоть маленького, да начальства. Я соскучился по самому себе. Теперь одиночество, как большое спокойное море, омывало меня, уносило куда-то. С каждой минутой на душе становилось легче. Затем я тихо вышел из комнатки, тихо вернулся в палату.

— «Доской раненный» пришел! Ура! — громогласно объявил Гамизов. — Ну, как первый выход?

Мне совсем не нравилось это дурацкое прозвище. Но рассказывать о том, что доской садануло меня, когда я вытаскивал Логутенка, было как-то неловко. Да и поди проверь: из медсанбата его отвезли в другой госпиталь.

— Слушайте, ребята, завтра ко мне должна прийти одна знакомая, так вы при ней так меня не называйте, — попросил я.

— Ладно, никто завтра тебя не будет звать «доской раненный», — ответил за всю палату Гамизов. — И никто девушке не скажет, что тебя повредило заборной доской. Ты герой-летчик: ты сбил пять «мессершмиттов», а шестой сбил тебя. Страна должна знать своих героев! Девушка будет гордиться тобой.

— Она знает, что никакой я не летчик.

— Не бойся, все будет в порядке. Мы ж понимаем... — Он уткнулся в «Борьбу миров» Уэллса, держа книгу обеими руками над лицом. Мне была видна обложка с зеленым гигантским марсианином; на трех железных ногах он шагал над горящим Лондоном. Гамизов много читал, но никак не мог привыкнуть, что в книгах действуют вымышленные люди. Вот и теперь, не отрываясь от книги, он начал выражать недовольство:

— Плохой, сволочной человек — и ничего больше! Трепач чертов!

— Чего ты ругаешься? — спросил я его. — Кто трепач?

— Артиллерист этот трепач — вот кто! Натрепал языком: будем с марсианами бороться, и то, и се — а потом размагнитился, пить стал, сдрейфил. Не люблю таких.

— Опять ты переживаешь! Ведь это только на бумаге.

— Сам знаю, что на бумаге, — обиженно ответил Гамизов. — Но не люблю нечестных людей... Вот нам бы сейчас такой тепловой луч, как у марсиан! Мы бы живо перешли в наступление, а там и до Берлина бы дошли.

— Луч в книжке только. Ты вот без луча дойди.

— Это ты дойди. Я никуда уже не дойду, — тихо ответил Гамизов, и мне стало стыдно за свои слова: у него была ампутирована правая ступня.

— Ты, Гамиз, извини меня. Я что-то не то сказал...

— Ты ж не со зла, просто не подумавши...

* * *

На следующий день я проснулся рано. До обеда Леля как бы с каждой минутой приближалась ко мне. Вот она уже выходит из дому, вот идет по Симпатичной линии к трамваю, вот входит в подъезд Дома культуры... Несколько раз я спускался на первый этаж встречать ее. Становился у стены, покрашенной бледно-зеленой масляной краской, под табличкой со стрелкой «Буфет» — и ждал. Проходили ходячие раненые, санитарки, медсестрички, врачи. Меня никто не гнал отсюда, но каждый, проходя мимо, скользил взглядом по мне, и стоять было неловко. Я переходил к другой стене, где висела другая табличка со стрелкой — «Радиоузел ДК». Потом шел наверх. На душе было тревожно, но рука почти совсем не болела и голова от ходьбы не кружилась.

После ужина мне стало казаться, что Леля не придет никогда. Теперь она с каждой минутой отдалялась от меня. Я уже не мог представить ее шагающей по улице, входящей в подъезд. Леля где-то там, на Васильевском. И Васильевский далеко-далеко и, как корабль, отплывает все дальше и дальше. Да, наверно, Костя прав: «Она не для тебя, Чухна. Когда-нибудь она от тебя уйдет и не вернется». Нет, этого быть не может!.. А если она больна?

— Что ты мрачно молчишь? — подал вдруг голос Гамизов. — Нечего психовать! Если девушка не пришла, то это еще ничего не значит. Сейчас время военное... Ты по телефону звонил ей?

— Нет у нее телефона.

— А у ее родных?

— У тетки ее есть на работе, да я не помню номера. А записная книжка пропала, ее, наверно, вместе с гимнастеркой выбросили. И справочное бюро теперь не действует.

— А ты говорил, что у тебя дома есть телефон.

— Я два раза звонил. Никто не отвечает.

— А ты третий раз позвони.

Я молча поднялся с койки, натянул пижамные штаны. В палате было тихо. Дежурная дремала в соседней маленькой комнатке на белом клеенчатом диване. Спустившись по запасной лестнице, я прошел знакомым коридором до стеклянной двери. За белым столиком опять дежурила та же санитарка. Глаза у нее на этот раз были не заплаканные, а какие-то выплаканные. Она сидела ссутулясь, глядя в одну точку, и хоть и узнала, но почти не обратила на меня внимания. Расспрашивать ее ни о чем я не стал. Нажав на кнопку «Б», которая на самом деле была кнопкой «А», я назвал номер.

— Кто там? Кто там? Кого надо? — услышал я громкий испуганный голос тети Ыры. Она всегда говорила в трубку таким тоном, будто абонент стоит за дверью квартиры с топором в руке. Всю жизнь она не могла привыкнуть к телефону. Узнав мой голос и узнав, что я в госпитале, она расплакалась, потом успокоилась и стала торопливо сообщать новости. От Кости писем пока что нет. Дядя Личность дней десять тому назад зашел на квартиру на полчаса. Он в военной форме, поздоровел, не пьет; сам о себе сказал, что был свинья свиньей, а теперь ради такого дела человеком стал.

— А Леля не заходила?

— Барышня твоя? Как же, как же, заходила! Дай бог памяти, сегодня воскресенье... Во вторник, пять дней тому назад заходила. Сказала, на окопы ее посылают, сказала, что тетя ее тоже на окопах, только не припомню где.

— А Леля где?

— Она там, где я в доме отдыха запрошлый год отдыхала. Только чуть-чуть в сторонку. Она адрес тут оставила, я тебе принесу.

Отдыхала тетя Ыра в Сестрорецке, это я помнил. Она всей квартире уши прожужжала этим домом отдыха — ей там очень понравилось. Значит, Леля где-то недалеко оттуда.

— А тебя как отыскать? — спросила тетя Ыра. — Я, может, к тебе соберусь.

Над телефоном висел свежеприколотый рукописный плакат «Не раскрывай адресов! Береги военную тайну! Враг подслушивает!». Под текстом был изображен молодой красноармеец с телефонной трубкой, а в другом углу плаката — смеющаяся девушка, тоже с трубкой. Между ними, в каком-то таинственном сводчатом подвале, сидел на ящичке шпион. Телефонный провод входил в одно его ухо и выходил из другого. Шпион был в штатском, на зеленых губах его играла злорадная улыбка. Плакат этот рисовал, наверно, какой-нибудь выздоравливающий или легкораненый. Я стал иносказательно объяснять тете Ыре, как найти меня. Она, очевидно, поняла.

— Папирос-то принести? — спросила она. — Курить на фронте не бросил?

— Пожалуйста, тетя Ыра! Каких угодно.

— Да уж по средствам принесу, «казбегов» и «пальмиров» от меня не жди... Ну, до свиданья.

Я повесил трубку. Мне вдруг так захотелось курить, что даже во рту сухо стало. С тех пор как меня садануло этой чертовой доской, я не сделал ни одной затяжки. Сперва я был без сознания, а потом, когда пришел в себя, мне было ни до чего, и уж никак не до курева.

— Больше не будете говорить? — спросила санитарка тихим, безразличным голосом.

— Нет, больше не с кем. Спасибо вам большое. Понимаете, до дому наконец дозвонился. Думал, что...

Девушка уткнулась лицом в ладони, стала тихо всхлипывать. Я стоял около нее, не зная, что мне делать. Никаких слов, чтоб ей стало легче, придумать я не мог. Я отошел от ее белого столика с чувством вины. «Ничего-ничего не могу для нее сделать, — подумал я. — Пусть сейчас она отплачется, а потом пусть всегда-всегда все у нее будет хорошо».

По пути в свою палату я зашел в курилку, длинную и узкую комнату перед уборной. Здесь был госпитальный клуб, народу — полным-полно, дым стоял — хоть ножом режь. Какой-то ходячий раненый досказывал анекдот. Анекдот был глупый и мирный, военных еще не успели придумать... «А он по стеночке, по стеночке взял да и вышел. Это про покойника-то!» Все стали хохотать. Мне припомнилась курилка в техникуме и как мы бегали туда каждый перерыв все четверо. Впереди несся Володька, за ним я с Костей, а Гришка, самый степенный, трусил рысцой позади. Здесь, в госпитальной курилке, такой же табачный дым, и стены такого же цвета, и разговорчики похожи. Только на окне — шторы из синей бумаги: светомаскировка. И если приподнять уголок шторы и заглянуть — ничего не увидишь. Ни огонька, ни лучика. Как в финскую. Только тогда затемнение быстро кончилось. А когда кончится это затемнение?

Я выбрал курящего помоложе и подбродушнее на вид и попросил оставить «сорок». Когда затянулся, голова сладко закружилась, сердце захолонуло. Будто нырнул в глубокий и теплый омут. Потом все быстро прошло, и я понял, что вот теперь-то я совсем окреп, и что скоро и рука совсем заживет, и что пора психически готовиться к выписке.

Тетя Ыра пришла через день.

Я сидел на койке и читал «Саламбо» Флобера, когда она вошла в сопровождении дежурной сестры. В руках тетя Ыра держала клеенчатую темно-зеленую кошелку. Поклонившись всем обитателям палаты, она выложила на мою койку пять пачек «Звездочки», пачку печенья «Школьник» и банку крабов «Чатка». Когда сестра вышла из палаты, тетя Ыра очень быстро и ловко вынула из своей кошелки четвертинку водки и

сунула мне под подушку.

— Солдату не грех водочки выпить, если в меру, — сказала она. — А крабы эти тебе от инженерши нашей. Она их банок тридцать купила, они свободно продаются... Некоторые, которым денег девать некуда, запасаются... И сухари некоторые сушат... Только сухариками-то не спасешься, потому все в руке божией. Как он распорядится — так и будет... А вас тут как кормят?

— Кормят нормально, жаловаться нельзя, — ответил я. — А на гражданке поджигают, говорят, с удовольствием?

— Поджигают, но ничего. Жить можно... Только дальше что будет? Сводки непонятные пошли, не разберешь, где немцы сейчас... Слухи идут, что они близко к городу... В семнадцатую квартиру двух беженек вселили из Елизаветина. А Елизаветино — это ж близко совсем.

Мы вышли в коридор.

— А как Леля выглядит? — спросил я. — Она здорова?

— Больной не выглядит, — ответила тетя Ыра. — Серьезная барышня. Порядочная, видать. Не то что иные вертихвостки... Хотя, если правду сказать, теперь и вертихвостки кой-какие за ум взялись. Вот Симку взять из девятнадцатого номера... Все, бывало, на темной лестнице с ребятами хороводилась, а теперь ночами на крыше дежурит, строгая стала. И убежище рыла со всеми вчера... Я тоже вчера после работы в Соловьевском саду укрытия копала. От жакта послали... Господи, чуть адреска-то не забыла тебе отдать. — И она откуда-то из-за пазухи вытащила бумажку, где Лелиной рукой был написан ее окопный адрес. Название деревни было незнакомое, но тетя Ыра тут же сказала, что это где-то недалеко от Сестрорецка и Белоострова.

Мне хотелось вытянуть из тети Ыры еще что-нибудь про Лелю, но тетя Ыра слишком мало ее знала. Леля была для нее «порядочной барышней», только и всего. Тетю Ыру больше интересовали другие люди.

— ...А Камышова-то из двадцать девятого номера поначалу раз по десять в милицию с улицы таскали, — повествовала она. — Он лицом на заграничного шпиона очень похож, да еще в брюках этих навывпуск, в гульфах — чистый диверсант. Как выйдет из дому в магазин — двух домов не пройдет, к нему сразу же женщина какая-нибудь привяжется: «Пройдемте-ка в милицию, проверьтесь на личность!» Тут другие еще подойдут, обступят — и в пятнадцатое отделение тянут. Только его оттуда отпустят, выйдет, пройдет три дома — опять какая-нибудь подкатится, опять та же история. Он уж взмолился в милиции: «Дайте мне, Христа ради, справку, что я нормальный гражданин, что не диверсант я! Ведь я пенсионер, холостой, в магазины за меня ходить некому. Я питаться должен!» А в милиции ему: «Снимите ваши гульфы, наденьте нормальные штаны — и ваше дело сразу полегчает»... Ну, теперь-то уже за шпионами гоняться перестали. Настоящий-то шпион в штанах навывпуск, в ботинках на толстой подошве ходить не будет, он...

— Тетя Ыра, а Костя как на фронт ушел? — прервал я ее рассуждения. — Какой у него вид был? Не грустный?

— А с чего ему веселым быть! — отрезала тетя Ыра. — Кому сейчас веселье, когда нехристи на нас напали!.. Костя все суетился, бегал по делам, потом два дня пропадал, потом вдруг в полной форме домой явился. Гимнастерка зеленая, военная, а брюки синие диагоналевые, как вроде у милиции. Это им всем добровольцам такую форму выдали... Угостил меня и инженершу плодоягодным вином, сам тоже хватил. Потом бутылку трах об стену. «На счастье», говорит... Я кинулась было осколки собирать, а он мне: «Осколки пусть валяются, я их уберу, когда с фронта вернусь».

— Что-то долго от него письма нет, — сказал я. — Моего нынешнего адреса он не знает, но мог бы вам написать. А может, он Леле написал и письмо лежит в кружке!

— Ему и писать, верно, некогда. Ты-то много с фронта писал?

— Я недолго был. А от Кости пора бы письму.

— Вежливый здесь персонал, — переменяла разговор тетя Ыра. — И порядок не хуже,

чем в доме отдыха. Докторша-то меня до самой палаты проводила.

— Это не докторша, это дежурная сестра по отделению.

— Все равно хороший порядок... На той неделе опять тебя навещу. А к Николе пойду — свечку за твоё здоровье поставлю. Перебои, правда, со свечками сейчас.

— Не надо мне свечек, тетя Ыра. Никакого толку от них нет.

— Хорошие вы ребята, порядочные, а в бога не веруете, — сокрушенно проговорила тетя Ыра. — А чудеса-то есть! Запрошное воскресенье я от обедни из церкви шла, так старушка одна прибочилась ко мне, аккуратная такая. Эта старушка мне по большому секрету сказала: «Это было недавно. В Лавре Александро-Невской на старинном кладбище старичок с крыльями появился. Ходит между могил, сам собой светится, а ни слова не говорит. Тут милицию вызвали выявить, кто такой и откуда. А он взлетел на склеп и заявляет оттуда: „Руками не возьмете, пулей не собьете, когда схочу — сам улечу. Делаю вам последнее предупреждение: идет к вам черный с черным крестом, десять недель вам сидеть постом, как встанет у врат — начнется глад, доедайте бобы — запасайте гробы. Аминь!“ Сказал он это — и улетел, только его и видели... Не к добру такое, Толя!

— Тетя Ыра, это вражеская пропаганда, они сейчас листовки всякие бросают на Ленинград. Вам бы эту старушку божию до отделения проводить и сдать. Она с чужого голоса поет.

— Ну-ну, уж так в отделение ее и тащить... Какой ты приткий! — отмахнулась тетя Ыра. — Значит, навещу тебя на той неделе.

Тетя Ыра ушла, а я пошел в библиотеку. Книги в ней остались от Дворца культуры, а библиотекарша была госпитальная, в белом халате. Она дала мне лист бумаги и четыре канцелярские кнопки. Прикнутив листок к обтянутому гранитом столу, я написал письмо Леле.

Ночью мне приснился этот дурацкий летающий старичок. Он порхал на прозрачных стрекозиных крыльях над крышами и дворами, в руке держал веночек желтых одуванчиков. Потом крылья его стали мутнеть, тяжелеть. Теперь оказалось, что я сам летаю, очень плавно и медленно. Вдруг кто-то дернул меня за крыло, и я упал и проснулся.

— Вниз, вниз! — приказала санитарка. — Все ходячие — вниз своим ходом!

За стеной выли сирены воздушной тревоги, били зенитки. Взрывов бомб не было. По запасной лестнице в бомбоубежище нехотя спускались ходячие, слышался стук костылей о ступени. Тяжелых санитары несли на носилках. Старший медперсонал наводил порядок, поторапливал отстающих. Сквозь поток движущихся вниз торопливо пробирались вверх дежурные по крыше — в ватниках поверх белых халатов, в дерюжных рукавицах. В свете синих лестничных лампочек все лица казались бледными. Город продолжал выть во все сирены, будто большой корабль, идущий в густом тумане.

В большом и теплом подвале светились матово-белые плафоны, стояли широкие скамейки и ряды серых фанерных шкафчиков — словно в предбаннике. Я вспомнил бомбоубежище в техникуме, где у нас шли занятия по военному делу и где произошел мой конфликт с Витиком Бормаковским.

Теперь я вспомнил Витика без всякой злобы. В сущности, я должен быть ему благодарен во веки веков. Ведь не произойди тогда этой стычки — не надо было бы мне ехать на Амушевский завод, и я никогда бы не встретился с Лелей... Но нет! В первую очередь я должен быть благодарным Люсенде. Именно ей. Ведь не ущипни я ее тогда по ошибке, не рассердись она на меня — и все бы пошло по-другому. Люсенда — щипок — стычка — разговор на чердаке с Жеребудом — Амушево — Леля. Значит, Лелю я встретил благодаря Люсенде.

Объявили отбой. Все заторопились в свои палаты. Я сразу уснул, и ничего мне больше в эту ночь не снилось.

30. Встреча

Через два дня меня перевели в «большую палату», где находились выздоравливающие. Она была развернута в танцевальном зале. Из конца в конец зал этот устали койками и больничными тумбочками — и все равно зал не казался тесным. Койки стояли где-то на самом его дне, а он своими белыми стенами, розоватыми пилястрами уходил ввысь, к молочно-синеватому потолку, к хрустальным люстрам. И хоть на каждой койке лежал человек, и соседи разговаривали друг с другом, в зале никогда не бывало шумно. Все слова, все возгласы всплывали вверх, как воздушные пузырьки, а внизу оставался негромкий, слитный, нераздражающий гул.

Еще недавно здесь танцевали. В проходах паркет стал уже шершавым, а под кроватями он был еще гладок и блестящ. Ночью, сквозь запах медикаментов и хлорки, робко пробивались прежние бальные запахи зала. Вдруг потянет восковой мастикой, духами, пудрой, туфельным лаком — и еще чем-то празднично-мирным, довоенным.

Оттого, что теперь, в сущности, я был здоров, а делать было нечего, мне стало плохо спать. Чтобы чем-то заполнить ночную пустоту, я вспоминал читанные книги и виденные фильмы. Вспоминал свою жизнь до встречи с Лелей. О Леле ночью я старался не думать. Но книги, фильмы, воспоминания — все это было как маленькие комочки земли, а бессонная ночь была — как глубокий ров, и эти комочки падали на его дно, а он оставался таким же глубоким.

Потом я научился растягивать минувшее время, расплющивать его, чтобы оно, как плоский, но все же прочный мост, повисало над черным оврагом бессонницы. Я вспоминал детдомовскую дачу в Орликове, где был огород и где каждый из ребят шефствовал над каким-нибудь его участком. Мне тогда очень нравилось копать гряды и сажать петрушку, укроп и редиску, а потом полоть, поливать, следить день за днем, как посеянное вырастает. И вот теперь я каждую ночь мысленно вскапывал грядки, и полол их, и следил, как растет все, что на них посеяно и посажено. Теперь я видел каждую грядку, каждое растение, каждую струйку воды из лейки и каждый след своих сапог в проходах между грядками.

Когда мой ночной огород дал мне все, что он мог дать, я начал думать о швертботе. Года три тому назад мы с Володькой мечтали построить свой швертбот или где-нибудь утащить старый и переделать его заново. Мы даже читали книги — как надо строить и ремонтировать спортивные суда. И вот теперь я стал представлять себе ночью, как бы мы с Володькой переоборудовали старенький, купленный по дешевке шверт. Я начал с того, какая будет каюта и какой кокпит, какие будут банки, и полочки, и шкафчик для еды. Я работал не спеша, обмозговывал каждую деталь. Из-за формы окошек мы с Володькой поспорили: он хотел, чтобы они были круглые, как иллюминаторы на большом корабле; я настаивал на прямоугольных — они дадут больше света, и в каюте можно будет читать, сидя на боковой банке. Потом Володька меня уговорил. Вернее, я вспомнил, что его нет в живых и надо с ним соглашаться. Мы покрасили суденышко в светло-зеленый цвет, а ниже ватерлинии — суриком. Теперь оставалось дать имя, и на это ушло много времени. Я предлагал простые имена: «Надежда», «Удача», «Симпатия»; Володьке нравились странные названия: «Саранчук», «Визионер», «Бандюга», «Инфекция». Потом мы пришли с ним к соглашению, и я изготовил из плотного картона трафарет; на носовых скулах судна появилась синяя надпись «Вероятность». Теперь надо было достать парусину и такелаж.

И вот швертбот был готов. На нем можно было отправляться в плаванье. Он стоял в ковше яхт-клуба, и я видел его так ясно, что, казалось, достаточно легкого толчка извне — и он возникнет в полной вещественности.

А иногда я мысленно отправлялся шляться по линиям Васильевского острова. Я не спеша бродил по Сардельской, по тихой Многособачьей линии, по уютному Кошкину переулку, выходил на проспект Замечательных Недоступных Девушек. Здесь было много народу, иногда попадались какие-то странные люди в странной одежде: ведь город принадлежит не только тем, кто в нем живет, но и тем, кто в нем жил, и еще тем, кто в нем будет жить после нас. Но я никогда не сворачивал на Симпатичную линию, не подходил к дому Лели. Что-то удерживало меня от этого. Я ждал, что Леля сама придет ко мне, не

мысленно придет, а на самом деле. Неужели мое письмо до нее не дошло? Или ее не отпускают?

* * *

В тот августовский ранний вечер я бродил по госпитальному саду. Только что кончилось занятие лечебной гимнастикой, до ужина оставалось час с небольшим, и можно было делать что хочешь: сидеть на скамейке под топодем и читать или ходить по дорожкам и думать о чем угодно. В саду еще не выгорел яркий желто-красный киоск, в котором когда-то продавалось мороженое и минеральные воды; теперь в нем в хорошую погоду сидела госпитальная культработница и выдавала для чтения журналы и книги. Еще не помутнели кривые зеркала за дощатой загородкой в «павильоне смеха». Можно было совсем бесплатно подойти к любому зеркалу и увидеть себя то толстым до смешного безобразия, то длинным и тощим, то каким-то уродцем с маленькой птичьей головой и круглым, как луковица, пузом. Из зеленой шестигранной беседки слышался хриловатый патефонный тенор. Патефон заводила санитарка, раненые сидели и слушали.

Любимая Клава, хорошая Клава,
Мой нежный цветок голубой!
И ты мне по нраву,
И счастье по праву,
И жизнь мне на радость с тобой...

Я подошел к высоким кованым, плотно закрытым воротам — теперь входить в сад можно было только через внутренний двор. По тротуару торопливо шагали хмурые прохожие; по мостовой, гремя и оставляя на асфальте белесоватую цепочку следов, прошли два танка; грузовой трамвай, звеня и натужно гудя, вез за собой две открытые платформы; на них стояли серые бетонные надолбы, бетон был еще влажен. К госпитальному въезду приближалась военная санитарная машина с красным крестом на темно-зеленом кузове.

Сегодня комиссар госпиталя сделал в «большой палате» сообщение о положении на фронтах. Враг подступает к Ленинграду. Я понимал, что это так и есть, что это правда, но сразу привыкнуть к этой правде я не мог — а привыкать было надо. Надо было понять для себя самого, что это такое. Но неужели по этой вот мостовой могут шагать чужие солдаты и вот по этому самому тротуару важно попрется какой-нибудь немецкий офицер, а жители будут уступать ему дорогу и будут опускать глаза, и все будет не так, как было еще недавно?! А что тогда будет с Лелей?

Я отошел от ворот, вынул из кармана больничной куртки пачку «Звездочки», коробок спичек, чиркнул спичкой. Левая рука уже действовала, но еще не так ловко, как правая. Коробок упал, раскрылся, спички высыпались на плотно утрамбованную песчаную дорожку.

— Не горюй, спички рассыпать — к неожиданным деньгам, — сказал раненый, ковылявший мимо на костылях.

— Почему к деньгам?

— Морская примета. Сколько спичек — столько рублей.

— Не надо мне сейчас никаких рублей.

— Ну и чудись! — строго возразил раненый. — Без денег только кошки мячат... У тебя что, беда какая?

— Так... Плохо как-то...

— А кому сейчас хорошо? Мне, думаешь, хорошо? Или вон ему хорошо? — он кивнул в сторону ворот, за которыми в это время проходил пожилой человек в кепке. — Всем плохо. А потом будет лучше. Только не сразу. Они нам из-за угла в поддыхало дали, а отдышимся — дело пойдет.

Он заковылял дальше, а я стал собирать спички. Из-под гонтового навеса слышался стук бильярдных шаров и голоса играющих. Из беседки доносилось:

Когда простым и ясным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг...

Мимо меня пробежала сестричка, крича кому-то в кусты: «Воденягин! Воденягин! Сейчас же к зубному врачу! Второй раз прячетесь! Взрослый человек!» Когда я тянулся за последней спичкой, то услышал негромкий Лелин голос.

— Толя! Толя, — сказала она. — Ты здесь?.. Я обернулся. Вначале мне показалось, что голос прозвучал из-за решетки ворот. Но Леля стояла передо мной. Она стала совсем смуглой, из-под платочка выбивалась выгоревшая челочка. На Леле было выцветшее крепдешинное платье, красное в белую горошину и узенькая, в обтяжку, серая кофточка.

— Лелечка!.. Ты...

— Толя, я прямо с вокзала. Меня отпустили на день. Сюда пускать не хотели, сегодня не приемный день. Но здесь Неуважай-Корыто...

— Какое корыто?..

— Ах, господи! Да это человек, а не корыто. Потом все объясню... — Она осторожно обняла меня. От нее пахло загаром, сеном, сосновыми иголочками.

— Пойдем куда-нибудь в тень, — сказала она, поднимая с земли кожаную авоську.

— Здесь нет тени, всюду народ, — ответил я. — Давай пойдем вот по этой дорожке...

А при чем корыто?

— Неуважай-Корыто, как у Гоголя. Это папа так его прозвал. Он дома у нас часто бывал, пока папа не уехал. А его фамилия — Корытовский. Они с папой вместе учились в школе, а потом папа пошел в горный, а он — в медицинский. Он здесь врачом у вас. Я его встретила у подъезда. И я спросила его, может ли он тебя на день выпустить в город. И он сказал, что постарается. Через неделю я опять приеду, и ты придешь ко мне домой... Ты обо мне очень скучал?

— А ты обо мне?

— Да-да-да. Очень... Знаешь, мы спим на сеновале, пять девушек и сколько-то там летучих мышей. Я одну рассмотрела: совсем не противная, мордочка хитренькая такая. Когда кончится война, мы с тобой заведем домашнюю летучую мышку.

— Ты там очень устаешь, Леля?

— Нет, я быстро привыкла землю копать. Видишь, какие ладони... Здесь всюду народ.

— Давай просочимся в одну комнатку, там есть тень, — сказал я. — Только ты иди так, будто ты здесь своя в доску, будто ты здешний персонал. Правда, халата на тебе нет...

— Халатов не дают, день не приемный... А как ходят свои в доску? Так? — Леля, не сгибая ног в коленях и размахивая авоськой, быстро зашагала вперед.

— Леля, а там спокойно? Не бомбят? — окликнул я ее.

— Нет-нет-нет! На нашем участке совсем тихо. Раз обстрелял финский «брустер», небольшой такой самолет. Никого не убило. Только Леле Ниткиной, моей теще, пуля каблук сломала и пятку чуть-чуть царапнула. Мы все к Леле кинулись, а она: «Не клубитесь передо мной!» Это ее любимое словечко.

— Леля! Теперь чинно шагай позади меня.

Мы вошли в здание, прошли мимо канцелярии, мимо многих людей и дверей, поднялись по лестнице, миновали ту палату, где я лежал вначале, до «большой», прошли мимо курилки. Никто нас не останавливал, никто не спрашивал, куда это и зачем идем мы вместе. Я уже давно заметил, что когда человек куда-то, или к кому-то, или к чему-то очень стремится, он создает вокруг себя невидимую зону благоприятствия. Но когда мы поднялись по узенькой лестнице на пять ступенек и вошли в маленький коридор, зона благоприятствия

кончилась. Я открыл дверь в комнату с надписью «Гримерная» и увидел, что в красном плюшевом кресле сидит толстая санитарка, а в руках у нее жестяной совок с сухим гипсом, и она сыплет этот гипс в большую четырехугольную банку.

— Вам чего? — спросила она.

— Мне ничего, — ответил я. — Идем, Лелечка, вниз. Не удалось нам с тобой побыть в тени.

— Милый, когда кончится война, мы всегда-всегда будем вместе. А сейчас лучше не думать об этом.

— Когда тебя нет рядом, я об этом не думаю. Я думаю о тебе, а не об этом. Но раз ты здесь...

— Бестолковая твоя Лелька! Так к тебе торопилась, что ничего не принесла тебе... Вот только это... — Она остановилась посреди коридора и стала вытаскивать из кожаной авоськи черные с золотом пачки «Герцеговины флор». — Это я на вокзале купила. Десять пачек.

— Слишком шикарные для меня папиросы. Такие курят те, у кого шпалы и ромбы. Зачем ты тратишься?

— Папа прислал много денег.

— Леля, не трать деньги зря. Ты же знаешь, что со жратвой на гражданке становится неважно. Еще неизвестно, что будет.

— Что будет — то будет, а чего не будет — того никогда не будет. Подпись: тетя Люба.

— У нее вообще странная философия... Леля, от Кости ты письма еще не получала? Он должен написать или тебе, или на тетю Ёру — у вас твердые адреса.

— Нет, не получала. Он не знает моего окопного адреса. Может быть, дома меня ждет его письмо. Тогда я тебе сразу перешлю. Ты беспокоишься?

— Да. Правда, на письма он очень ленив.

В госпитальный сад уже не пускали. Мы стояли в вестибюле под табличкой со стрелкой «Дежурный администратор». Проходящие мимо раненые и сестрички поглядывали на нас — вернее, на Лелю.

— Милый, я пойду. Девушки мне писем надавали, надо их разнести. А через неделю мы увидимся. Да-да-да!

31. Начало блокады

Но через неделю встретиться нам не довелось. Когда Леля ушла, на пути в свою палату я повстречал Великанова, его койка стояла через проход от моей. Этот Великанов представлялся мне очень старым, я удивлялся, как таких берут в армию; я даже не спрашивал, сколько ему лет, боясь обидеть. Теперь думаю, что ему было под сорок, просто он казался мне старым по сравнению со мной. Он любил всех поучать, ставя в пример самого себя. Этим он немножко напоминал Костю, только Костя занимался поучениями лишь в периоды своей прозрачной жизни, а Великанов делал это всегда.

— Проводил девушку? — спросил он меня и, не дожидаясь ответа, приступил к нравоучениям: — Девушка, надо понимать, хорошая, так с ней и вести себя надо порядочно. Вот ты ее по госпиталю за собой водишь, укромных местечек ищешь. Думаешь, люди не видят? Я в твои годы так не поступал, у нас во Мге за такое ухажерство камнями бы закидали!

— То Мга, а то Ленинград, — ответил я.

— Во Мге люди не хуже, — обиженно возразил Великанов. — А может, и получше. Я сам оттуда родом... Это она тебе таких хороших папирос принесла?

— Да. Хотите — берите пачку.

— Спасибо, не откажусь. Дают — бери, а бьют — беги.

Он взял коробку, открыл ее, понюхал папиросы. Потом продолжал:

— Да, одни вот девушек водят по госпиталю, а другие о семьях заботу проявляют. Я сейчас письмо домой послал, велел жене сына с дочкой забирать и в Ленинград переезжать,

тут у нее сестра на «Ленжете» работает... Ты знаешь, немцы к Чудову подошли, раненых оттуда к нам привезли, те говорят: Октябрьскую дорогу вот-вот перережут. А Мга от Чудова недалеко, она на Северной.

Я не сразу понял, что означает «дорогу вот-вот перережут», не сразу до меня дошло, что начинается блокада. Но все же меня удивило его решение.

— Из Ленинграда людей эвакуируют, а вы своих в Ленинград тянете, — сказал я.

— Эва-ку-иру-ют!.. — насмешливо протянул Великанов. — Неужели не понимаешь, что это военная хитрость? Я-то сразу раскусил! Надо голову на плечах иметь и собственными мозгами ворочать. — Он победоносно посмотрел на меня, и я подумал, что, может быть, он знает что-то такое, чего я не знаю.

Я пошел в большую проходную комнату, где к школьной доске была пришпилена карта Советского Союза — много меньше доски. Казалось, она окружена широкой траурной рамкой. Несколько человек стояли около карты и что-то тихо говорили. Они замолчали и покосились в мою сторону, услышав мои шаги. В люстре, свисающей с потолка, горела всего одна лампочка, и в ее свете трудно было найти небольшой кружок с надписью «Чудово», а красная ниточка железной дороги казалась совсем тоненькой и почти случайно нанесенной на карту.

— Вот какие дела... — сказал кто-то. — Перерубили... Теперь вся надежда на Северную.

— Мга далеко от Чудова? — спросил я, ни к кому не обращаясь. — Тут не разобрать.

— Мгу они могут через три дня взять, если таким темпом будут идти.

— Ну, Мгу им не отдадут...

— Мгу они, может, и возьмут, а Ленинград мы все равно им не отдадим.

* * *

На следующий день нам прочли обращение Военного совета Ленинградского фронта и горкома партии. В нем говорилось, что над Ленинградом нависла прямая угроза нападения. Враг пытается проникнуть к Ленинграду... Все слушали молча, да и о чем тут было говорить, о чем спорить. Ведь мы были не где-нибудь, а в самом Ленинграде, и среди нас было много ленинградцев.

Через два дня, когда на медосмотре врач спросил меня, болит ли еще рука, я сказал, что нет, не болит. На самом-то деле она еще немного побаливала, но признаться в этом было как-то стыдно, потому что вообще-то я чувствовал себя здоровым, и мне начинало казаться: вот, сижу здесь, будто не то симулянт, не то дезертир. После этого осмотра меня перевели в другую палату, которая находилась в фойе. В этой палате была уже не госпитальная, а полувоенная дисциплина, и мы работали по двору, на загрузке угля в подвалы около котельной и дневалили на кухне.

Через пять дней меня выписали.

Команду выписавшихся сопровождал госпитальный старшина. Он нас строго предупредил: если кто-нибудь из нас смоется, хотя бы даже в магазин забежит — пусть сам на себя пеняет. Это будет считаться как самоволка, а за самоволку сейчас ставят к стенке. Но никто и не собирался ничего такого делать, тем более что документы были у старшины. Нас было человек восемнадцать, и мы шли строем по улице, парами — как детсад на прогулке. Все мы были в поношенной форме второго срока, которую нам выдали на госпитальном матскладе при выписке, и только пилотки почему-то всем достались новенькие, прямо со швейной фабрики. У меня слегка кружилась голова и чуть-чуть познабливало — это не от слабости, а от впечатлений. Дома казались очень высокими, улицы чересчур широкими, людей на тротуарах было даже больше, чем до войны. Удивляли мужчины в штатском. К военной форме привыкаешь очень быстро, и столь же быстро гражданская одежда на мужчинах начинает казаться какой-то несерьезной, ненастоящей.

Из-за множества незнакомых людей, которым, как мне думалось, до меня нет никакого дела, из-за того, что я шел неизвестно куда, из-за того, что я даже не могу забежать домой и узнать, нет ли письма от Кости, — из-за всего этого я вдруг почувствовал себя одиноким и обиженным. Впервые в жизни я шагал по Ленинграду не как хозяин, а как гость. Но постепенно я втягивался в ритм шагов, в ритм города, и мне становилось легче и спокойнее. И когда старшина подвел нас к трамвайной остановке и скомандовал «вольно» я был уже в своем городе, у себя.

Мы вышли из трамвая на Выборгской стороне у красных казарм.

Опять начались построения, переключки, распределение по ротам и взводам, строевая учеба на плацу. Я в тот же день успел написать Леле коротенькое письмо и бросил его за забор. По ту сторону казарменного забора все время, даже по ночам, стояли женщины — они подкарауливали выход маршевых рот, чтобы повидать своих близких. Белые треугольники писем они сразу поднимали и относили к почтовому ящику.

В этой казарме долго не держали. Через день всех построили на плацу перед манежем в четыре длинные шеренги. Между шеренгами были большие интервалы, и какой-то пехотный старший лейтенант со старшиной стал ходить вдоль рядов, отсчитывая себе столько бойцов, сколько ему, очевидно, нужно было по разрядке. Я стоял в четвертом ряду, ближе к левому флангу, и до меня старший лейтенант не дошел, остановился человек за пятнадцать; больше ему не надо было. Всех, кого он отобрал, построили в колонну по четыре в ряд, велели запомнить свои места и распустили на десять минут, чтобы те, у кого есть вещмешки, взяли их у дежурных. А нам, оставшимся, приказали пока разойтись.

Через час нас опять построили, присоединив к нам новичков, — некоторые из них были в гражданском, с чемоданчиками и узелками, а некоторые в форме, как мы. Теперь вдоль шеренги прошел лейтенант в темно-синей летной шинели и в темно-синей пилотке с эмблемой ВВС. Он внимательно и строго вглядывался в лица, некоторым задавал вопросы. Я испугался, что он меня отбракует, если узнает, что я только что из госпиталя. Но он прошел мимо, ни о чем не спросив.

Через час колонна направилась к казарменным воротам. Я шел во втором ряду. Когда первый ряд ступил на панель, лейтенант скомандовал «левое плечо вперед». Я решил, что он ошибся, и повернул влево, но мой сосед толкнул меня, и я понял, что ошибся не лейтенант, а я. Колонна повернула вправо. Мы шли на север от Ленинграда.

— Как думаешь, куда нас ведут? — спросил я соседа.

— Нас просто в другие казармы переводят, — ответил он. — Нас на летчиков учить будут, сейчас в летчиках нехватка.

«Нет, — подумал я, — не похоже, что из нас будут делать летчиков. Хоть время и военное, но все равно в авиаучилища отбор, наверно, строгий. А тут и Великанова не отбраковали, он вместе с нами шагает; ведь он просто по возрасту в пилоты не годится».

Великанов шагал через человека от меня. Он был хмур и молчалив: вчера сдали Мгу. Но, услышав наши разговоры, он оживился и начал поучать.

— Что вы в военном деле петрите! — строго сказал он. — Надо не задницей, а головой думать! Вот я сразу понял, чем тут пахнет. Тут дело морской службой пахнет. Нас в Лисий Нос ведут, а оттуда в Кронштадт на катерах переправят. Мыслить не умеете!

— А почему же лейтенант в летной форме? — спросил я.

— Маскировка, вот почему, — отрезал Великанов. — Однако умный человек такие детские хитрости сразу раскусит. Я мигом разобрался.

Через несколько часов мы пришли на аэродром. Вернее, нас разместили в одноэтажной деревянной казарме с цементным полом и двухэтажными нарами, а казарма эта находилась около аэродрома. Рядом стояло еще несколько таких же строений, а за ними простиралось поле. Оно не было залито бетоном, на нем росла трава, но это было летное поле. Виден был небольшой самолет, а по краям, там, где начинались кусты, стояло еще несколько самолетов.

Нас отвели в большую столовую и очень хорошо накормили. Вечером свели в баню и выдали всем новое обмундирование. Теперь мы носили голубые летные петлицы с

«птичкой». Но пилотом никто из нас не стал. Мы попали в БАО — батальон аэродромного обслуживания.

32. Встреча в декабре

Опять я был при винтовке, на этот раз с коротким стволом. Опять у меня были две гранаты РГД и вся солдатская амуниция. Но настоящим нашим оружием стали лопаты и топоры. Мы выстроили глубокое, в два подземных этажа, КП авиачасти, отрыли и оборудовали «гнезда» для самолетов — подковообразные капониры, рыли запасные блиндажи и землянки. Иногда нас везли на грузовиках в лес, там мы валили сосны, обрубали со стволов сучья, — готовили бревна для накатов. С летчиками и даже с технарями мы дела почти не имели, они маячили где-то вдалеке, недоступные, как боги. Иногда нас по несколько человек посылали выкатывать на летное поле самолеты. Пол в капонирах был несколько ниже уровня аэродрома и шел чуть-чуть под уклон. Выкатив «Чайку» или И-16 из гнезда, мы ждали, когда в кабину сядет летчик. Потом, когда мотор начинал работать, а винт начинал крутиться, мы бежали за машиной, подталкивая ее. Затем раздавалась команда «отставить». Дальше самолет бежал своим ходом; от него шел ветер, поднимающий пыль и сгибающий редкую траву. «Чайка» взлетала на другом конце поля, а мы шагали на свою «летную практику» — копать землю.

Хоть шла война, режим у нас был казарменный, а не фронтовой. Мы вставали по команде «подъем» всегда в одно и то же время — в шесть часов, когда из казарменного репродуктора доносилось:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Надев брюки, но не надевая гимнастерок, мы выстраивались вдоль нар на медосмотр, или, как говорилось неофициально, «становились на вшивость». Приходила санитарка и осматривала воротнички рубашек. Но вшей пока что не было, хоть некоторым очень бы хотелось их иметь: у кого обнаруживали педикулез, того посылали на день в Ленинград на санобработку. Спать мы ложились по отбою, и хоть нары были общие, но у каждого был свой матрас, свои простыни, подушка и одеяло. Кормили в столовой — и, до поры до времени, очень хорошо. До войны, на гражданке, я ел хуже. Вспоминая прежний сарделечно-кисельный рацион, я невольно думал о том, что здесь, при такой работе, я бы на нем протянул ноги. Солдатское денежное довольствие здесь было больше, чем в пехоте: не двадцать, а пятьдесят рублей в месяц. И курили мы не махорку, а «Звездочку», а иногда даже и «Беломор». Как-никак мы служили в военно-воздушных силах.

От Лели письма получал я часто и часто писал ей. Она по-прежнему работала на окопах, но теперь уже в другом месте, где-то у Уткиной заводи, совсем близко от города. Приехать ко мне она не могла, ее бы не отпустили, да я особенно и не звал ее к себе, потому что порядки в БАО были строгие, и меня бы, пожалуй, просто не вызвали к ней. Здесь было строже, чем в пехоте, потому что здесь по-настоящему воевали только летчики. В свободное время я перечитывал Лелины письма, они были нежные и немного грустные. О бомбежках и обстрелах Ленинграда она ничего не писала, будто их и не было, — может быть, просто чтоб не огорчать меня.

Но я-то знал, что город теперь бомбят и обстреливают. Аэродром находится не так уж далеко от Ленинграда, и по вечерам на юге видны были размытые, неясные световые полосы — лучи прожекторов. Видны были вспышки, короткие и беззвучные, похожие на июльские зарницы в ту пору, когда созревает рожь. Иногда горизонт начинал колыхаться, набухать темно-красным цветом: значит, что-то горит. В ночь на девятое сентября зарево было очень сильное и долго не спадало.

На другой день прошел слух, что сгорело много домов и что второй день горят

Бадаевские склады. Через четыре дня стало известно, что в Ленинграде вторично сократили хлебную норму и что рабочим теперь дают пятьсот грамм, служащим и детям триста, а иждивенцам только двести пятьдесят грамм. Тогда говорили, что из-за того, что на Бадаевских складах стorerело много муки. У нас же пока что никаких ограничений не было и еды хватало, хоть мы и тратили много сил на работе.

В октябре нам сократили норму, кормить стали похуже. Теперь мы съедали без остатка все, что нам давали. До этого нарезанный хлеб лежал в столовой на столах, и каждый брал сколько хотел; теперь его стали выдавать пайками. Голода еще не было, но иные уже начали поговаривать, как хорошо они ели до войны. Еще недавно наряд на кухню считался чуть ли не самым плохим, от него всячески отвиливали; теперь всем хотелось дежурить на кухне, и некоторые из-за этого лебезили перед начальством.

Главные строительные работы на аэродроме уже закончились, все, что надо сделать, сделали, и часть бойцов откомандировали в город, говорили — в пехоту. Уходящие были довольны, потому что в пехоте хоть и опаснее, но зато на переднем крае кормят по первой армейской норме, да и начальство там не такое придирчивое, потому что само ходит под пулями. У нас на аэродроме теперь была вторая армейская норма снабжения, тыловая. К летчикам это, конечно, не относилось. Но и не летчикам жить еще было можно. Я накопил немного хлеба и несколько кусков сахара и с одним откомандированным переслал Леле. Она сразу же прислала письмо, чтоб я этого больше не делал, потому что ни в чем она не нуждается. Но я-то знал, что в Ленинграде становится все хуже и хуже.

Тех, кого не отчислили из БАО, заново распределили по ротам. Меня и еще нескольких влили в автороту. И я, и эти бойцы понимали в автомашинах так же мало, как и в самолетах, но этого от нас и не требовалось. Мы несли вспомогательную и караульную службу.

Теперь я жил в землянке. Взводная землянка была большая, человек на пятьдесят. По обеим сторонам ее шли одноэтажные нары-лежаки; с правой стороны нары прерывались большой кирпичной печкой; точнее сказать, они примыкали к ней почти вплотную. В передней части землянки был тамбур, а в конце — небольшое окошко и стол. Вправо от стола — дверь в отсек помпотеха. По-прежнему спали мы на матрасах, имелись и простыни, и одеяла, но теперь и шоферам, и трактористам, и нам, новичкам, все чаще приходилось спать одетыми — из-за частых нарядов. Появились и вши, но недавней ценности они уже не имели: в Ленинград на санобработку из-за них теперь не посылали.

Аэродром на моей памяти бомбили только два раза, да и то, к счастью, никого не убило. Снаряды до нас вообще не долетали. А в Ленинграде...

Стоя с винтовкой на ночном посту возле склада ГСМ или возле гаража спецмашин, или патрулируя тылы капониров, я часто видел огненные сполохи и красноватые, неяркие, медленно расползающиеся пятна на южной стороне горизонта. Осенние ночи становились все холоднее, воздух все прозрачнее, и с каждой новой ночью Ленинград словно понемножку приближался ко мне.

Я знал, что Леля в Ленинграде, что тетка устроила ее работать на фабрику и что у нее рабочая карточка. Но от этого было не легче: Леля подвергалась теперь куда большей опасности, чем я. Это казалось мне странным и несправедливым, и было немного стыдно за себя, хоть я в этом был не виноват.

Но даже самое плохое не бывает сплошь плохим и даже самое грустное не бывает сплошь грустным. Никакой беде не сплести такой сети, чтоб в ней не было прорех. Я уже перестал надеяться, что Костя остался в живых, — и вдруг от него пришло письмо из Челябинска.

«Привет, Чухна!

Писал тебе на полев. почту и на наш домашний адрес — но никаких ответов. Теперь решил написать на Лелин адрес. Если она не уехала из Л-да и если ты не ушел с физического плана, то, конечно, отзовешься. Буду ждать ответа, как соловей лета (по выражению провинциальных девиц). Получив ответ, пришлю тебе

подробный самоотчет.

А пока даю краткую сводку. Был в боях левее Луги (если смотреть от Л-да). Ранен за дер. Утица в правую нижнюю конечность. Касательное осколочное. Сперва вытасчен в ближний тыл, потом увезен в дальний, где обретаюсь поныне. Две недели, как выписался из госпиталя. Хожу не хромя. Поступил работать на один завод. В армию меня больше не пускают — не из-за раненья, а из-за наличия отсутствия присутствия левого глаза. Сразу по выписке из госп. ходил ругаться в здешний военкомат, но там говорят: одно дело — когда шли в ополчение, а теперь одноглазые на фронте не нужны. А ведь Кутузов, Нельсон и Ганнибал (см. 2-я Пуническая война) страдали тем же физич. недостатком — и ничего, воевали. Третьего дня вызвали в военкомат, но по др. поводу. Из дивизии сюда добрел приказ о награжд. «Кр. Звездой». Выдадут орден, когда будут знаки (т. е. сами ордена, их сейчас нет здесь). Сообщаю это, не чтоб пофасонить, а чтоб ты знал, что наши детдомовские себя не срамят. Если ты жив и не покалечен, лупи фрицев почем зря!

Со жратвой здесь так обстоит, как у нас обстояло за пять дней до стипендии, с куревом — то же самое. Плодоягодные удовольствия отменены временем. Прозрачная жизнь!

Леле — поклон!

С безалкогольным приветом.

Твой друг Константин».

Дальше шла приписка с подробным адресом.

* * *

В конце октября меня и еще двух бойцов под командой сержанта Пономарева послали в лес, что за деревней Антипово. Мы прошли километров восемнадцать, миновали деревню, в которой теперь стояли тылы пехотного полка, потом километра три прошагали по лесной дороге в северо-восточную сторону. В сосновом лесу на краю поляны виднелась небольшая избенка, вроде охотничьего домика. В ней была печка-плита финского типа и три широкие скамьи, на которых вполне можно спать. Мы временно поселились в этой избушке, сменив четырех бойцов, — они вернулись в БАО. Вечером и по ночам, в точно указанное время и на точно указанный срок, мы зажигали на поляне несколько костров, располагая их по заранее заданной схеме. Вот и вся работа. Топлива в лесу было много, недалеко протекал ручей, из которого мы черпали брезентовыми ведрами воду, чтоб точно, минута в минуту, как предписано, заливать костры. Кроме брезентовых ведер, нам оставили два топора и пилу, и мы выискивали в лесу сухостойные деревья, рубили их и пилили. Еду мы поочередно варили из пшена и консервов, которые нам дали на десять дней. Чтоб не демаскировать избушку дымом, мы бросали в топку самые сухие поленья и ветки.

Жили мы дружно, сержант Пономарев оказался человеком хорошим и званием своим не кичился. У него нашлась колода карт, и мы все время играли в очко на запись, без отдачи. Иногда играли и в дурака, и тогда проигравший должен был принести из лесу охапку хвороста. Мне даже нравилось проигрывать и ходить за хворостом. В лесу стояла тишина поздней осени, лишь изредка с переднего края доносилась стрельба нашей и финской артиллерии. С кустов у ручья давно опали листья, они доверчиво и грустно ложились под ноги, ломко шуршали. Ручей мелел с каждым днем, будто хотел спрятаться в землю от холодов. Я думал о том, как хорошо мне было бы здесь с Лелей, — только, конечно, без войны.

Иногда над нашими сигнальными огнями пролетали два или три наших самолета; что они наши, Пономарев определял по шуму моторов. Тогда на душе у меня становилось веселей — значит, не зря мы здесь, значит, и от нас какая-то польза. Но иногда костры

горели, а с неба не слышалось ничего, и с переднего края не доносилось ни одного выстрела, и тогда нас всех начинало томить чувство неизвестности, и всем становилось не по себе. Мы ничего не знали. Что творится сейчас в мире? Вдруг немцы прорвались в Ленинград и там идет бой на улицах и площадях? Может быть, половина Ленинграда уже в огне и развалинах, а мы сидим здесь в тишине и тепле, играем в очко и подкидного дурака, жжем костерики, которые никому теперь не нужны.

За несколько дней до двадцать четвертой годовщины Октября сильно похолодало, а за день до праздника выпал снег. Зима обещала быть ранней и суровой, и утешало только то, что врагам будет еще холодней, чем нам, — мы как-никак привычные. Праздник мы встретили в той же избушке. Пономарев извлек из своего вещмешка пол-литра водки, завернутые в запасные портянки, и еще выдал нам по пятьдесят грамм копченой колбасы и по две пачки хороших папирос «Шутка» — десять штук в пачке. Все это он получил на группу сверх пайка, чтобы мы отметили годовщину. О нас, значит, позаботились заранее.

Через два дня пришла смена. Сменщики заявили нам, что мы здесь жили как графы: в БАО с восьмого ноября уменьшен паек, норма хлеба теперь — четыреста грамм. Еще они сообщили, что сдан Тихвин. Но зато известно, что на помощь Ленинграду откуда-то с севера идет генерал Кулик с огромной армией.

В часть мы возвращались уже по зимней дороге, сквозь метель. Метель была не осенняя, падали не влажные крупные хлопья, как бывает обычно в это время года, — нет, крутился вихрями мелкий колючий снег и, падая, не таял.

Когда пришли в БАО, все стало хуже. В землянке только и разговоров было что о еде, о том, как хорошо и сытно жилось до войны. Со стороны можно было подумать, что до войны все были богачами, пили-ели что хотели. Призванные из деревень рассказывали о свинине, о шпике и сале, о яйцах и молоке; городские вспоминали продуктовые магазины, где можно было купить что угодно: колбасу любого сорта, курятину, масло, говядину, сыр. Для воспоминаний выбирали самые жирные, самые вкусные и высококачественные продукты. Мне вспоминалось, как в дни своего дежурства я запросто бегал в угловой магазин на Средний проспект за полкило или целым кило сарделек. Дорваться бы мне сейчас до такого магазина! Я побежал бы туда не с авоськой, а с наволочкой, а то и с большим дровяным мешком! Я набил бы его доверху!.. А мясные консервы! Сколько осталось их там на запасных путях, ведь мы тогда с Логутенком и Беззубковым унесли ничтожную долю того, что можно было унести. И — какие дураки! — съели тогда на станции только по одной банке. А ведь можно было есть сколько угодно!

Чтоб обмануть чувство голода, некоторые бойцы стали пить крепко подсоленный кипяток. Это строго запрещалось, и санинструктор говорил, что это вредно. Но проверить пьющих рассол было трудно: питались мы уже не в столовой, а получали горячую пищу на кухне и с котелками шли в землянку. Котелки подогревали в печке, ставя их возле самого огня. Те, кто пил соленую воду, постепенно становились вялыми, сонными, лица их опухали, ноги отекали.

Пока что я переносил недоедание легче, чем многие другие. Может быть, сказывалась тренировка. Ведь до детдома, когда я был беспризорным, мне приходилось то нажираться вдоволь, если фартило, то голодать, если была неперка. И когда учился в техникуме — тоже питался неровно. За четыре-пять дней до стипендии сарделек мы уже не ели, кормились разведенным сухим киселем и хлебом, и ничего ужасного в этом не видели. И теперь я заставлял себя думать, что все нынешние невзгоды ненадолго, — это до стипендии. Под стипендией я для себя подразумевал снятие блокады. Придет генерал Кулик со своей громадной армией или произойдет еще что-то хорошее — и сразу нормы подпрыгнут вверх.

Но нести караульную службу на голодное брюхо становилось все тяжелей. Морозы не спадали, и хоть, отправляясь на пост, мы надевали валенки и полушубки, но все равно на ледяном ветру тело стыло, будто голое, а пальцы на руках через десять минут становились как деревянные. Время нахождения на посту сперва сократили до часа, а потом мы стали подменять друг друга через полчаса. И все-таки некоторые обмораживали пальцы на руках.

А трактористам приходилось еще хуже. Они разравнивали и трамбовали снег на летном поле. Трактор шел, волоча за собой большой четырехугольник из бревен, тракторист сидел в открытой кабине, под ледяным ветром. Однажды заметили, что один из тракторов миновал аэродром и прет куда-то в кусты и сугробы. Когда подбежали к машине, увидели, что тракторист уже мертв.

Двадцатого ноября нам урезали хлебный паек еще на сто грамм. Теперь началась стрельба по воронам. Птицам тоже нечего было есть, и они слетались к аэродрому из всех окрестных опустевших, эвакуированных деревень. Они вились в воздухе, высматривая что-то, садились на снег недалеко от землянки, у отхожего ровика. Мы лупили по ним из своих драгунок. Иногда, может быть, оттого, что попадали сразу две или три пули в одну птицу, ворона разбрызгивалась на мелкие красные ошметки, и их приходилось собирать в котелок вместе со снегом и перьями. Начальство делало выговоры за стрельбу, но, в общем-то, смотрело на это сквозь пальцы. А помпотех все просил нас стрелять поосторожнее, чтобы мы случайно не покалечили друг друга. Но вскоре вороны куда-то исчезли.

Еще в сентябре я в одном из писем наказал Леле, чтобы она пошла ко мне домой, попросила ключ у управдома и взяла себе бутылку «Ливадии», которая спрятана на печке, Леля к управдому сходила, но ключа он не дал: откуда он знает, кто она такая, ведь мы с ней не были зарегистрированы. Мы собирались оформить в июле, а в июле уже шла война. Раньше июля Леля оформляться не хотела — это на нее нажимала тетка: та считала, что нехорошо праздновать свадьбу так скоро после смерти брата. Вообще-то и Леля, и я считали, что брак — это формальность и ничего он не прибавит и не убавит. Но, оказывается, управдом смотрел на это иначе.

Теперь я решил во что бы то ни стало отпроситься в Ленинград, чтобы добыть для Лели эту бутылку. И еще кое-чего, что лежало на печке. На этот раз меня отпустили. Помпотех сказал, что через пять дней пойдет в Ленинград машина за аккумуляторами и я могу поехать с этой машиной на сутки. Я сразу же послал Леле письмо и успел получить ответ.

Леля писала мне, что очень меня ждет, но что она, в общем-то, не голодает. Еще неделю тому назад у них дома было плохо, но теперь стало лучше благодаря Лешему, и тетя Люба теперь прямо молится за этого Лешего и его хозяина.

Сперва я ничего не мог понять, потом вспомнил, что в Лелином дворе, недалеко от их дровяного подвала, стоит сарай, в котором живет жактовский конь Леший. До войны Леля рассказывала мне, что тетя Люба очень любит лошадей и часто ходит кормить этого Лешего: носит ему посоленный хлеб, иногда поит его и засыпает корм, когда хозяин коня жактовский возчик Хусейнов находится подшофе. Значит, у Лели с ее теткой есть конина, догадался я, и у меня стало спокойнее на душе. Только удивило, как это конь так долго сумел просуществовать, ведь известно, что в городе даже кошек поели. И как это Лелина тетка добыла конину? Наверно, за очень-очень большие деньги.

* * *

Машина выехала из БАО в восьмом часу утра. Рядом с шофером уселся какой-то воентехник, а мы — трое красноармейцев из автороты и сержант Пасько — забрались в фургон. Это был просто большой ящик из фанеры, покрашенный в темно-зеленый цвет и поставленный на колеса. Внутри имелись две скамейки и два узеньких окошечка, расположенных очень высоко. Сперва ехали по неровной дороге, и несколько пустых ящиков и запаска плясали на дощатом полу; потом выбрались на шоссе, и машина побежала ровно и ходко. Где мы едем, я не знал, но скоро мне начало казаться, что вот-вот должны въехать в город. Мы успели выкурить уже по три папиросы. Ноги у меня начали мерзнуть, хоть на мне были валенки.

Машина остановилась.

— Город? — спросил я, удивляясь, что никто не встает.

— Не, это КПП, — ответил сержант Пасько. — До города еще...

В дверь постучали. Мы открыли ее и предъявили красноармейские книжки и командировочные удостоверения. «А вдруг меня задержат? — подумал я. — Вдруг что-нибудь не так оформлено?»

Проверяющий направил луч фонарика в глубь фургона, блеснула изморозь на фанерных стенках. Потом вернул документы.

Машина опять набрала ход и долго шла ровно. За окошечками понемногу светало. Начались повороты и колдобины, запаска и ящики опять запрыгали на полу. По левому окошечку скользнул отблеск пламени. Машина остановилась.

Я встал и поглядел сквозь стекло. Горел длинный пятиэтажный дом. Народу вокруг не было, никто не смотрел на пожар, и никто не тушил. Огонь, дыша тяжело и гулко, ворочался в здании, работал не торопясь, зная, что никто ему не помешает. Мы свернули направо и опять начали петлять и раскачиваться, и промерзшие переборки каркаса скрипели, будто кто-то клещами выдирает из них гвозди. Минут через десять фургон остановился.

— Гляди не опаздывай завтра! — сказал мне Пасько. — К трем не придешь — ждать не будем, тогда сам на попутках добираться.

Мы вылезли из фургона и стали разминаться, топтать одеревеневшими ногами. Стояло темное утро, низко висело серое небо — зимой таким оно бывает или в оттепель, или в очень сильные морозы. Воздух был прохвачен морозной дымкой.

— Смотри не опоздай! — повторил Пасько. — Машина здесь вот и будет стоять. Если запоздает малость — зайдешь в этот дом, в двадцать четвертую квартиру, там воентехник.

— Я не опоздаю, товарищ сержант.

Мы находились на Петроградской стороне, на улице Куйбышева. Я направился в сторону Петропавловской крепости. Мне хотелось идти побыстрей, но брала одышка, ноги немели. Давно ли я легко шагал с полной выкладкой, а сейчас поверх шинели нес только противогаз и вещмешок — и то было тяжело. А вещмешок-то сам весил больше того, что в нем. В нем был сухой паек на два дня и еще сухарь и кусок сахара — заправка.

На мостовой лежало много снега; только на самой середине улицы, там, где прежде ходили трамваи, снег был наезжен машинами. Дома казались не такими, какие они есть на самом деле, а словно недорисованными. На них всюду был снег: его не убирали с крыш, и он свисал оттуда; он, из-за того что здания насквозь промерзли, прочно лежал на карнизах, на подоконниках, на лепных украшениях; он опушал зафанеренные окна; он сливался с небом, с воздухом; из-за этого дома выглядели так, словно полностью их еще нет и они только будут. Редкие прохожие, все больше женщины, тяжело и плотно закутанные, так что лиц почти не видно было, шли очень медленно. Они брели по наезженной части мостовой — там легче было идти, чем по тропе, протоптанной на тротуаре, и легче было тянуть за собой саночки. Саночки были у многих. На некоторых стояли ведра и кастрюли, на одних салазках я увидел маленькую связку досок с диагональными следами штукатурной дранки; у некоторых саночки были пусты. Идя к Петропавловской, ни одних саночек с мертвыми я не встретил. Но позже, в этот же день, довелось видеть их не раз.

Уже совсем рассвело, когда я притопал на Васильевский остров. Было очень тихо, в тот день почти не стреляли по городу. Средний проспект уходил вдаль, в синеватый морозный туман. К туману примешивались струйки дыма от печек-временок, трубы которых выходили через форточки на улицу. Снег на людном Среднем был утоптан. На улицах, отходящих от проспекта, он кое-где лежал целиной, только у тротуаров пролегли широкие дорожки. На Сардельской линии стояли два трамвайных вагона. Рельсы лежали под сугробами, колеса прятались в снегу. Вагоны стояли, будто два красных домика с белыми крышами, построенные посреди улицы неизвестно кем и зачем. На Многособачьей линии было пустынно, никто здесь больше никаких собак не прогуливал. Обломки фасадной стены разрушенного бомбой шестиэтажного дома лежали поперек улицы уже занесенные снегом, и их огибала тропинка. Из развалин торчали погнутые взрывом двутавровые балки.

Вот и Симпатичная линия. Лелин дом стоит на месте. В подъезде на меня дохнуло слабым, едва ощутимым запахом полыни. Я заглянул в стеклянную дверь — в аптеке стояла тьма из-за заколоченных окон, но кто-то в шубе, с серым платком на голове, стоял за прилавком возле горящей керосиновой лампы. Держась за перила, я стал подниматься по темной лестнице, где почти все рамы были забиты фанерой. Лестница промерзла насквозь, на ступеньках образовались наледи из-за пролитой в потемках воды, которую теперь приходилось носить с Невы. Давно ли я взбегал по этим ступеням так легко, будто за плечами у меня был привязан невидимый воздушный шар; теперь я отдыхал на каждой площадке, будто тащил на себе мешок-невидимку, набитый булыжником.

Я постучал в дверь, и мне сразу же открыли. Открыла Лелина тетка. На ней было надето несколько кофт, и она казалась очень толстой. Но лицо худое и темное.

— Где Леля? — спросил я. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, Толя... Леля уже второй раз побежала вас встречать... Побежала — это, конечно, иносказательно. Мы теперь не бегаем, а ходим. Тихо-тихо ходим... Когда же снимут блокаду?

— Теперь, наверно, скоро. И потом, теперь продукты будут идти через Ладогу. У нас из автороты несколько машин с шоферами откомандировали на трассу...

— Дай бог! Дай бог!.. Толя, у меня конфиденциальный разговор с вами... Вы должны воздействовать на Лелю. Она раздаёт эти отруби направо и налево, Римма к нам повадилась за ними каждый день ходить... Скажите Леле, чтобы она не бросалась отрубями.

— Какими отрубями?

— Разве Леля не писала вам о них? Я ведь ей сказала: можешь Толе написать о них, чтоб он о тебе не так беспокоился, но напиши иносказательно...

— Да-да, она мне писала. Только я не так понял. Я думал, вы конину где-то достали.

— Бог мой, ну какая сейчас в Ленинграде конина! Не конина, я говорю, а отруби, отруби!

И она стала подробно рассказывать мне, что возчика Хусейнова мобилизовали в июне, и что лошадь тоже мобилизовали через военкомат, и вот недавно Хусейнов, зная, что в Ленинграде голод, прислал ей с Волховского фронта письмо и написал в нем, чтобы она взяла его дрова и полтора мешка отрубей, и что ключ от сарая лежит под дверью сарая слева... А сарай Хусейнова рядом с нашим сараем, и он в таком закоулке подвала, что никто до сих пор, к счастью, туда заглянуть не догадался. И вот они с Лелей понемножку, незаметно, перенесли все отруби домой, и из них получается отличная похлебка и лепешки. А дров оказалось совсем немного...

— Но вы скажите Леле, чтоб она не раздавала туда и сюда эти отруби. Ведь я отвечаю за Лелю, вы понимаете...

— Хорошо, я скажу ей.

Мы стояли в холодной прихожей; сквозь щели между фанерой и рамой тянуло холодом. Огонек елочной свечки, стоящей на сундуке в блюде, колыхался.

— Леля очень устает на работе? — спросил я.

— Конечно, устает. Как все... Но вы не забудьте сказать ей насчет того, о чем мы с вами говорили.

— Да, я скажу ей.

С лестницы послышались шаги, в дверь постучали. Я открыл. Леля молча обняла меня.

— Ну что ты, Лелечка, плачешь, — сказал я. — Все будет хорошо.

— Да-да-да! Незачем нам плакать! — Она сняла серую беличью шапку с длинными ушами и улыбнулась мне. — Я тебя встречала на Большом, а ты со Среднего, значит, пришел... Я очень худая? Да?

— Ты, конечно, похудела, но не так чтоб уж очень... Леля, давай сразу сходим ко мне, надо добыть эту бутылку. Ты дай мне веревочку, топор, мешок.

— А зачем топор? — с удивлением спросила она.

— Устроим у меня дома лесозаготовки — вот зачем.

— Тогда мы и санки возьмем, да?

— Да-да-да!

— Не смей меня передразнивать!.. А какие у меня сейчас глаза?

— Соленые.

— Нет, ты скажи, как тогда... и как тогда...

Откуда-то из темноты появилась тетя Люба. В руках у нее было большое решето.

— Толя, вы помните наш разговор?

— Да, помню.

Мы с Лелей приготовили все, что надо, вышли на лестницу, медленно пошли вниз. Санки гремели полозьями по ступеням. На третьем этаже дверь в одну из квартир была распахнута. Я толкнул ее ногой, но она снова открылась.

— Не надо, — сказала Леля.

— Они ж там замерзнут.

— Там никого нет... Что это тебе тетя Люба говорила? Что ты должен помнить?

— Она говорит, что ты неосторожна с этими самыми отрубями. Нельзя отдавать последнее другим, если у самих... Она говорит...

— Да-да-да! Я отлично понимаю... Но мне так жаль Римку, она такая неприспособленная.

— Ты очень приспособленная.

— Мне папа деньги присылает, мы иногда прикупаем. А у Римки ничего, только карточка.

После лестницы улица показалась очень белой. Когда мы дошли до моего дома, я первым делом отправился к управдому, он был на месте. Он без всяких разговоров выдал мне ключ от комнаты.

С саночками поднялись мы на мой этаж, и я стал стучать в дверь. Но никто не открывал. Тогда я потянул за круглую ручку, и дверь открылась. Она была не заперта. В кухне на полу валялась какая-то ветошь, в холодном воздухе стоял неприятный кисловатый запах. На двери комнатки тети Ыры висел большой замок — значит, она на работе. Из коридора тянуло дымком, видно, в квартире жили. Волоча саночки по паркету, мы пошли к моей двери.

Когда я вставил ключ в скважину, он повернулся неожиданно легко. Из дверного проема на пол коридора упал широкий белый прямоугольник света, будто кто-то простыню расстелил. В комнате было очень светло. Стекла широкого окна были прозрачны, на них неросло иней — ведь здесь давно никто не дышал. Белые изразцовые стены холодно и бесстрастно отражали свет, голубые и белые плитки пола казались такими чистыми, будто по ним никогда никто не ходил. Справа от двери, на стене, на одном изразце виднелись трещины и розоватый винный потек, а внизу валялись зеленоватые осколки. Это, конечно, от той бутылки плодоягодного, которую Костя разбил на счастье. На столе одиноко поблескивала жестяная продолговатая банка от ивасей, наша пепельница. В ней лежал только один окуроч, тоненький окуроч «Ракеты».

Моя койка была кое-как застелена. На Костиной одеяло свисало до полу, на подушке лежала пачка выгоревших газет, общая тетрадь, мятые конверты; из-под кровати торчал гриф гитары. Над тем местом, где когда-то стояла Гришкина постель, три верблюда все шли и шли через пустыню к неведомому оазису. Я подошел к картинке, поддел ее пальцем. Она легко отделилась от стены. Одну из четырех хлебных лепешечек, которыми открытка была приклеена к изразцу, я положил себе в рот, три другие дал Леле. Потом подошел к столу и придвинул его к печке.

— Мы сейчас здесь еще кое-что найдем, это только начало, — сказал я ей.

— Милый, здесь очень холодно. Здесь холоднее, чем на улице. Давай скорее уйдем отсюда.

— Леля, сейчас я все это проверну, — ответил я, ставя на стол стулья. — Куда ты торопишься?

— Не знаю. Мне здесь почему-то страшно...

— Мы скоро уйдем. Ты пока сядь и сиди. Она села на мою койку, зябко съежившись и глядя в одну точку. Взяв одеяло с Костиной постели, я накинул его Леле на голову и плечи.

— Закутал меня, как матрешку, — сказала она, но даже не улыбнулась.

Я пошел на кухню за табуреткой, но табуретки не нашел — ее, очевидно, сожгли. Тогда постучался в дверь рядом с нашей комнатой, туда, где жил старый бухгалтер, любящий тишину. Мне никто не ответил. Я нажал на медную дверную ручку и вошел. Ни одного стула, ничего подходящего. На полу валялся разный хлам: мятые белые воротнички, баночки из-под гуталина, ненабитые папиросные гильзы. На постели лежала невысокая продолговатая горка темного тряпья. Мне почудилось, что из-под нее свисает рука. В углу стояли два больших потертых чемодана. Я толкнул их ногой, они оказались легкими, пустыми. Я их взял.

Наконец-то этот горный пик будет побежден! Из стола, двух стульев и двух чемоданов я соорудил подмости возле печки. Можно лезть.

— Леля, подстраховывай меня! Сейчас мы кое-что добудем.

Она, не скинув с себя одеяла, вяло подошла; молча, не снимая варежек, взялась за ножки стула. Я осторожно залез на свое хлипкое сооружение и ухватился за край печи.

— Что там? — спросила Леля снизу. Голос ее звучал глухо и надломленно.

— Тут целый райпищеторг! — ответил я. За зубчатым бордюром из зеленоватых изразцов, покрытые слоем пыли, навалом лежали хлебные огрызки и банки из-под сгущенного молока — все Володькина работа.

Сперва я взялся за банки. Стал бросать их вниз. Они звонко падали на метлахские плитки, весело подпрыгивали, раскатывались во все стороны по комнате. Перед тем как бросить, я их осматривал. В каждой на дне лежал слой высохшей сгущенки; на внутренних стенках выпукло блестели молочные подтеки. В некоторых совсем не было пыли внутри — эти выглядели очень аппетитно. Я попробовал облизать одну такую, но сразу же порезал язык о рваные края. Во рту появился солоновато-железный привкус, но кровь сочилась еле-еле, ее было во мне не так уж много. Леля молча стояла внизу. Она учащенно дышала, будто только что взбежала сюда по лестнице, — это видно было по струйкам пара, вырывающимся из-под одеяла.

— Вот видишь, не зря мы пришли сюда, — сказал я ей. — А сейчас подай мне мешкотару, хлеб на пол не годится бросать... Не бойся, я тут крепко держусь... И, знаешь что, закрой-ка дверь на ключ. Ведь тут хлеб...

— У тебя руки, наверно, совсем окоченели? — спросила Леля, подавая мешок.

— Мерзнут, но ничего... Скоро мы поедем... Дежурный, напитай меня, ибо я изнемогаю от любви к пище, как говорит Костя.

Я начал класть в мешок хлебные огрызки. Их было много. Некоторые были словно в мышьиной шкурке, так покрыла их пыль; те, что лежали пониже, казались совсем чистыми. Кое-где на высохшем мякише виднелись оттиски Володькиных зубов. «А мы-то, охламоны, вечно ругали Володьку за эту привычку забрасывать корки на печку», — размышлял я, сдувая пыль с огрызков и кладя их в мешок.

Когда все было собрано, я, не доверяя глазам, обшарил рукой все неровности, все зазоры между кирпичами. Потом достал из заповедного места бутылку «Ливадии». Туго обтянутая старыми дырявыми носками, она была в полной целостности и сохранности.

— Держи крепко! — наказал я Леле, подавая ей бутылку. — Как хорошо, что ты тогда удержалась и не запустила ее в мою голову.

— Нет-нет-нет! — Она тихонько рассмеялась. — Это клевета. Насчет бутылки у меня ничего такого и в мыслях не было. Но какая твоя Лелька глупая: швыряться пирожными! Целая коробка...

— А я дурак, что не подобрал их тогда и не съел, — сказал я, слезая со своей вышки. — Сейчас бы я сожрал их вместе с картонкой. Когда кончится война...

— Мне иногда кажется, что она будет идти еще долго-долго. А для тех, кто убит на

войне, она уже никогда не кончится.

— Леля, лучше сейчас поменьше думать о таких вещах... Давай-ка приступим к приему пищи.

Я разобрал свое высотное сооружение, придвинул к койке стул, положил на него мешок с корками. Сев рядышком, укрыв плечи одеялом, мы стали грызть то, что припас для нас Володька. Кругом было очень тихо. За окном, за стенами, за дверью, как прозрачная, но непробиваемая броня, простиралась тишина. Сверху, из комнаты семейства парнокопытных, не доносилось ни музыки, ни танцевального топота, ни даже шагов.

— Вроде уже сыт, а все равно жрать хочется, — сказал я. — А тебе?

— То же самое. Только не «жрать», а «есть».

— Прости, Леля. Иногда я говорю грубо для того, чтобы все не казалось таким уж серьезным... Ты собирай банки в мешок, к сухарям, а я займусь дровами.

Подоткнув шинель, я принялся рубить стулья. Потом обрубил ножки и поперечные рейки у стола. Ножки были тонкие. То ли дело, если б здесь стоял настоящий письменный стол, сколько бы получилось дров! С фанерной столешницей пришлось повозиться, но одолел и ее.

— Нам и не увезти всего, — сказала Леля.

— Завтра утром сделаю вторую езду, — ответил я, открывая дверцы стенного шкафа.

На полках лежали книги, тетради, стоял жестяной чайник, четыре тарелки, несколько простоквашных стаканов; валялось всякое наше общее барахло. Съестного здесь ничего не было. Я сложил все имущество на пол и стал выламывать полки. Доски пружинили, сопротивлялись, не хотели покидать привычного места. Они будто понимали, что их ждет огонь. Кое-как я расправился с ними и остановился, чтобы отдышаться.

Теперь предстояло ломать дверцы шкафа. Я уж замахнулся топором, чтобы выбить филенку, но взглянул на надписи, разбросанные на ней, и что-то остановило меня. Как будто кто-то невидимый тихо положил мне руку на плечо. «Перечитаю все это в последний раз», — подумал я. Взгляд уперся в запись, обведенную чертой:

...Истинно вам говорю: война — сестра печали, горька вода в колодцах ее.
Враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать.
Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури... Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю эту.

— Милый, ты очень устал. Дай теперь мне топор. — Леля подошла ко мне, но топора ей не дал.

— Как это хорошо! — сказала она вдруг. — А кто это сказал? — Она ткнула варежкой в правый угол дверцы.

— Сказал не знаю кто, а записал, конечно, тот же Володька. Это его почерк. — Я прочел вслух:

«Мы стремились друг к другу, когда еще не знали друг друга, мы любим друг друга, пока мы существуем, — и будем любить друг друга, когда нас не будет».

А внизу — это Костина приписка:

«Мистика. Глупо и нерационально».

— И очень даже рационально! — сказала Леля. — Тебе не жалко ломать эту дверцу? Ведь...

— Еще бы не жалко, — ответил я и, размахнувшись топором, высадил обухом филенку. — Еще как жалко!

* * *

Мы упаковали свою добычу, плотно привязали к саням, выволокли сани на улицу. По-прежнему было тихо: ни бомбежки, ни обстрела.

— Ты привез с собой хорошую погоду, — пошутила Леля.

— Иди сзади и смотри, чтоб ничего с саней не упало, — сказал я. — Рада, что выбралась из «страшной» комнаты?

— Рада, — призналась она. — Какая-то трусиха я стала.

Мы долго втаскивали сани с их ценным грузом по Лелиной лестнице. Не так-то просто это было, но мы взяли и эту высоту. Я очень устал — и потому, что все время был голоден, и потому, что отвык от всякой работы. Последние две недели тех, кто нес в БАО караульную службу, почти не посылали в другие наряды, только изредка направляли на огнесклад. Там, в длинном и узком бараке, похожем снаружи на вагон дальнего следования, мы усаживались за длинный стол и вставляли в ленты крупнокалиберные патроны для ШКАСов — самолетных пулеметов. Если патрон плохо лез в ленту, по нему постукивали деревянным молотком — вот и вся работа.

Через переднюю мы протащили санки прямо в гостиную. Она стала теперь очень просторной и пустой, вроде жилплощади дяди Личности. Громоздкого буфета, на дверцах которого красовались резные яблоки и виноград, уже не было, и обоих книжных шкафов тоже не стало: все это сожгли. Остался диван, на нем в беспорядке лежали кое-какие уцелевшие книги. Там, где прежде стояли шкафы и буфет, видны были большие прямоугольники невыгоревших обоев; оказывается, когда-то комната была оклеена синими, а вовсе не голубыми обоями. Недорисованные холсты Любови Алексеевны висели на прежних местах, ничего им не сделалось. Одно окно было забито фанерой, в другом стекла уцелели. В гостиной стоял мороз.

— Идем в нашу двухместную каюту, — сказала Леля, зажигая огарок свечи. — Мы там теперь обе живем. Это тетя Люба так мою комнату окрестила.

Дверь Лелиной комнатки была обита клеенкой, где в синих квадратах паслись гуси и вертелись ветряные мельницы; прежде эта клеенка лежала на столе. Окно было забито потертым красным ковром. Комнатка стала очень тесной из-за второй кровати и еще из-за того, что посредине на кухонном столе стояла железная печурка. Она важно покоилась на шести коротеньких ножках, опирающихся на кирпичи. Круглая железная труба, подвешенная на проволочках, тянулась к отверстию, прорубленному в рубашке печи. С закопченного потолка свисали черные мохнатые паутинки. Они колыхались, как водоросли тихой лесной реки. В комнатке было тепло.

— Вешай шинель вот сюда, — сказала Леля. — А почему уголки не голубые? Ты писал, что голубые.

— Заставили спороть и пришить защитные... А где тетя Люба?

— Ушла на дежурство, будет завтра утром.. — Может, нарочно смылась? — спросил я. — Проявляет заботу, хочет оставить нас наедине в райской тени?.. Только сейчас даже и никаких мыслей об этом в башку не приходит.

— Милый, я давно ничего такого не хочу. Совсем об этом забыла. Да-да-да!.. Сейчас мы отогреемся в комнате, съедим по лепешке из отрубей и по корочке, а потом сходим-съездим на Неву за водой, а потом как следует протопим буржуйку, сварим обед, будем пить вино и сгущенное молоко, а потом пойдем на речку Ждановку, возьмем лодку,

выедем в залив, будем загорать и смотреть на пароходы. Только надо взять деньги, профсоюзную книжку и паспорт, а то лодку не выдадут.

— А ты не погонишь лодку прямо на пароход?.. Помнишь, как тогда?

— Нет-нет-нет! Теперь у меня никаких выходов, никаких нахлывов. Теперь твоя Лелька спокойная-спокойная, тихая-тихая...

Вечером мы сидели на Лелиной кровати возле горячей печурки. Верхний лист постепенно раскалялся, патрубок начинал светиться темно-малиновым цветом, на нем вспыхивали искорки от падающих пылинок. Из кастрюли шел вкусный пар. В трех банках из-под сгущенки вода, налитая в каждую на четверть глубины, уже закипала и становилась молоком. Я все подбрасывал в топку дощечки. Обломки филенки от стенного шкафа горели хорошо. Белая масляная краска вздувалась волдырями, волдыри лопались, и из них били синие струйки огня. «...рю вам: кто пил и ел сегодня, завтра падет под стрелами...» — прочел я на уже охваченной огнем щепке. В комнате становилось все теплей. Я расстегнул гимнастерку. Леля скинула одну кофту, потом вторую. Теперь она сидела в рабочем сереньком платье, в том самом, в котором приходила к ограде казармы.

— Надень розовые бусы, — попросил я. — Они тебе очень идут.

— Хорошо, дорогой, они тут недалеко. Но прежде они лучше сидели, а сейчас у меня шея стала слишком лебединая... Только ты не подкладывай сразу так много дров, а то загорится кошкин дом. И курила с ведром не прибежит.

— Не беспокойся, я старый кочегар. Почему это у тебя зеркало занавешено?

— Это все тетя Люба. Она говорит: «Откроем, когда кончится война. Сейчас грех перед зеркалом вертеться, когда люди гибнут...» Но я иногда смотрюсь, только все реже и реже.

— Леля, давай выпьем за нашу встречу.

— И за будущее. Пусть все-все-все будет хорошо!

— Так оно и будет, — заявил я, чокаясь с ней почти полным стаканом. — Мы еще покатаемся на лодках и позагораем. Мы даже заведем свой швертбот.

Вино было вкусное, куда вкуснее и крепче плодоягодного. Но оно не пьянило. Я сказал об этом Леле.

— Я тоже совсем трезвая, даже обидно... Выпьем еще немножко, а остальное оставим тете Любе. И Римме немножко оставим. И пора нам обедать, вернее — ужинать.

— Обедоужинать — так еще вернее.

Леля достала из кухонного стола тарелки и стала разливать дымящуюся похлебку. Я заметил, что мне она налила погуще, со дна.

— Так не годится, — сказал я. — Дай-ка мне разводящего.

— Какого разводящего?

— Так у нас поварешку называют... Я сейчас произведу уравниловку.

Леля старалась есть неторопливо, будто в мирное время. В ней не было голодной жадности и униженности. А может быть, она не дошла еще до той последней черты, когда ничего, кроме еды, уже не имеет значения.

— Вот мы и пообедали, — сказала она. — Ты хочешь спать? Раздеваться мы не будем, к утру комната так выстывает, что из-под одеяла страшно высунуться... Вот тебе коврик с водой, вот тебе свечка, вот тебе полотенце, иди на кухню, ведро там в углу.

Вернувшись из кухни, я сел на постель, снял валенки, закурил. Здесь было удивительно тепло и уютно. Леля, стоя возле печурки, возилась с посудой. Свечка горела чисто и ровно, в топке мирно светились угольки.

— Ты ложись, как тебе удобнее, — сказала Леля. — Я сейчас тарелки вымою. Хотя они и так очень чистые. Мы с тобой прямо кошечки-судомоечки.

Накурившись вдоволь, я бросил окурочек в печурку. Потом вытянулся на постели. Как тут мягко! Тело лежит словно на теплой воде, а голова тонет в подушке, как в небесном облаке. Сейчас я прямо бог! Как это хорошо! Когда кончится война, буду спать — будем спать — на мягких постелях, вот на таких... На потолке закачались черные водоросли. Меня качнуло, мягко, осторожно понесло куда-то тихое течение. Потом сверху стало слоями

опускаться что-то тяжелое. Я вздрогнул, меня словно подбросило.

— Не бойся, дорогой, — услышал я голос Лели. — Это я одеяло и пальто положила. А то к утру мы замерзнем, ты и представить себе не можешь, как эта комната выстывает.

Она легла рядом в своем сером платье и даже бус не сняла. Мы обняли друг друга и сразу заснули.

* * *

Вышли из дому за полтора часа до назначенного мне срока. Опаздывать было нельзя. Если фургон уйдет без меня, придется голосовать, а если попутка не подберет — шагать до аэродрома пешком. А я мог и не дойти, плохой стал из меня ходок. И еще я боялся просрочить командировку. К стенке за это не поставят, но в Ленинград больше не пустят.

Мы тихо шли по Среднему мимо переименованных и не переименованных мною линий. С голубовато-серого, почти ясного неба сыпался мелкий и редкий снег. Было очень морозно.

— Вот наш Кошкин переулок, — сказала Леля. — Весь в снегу...

— Леленька, иди домой, а то совсем застынешь. И обстрел может опять начаться, сегодня они с утра лупят.

— Нет-нет-нет! Сейчас тихо. Я провожу до Тучкова.

— Но это уж честно, да?

— Честно-пречестно. Дальше не пойду.

Мы свернули на совсем безлюдную Первую линию, дошли до моста. Леля тронула варежкой заиндеветшие деревянные перила:

— Вот Тучков мост. Обними меня, а потом иди и не оглядывайся. Оглядываться — дурная примета.

— Леля, не плачь. Потом все будет хорошо...

— Да-да-да! Все будет хорошо. Теперь иди.

Я ступил на мост. В такт шагам под слежавшимся, смерзшимся снегом поскрипывали промерзшие доски настила. Сделав шагов сто, я все-таки оглянулся. Леля стояла возле переулочка, что у больницы Веры Слуцкой, и смотрела в мою сторону. Я помахал ей рукой и ускорил шаг.

33. Ушла и не вернулась

1942 год я встретил на посту. Шагал возле навеса, под которым стояли грузовики и трактора. Пятьдесят восемь шагов — пятьдесят восемь обратно. К концу дежурства тропинка стала длинней: теперь получалось шестьдесят два шага. Снег скрипел под валенками весело, новогодне. Но это был праздник снега, а не мой. Прошлые праздничные радости казались такими далекими, что в них уже и не верилось. Нет, лучше вспоминать будни. «А ну, подкинем-ка по десять палок!» — слышу я голос старшего кочегара Степанова. «Кочегар на горне — что капитан на корабле...» Как хорошо было в горновом цеху! Какое ровное сухое тепло обволакивало тебя там!..

Иногда я останавливался, чтобы отдохнуть. Сразу же наступала тишина. В этой мерзлой тишине из-под навеса становились слышны тихие стуки, короткие вздрагиванья: это зяб металл. Я опять начинал вышагивать. Стоять нельзя, замерзнешь. Тем более нельзя ни на что присаживаться. На днях красноармеец Алапаев замерз на посту, вот на этом самом. Он присел на подножку ЗИСа, уснул и не проснулся. Меня и еще шестерых назначили в похоронный наряд, и мы долбили промерзшую землю в леске возле дороги. Могила получилась совсем мелкая, на глубокую не хватило сил, хоть работали в три лома и в четыре лопаты.

Надо ходить-пошагивать.

Впереди — просторное, отглаженное ветром нехоженое снежное поле, за ним торчат из сугробов колья с колючей проволокой, которой сейчас не видно; дальше — кустарник, а еще дальше — небо. Иногда в небе вспыхивают красноватые зарницы. Где-то справа, может быть над Васильевским островом, набухает вишнево-дымный свет, он ширится, ползет по горизонту: опять что-то горит. Но небо сторожат летчики, мне положено смотреть не на небо, а на землю. Если кого-нибудь увижу на поле — надо стрелять. Кто бы там ни был и что бы там ни было (кроме разводящего и карнача) — неизвестный человек, лошадь, сосед по нарам, корова, старшина, танк, родной отец, лось, самолет с неизвестными опознавательными знаками, сестра, брат, парашютист, невеста, жена, — надо стрелять... Ну, в Лелю я стрелять бы не стал. Да она и не может здесь появиться, она сейчас ухаживает за тетей Любой: та слегла. Письма от Лели приходят нежные и спокойные, но я знаю, чего ей стоит это спокойствие.

Скоро меня сменят и пойду спать.

Я теперь сплю у самой печки. Меня отделяли от нее два человека, но одного откомандировали на Ладожскую ледяную дорогу, он шофер; второй — в госпитале. Он все пил кипяток с солью, даже в зеленоватый хвойный настой, который дают пить, чтобы не было цинги, он добавлял соль. Печка днем и ночью теплая. Топливо есть. Вернее, его вроде бы и нет вокруг землянки, но каждый ухитряется принести то какую-то доску, то штакетину от изгороди, то еще что-то. Недалеко на взгорье стоит несколько покинутых домиков, к которым запрещено подходить, но от них скоро останутся одни голые бревенчатые стены. А потом и до стен очередь дойдет.

Наше начальство старается не очень гонять нас в наряды; сторожевые посты с некоторых второстепенных объектов сняты и заменены патрулированием. Времени для сна теперь больше. Но засыпать на голодное брюхо трудно. Тракторист Бабинко принес кирпич и, ложась на нары, подкладывает его под живот; он говорит, что когда кишки стиснуты, не так хочется жрать и легче спится. Я тоже попробовал спать на животе, подкладывая противогазную сумку, но ничего не получается: не улежать; я ворочаюсь, почесываюсь: у меня завелись «друзья», так мы называем вшей. У трактористов и шоферов их почти нет: «друзья» не любят запаха бензина и солярки.

Засыпаешь не сразу, но, уж когда засыпаешь, сразу вдавливаешься в сон, как в мягкую, разрыхленную теплую землю. Однако спишь недолго. Начинают сниться сны, иногда очень красивые и странные, — и вдруг просыпаешься из-за того, что переполнен мочевой пузырь. Это тоже от голода. Мы, кажется, выливаем из себя больше, чем вливаем. Некоторые выбегают за ночь по восемь, а то и по двенадцать раз. Иногда в темном тамбуре сталкиваются несколько человек, тычутся в стены, натыкаются друг на друга и не могут сразу найти выхода из-за того, что при дистрофии теряется чувство ориентировки.

Я возвращаюсь на свое место у печки, скидываю с плеч шинель и засыпаю до очередного пробуждения. Но иногда засыпаю не сразу. Мне все чаще начинает мерещиться, что там, в нашей изразцово-кафельной комнате, на печке лежит непочатая банка сгущенного молока. Володька по ошибке забросил ее туда, а я просмотрел ее, когда лазил за пустыми банками и хлебными корками. Она лежит под карнизом, с левой стороны. По-моему, я даже видел ее, но почему-то позабыл взять. Я начинаю строить планы, как добыть эту банку и что последует после этого. С этой-то банки все пойдет по-другому, по-хорошему. Банка эта — только начало, только рычаг, с помощью которого я переверну мир. В моем сознании возникают стройные, беспрюигрышные логические схемы, следуя которым, я достану много жратвы. Но все должно начаться с этой банки. Надо отпроситься в Ленинград, однако так хитро отпроситься, чтобы никто из начальства не знал, что я еду за этой банкой. Если узнают, то меня нарочно пошлют во внеочередной наряд, а сами поедут вместо меня, сделают обыск в комнате и возьмут банку. Никто не должен знать!

Но логика тут же изменяет мне. Сосед по нарам, Тальников, только что вернулся из наряда, он еще не спит. Я поворачиваюсь к нему и говорю, что он должен помочь мне уговорить старшину и ротного срочно отпустить меня в город. Попутно я выбалтываю, для

чего мне нужна эта поездка.

— Спи ты, не бредь! — сердито шепчет мне Тальников. — Это тебе чудится только, это голодная кровь в тебе ходит.

Мне вдруг становится ясно, что никакой банки на печке нет и быть не может. Я засыпаю. Но на другой день этот мираж опять морочит мне голову. Я стою на посту у склада ГСМ и все время думаю о банке, о том, как ее добыть, и о том, что сулит мне эта банка. Хожу-похаживаю, все вижу, все слышу, к складу никого не подпущу — а где-то там, в подвале сознания, перекачивается банка, манит своей бело-синей этикеткой, сверкает жестяным донцем, ждет не дождется консервного ножа.

Надо нести службу. Военский порядок существует несмотря ни на что, и на нем-то все и держится. Он выгоняет нас из теплой землянки в наряды и на посты, на лютый холод этой зимы — но он же придает смысл нашему трудному существованию и заставляет нас сопротивляться смерти.

В конце января у меня заболело горло, стало трудно глотать. Теперь даже тот скудный паек, что нам давали, съедал с трудом. В санчасть обращаться я не хотел: ребята говорили, что там очень холодно; если оставят там на лечение, то окочуришься. Лучше уж перетерпеть в теплой землянке. Я попросил старшину дать мне отлежаться, и меня два дня не посылали в наряды. Потом, когда начался жар и озноб, меня все-таки отвели в санчасть. Там продержали сутки, а затем отвезли в госпиталь; он находился километрах в семи от аэродрома. Из санчасти я успел написать Леле коротенькое письмо, в нем сообщил ей о том, что меня будто бы посылают на две недели в командировку на Ледовую дорогу. Я не хотел, чтобы она знала о госпитале. Так она будет меньше обо мне беспокоиться и не будет удивляться, что нет писем.

Госпиталь помещался в бывшем доме отдыха, в длинном двухэтажном деревянном здании с высоким каменным фундаментом. Меня поместили в большую двухсветную палату, где лежало много народу, потом сделали операцию по поводу флегмоны и перевели в другую палату, которую я помню смутно. Чувствовал я себя плохо, а иногда просто никак не чувствовал себя, лежал в забытьи. Флегмона — болезнь не шибко опасная, да и операция прошла нормально, но у меня началась, как мне потом объяснили, третья степень дистрофии.

По ночам мне снились всякие вкусные блюда и — неизменно — банка сгущенного молока, которую я будто бы открываю консервным ножом. Но когда просыпался, наяву есть мне уже не хотелось, будто я досыта наелся во сне.

Вскоре меня перевели в третью по счету палату. В ней часто умирали. Койку умирающего сестричка заслоняла ширмочкой, потом приходили санитары и уносили тело. Некоторые умирали — как засыпали, некоторые перед смертью стонали и звали матерей или родных, — будто тащили на плечах что-то очень тяжелое и просили помочь. Однажды внесли в палату двух солдат, которые нашли где-то мешок алебаstra, часть его развели в воде и съели эту алебастровую кашу. Они умирали очень тяжело.

То, что рядом со мной мрут люди, меня не пугало и не удивляло, будто это так и надо. Я словно одеревенел. Мыслей о том, что и я могу отправиться на тот свет, у меня не было. Я просто не думал об этом.

Потом все переменялось. Однажды мне дали выпить большую рюмку коньяка, а на закуску — дольку шоколада. Может, коньяк тут и ни при чем, а просто это совпало с уже наметившимся в организме поворотом к лучшему, но только с тех пор дело пошло на поправку. Я почувствовал, что выхожу из пике.

Меня опять перевели в новую палату, где никто не умирал, а все только и говорили о еде. Теперь я все время хотел есть — и во сне, и наяву. Я жил от завтрака до обеда и от обеда до ужина. К этому времени нормы питания повысили, а потом еще раз повысили; к тому же стали приходить из тыла посылки; их вскрывали и распределяли между больными.

Однажды мне и соседу по койке Копухову, который тоже был из БАО, завезли посылку из нашей части, но велели, чтобы мы ее съели не сразу. Мы разделили махорку, печенье из ржаной муки, несколько вкрутую сваренных яиц, а большой кусок вареного мяса,

завернутый в холщовое полотенце, спрятали в тумбочку до утра. Ночью Копухов разбудил меня и сказал, что мясо надо съесть немедленно, а не то завтра нас снимут с довольствия, так как мы имеем запасы. Только есть мясо надо не в палате, потому что может войти дежурная сестра. Надо выйти в сад, он знает туда дорогу.

Мы накинули халаты. Копухов пошел впереди, я последовал за ним, неся под халатом мясо. Крадучись, спустились мы по деревянной лестнице на первый этаж, прошли через банно-душевое помещение, свернули в коридорчик. Копухов открыл низенькую дверь, и мы вошли в темный холодный подвал. Я немного отстал от своего ведущего и начал левой рукой искать стену. Стены не было, а торчали какие-то не то доски, не то колья, лежащие горизонтально.

— Держись за меня, — сказал Копухов. — Тут покойники складены. — И на ходу объяснил, что в самый голод и холод у медперсонала не было сил хоронить умерших, и они до поры сложили их здесь в штабеля.

Мы вышли в сад и по протоптанной в сугробах тропке побежали к музыкальной ротонде. Встав на ступеньку, начали поочередно откусывать от куска мяса. Стояла морозная, лунная февральская ночь. Нас пробирал холод, ноги в больничных тапочках стыли, и каждый, как журавль, стоял то на одной, то на другой ноге. Копухов громко чавкал, его чавканье отдавалось из музыкальной раковины шипящим эхом. Наверно, сейчас и я ел не тише его, только за собой этого не замечаешь. В детдоме нас учили прилично есть, и это привилось, но здесь, наверно, и я чавкал.

Мне вдруг почудилось, что я лежу в палате и сплю, а здесь меня нет, это все мне снится. И этот сад, где на снегу, как черные доски, лежат тени деревьев, и эта ротонда, и Копухов... А что, если я умер?

Мы вернулись в палату, легли и уснули, а ночью у нас схватило животы и поднялась температура. Утром дежурный врач приказал сестричке строже следить за больными, которые подвержены голодным психозам.

Мы быстро выздоровели после этого ночного пира, но даже когда мы маялись брюхом, мы только и думали о еде, съедали все и норовили выпросить у санитарки вторые порции. То, чего не могли съесть сразу, мы тайком прятали в тумбочке, чтобы съесть ночью. Потом начали входить в норму, стали спокойнее относиться к пище. Сейчас вспоминать эти голодные дни не очень-то приятно, да и не легко. Память сопротивляется. Она помнит все, но такие воспоминания хранит за семью замками, в глубине; она капсулирует их, обволакивает другими воспоминаниями, более легкими и светлыми. Но надо вспоминать все. Пусть это ляжет на бумагу, и пусть кто-то это прочтет. А я постараюсь забыть. Вернее, не забыть, потому что совсем забыть нельзя, а опять вернуть это памяти на глубинное хранение.

* * *

В марте я послал Леле длинное письмо. Написал о том, что ни в какую командировку не ездил, что нахожусь в госпитале, что состояние у меня было неважное, что одно время я даже немножко запсиховал, но теперь все в порядке, и скоро меня выпишут...

Я ждал ответа на четвертый день, но через два дня меня перевели в батальон выздоравливающих. Он находился в Ленинграде, на Выборгской стороне. Отсюда я сразу же написал Леле. Но прошло два, три, четыре дня, а ответа все нет и нет. На душе было беспокойно, но сильного страха за Лелю я не испытывал. В те дни шла большая эвакуация, и я подумывал, что Леля, быть может, уехала на Большую землю, к отцу. Он ведь не в армии, он какой-то ответственный геолог, работает в Сибири.

С утра нас разбивали на команды, и мы отправлялись работать на разные улицы. Мы скалывали лед с мостовой, разбирали завалы. В те дни началась уборка города; его, как могли, приводили в порядок к весне, чтоб не возникли эпидемии. Работали мы не много, с частыми перекурами, но в остальном порядки были строгие, увольнительных почти что не

давали. На пятый день я все-таки выпросил себе увольнительную до восьми вечера — под тем предлогом, что достану граммофонных иголок: в клубной комнате имелся патефон, но иглы совсем затупились.

В этот воскресный день началась с утра недолгая оттепель. Когда я ступил на Сампсониевский мост, над Невой стоял легкий туман. Отсыревшие стены зданий на другом берегу казались темными, почти черными. Пахло сырým снегом и древесным дымом. Почти такая же погода стояла, когда я шагал по дороге в Амушево, еще не зная, что есть на свете Леля, не зная, что жизнь моя готова перемениться, что все завтра пойдет по-новому. Я вспомнил, как вошел тогда в библиотеку, как там пахло жженым сахаром, как в читальню неторопливо вошла девушка в синем халате...

— Увалень толстомордый! Надо смотреть, куда идешь! — укоризненно, но без злости сказала женщина, скальвавшая лед с тротуара. Оказывается, задумавшись, на ходу, я наступил на пирамиду ледяных осколков, которые она уложила на фанерный лист. Я нагнулся, помог ей сложить ледяшки обратно на фанеру и пошел дальше.

Я обрадовался, что женщина обозвала меня толстомордым. Значит, я действительно вышел из пике. Правда, полнота эта не совсем здоровая, последиistroфическая, и ноги я свои ощущаю как-то странно — они не то какие-то ватные, не то совсем чужие, — но все-таки я живой, я иду по Ленинграду, я скоро увижу Лелю, если только она не на работе и не эвакуировалась.

А вдруг там, на Большой земле, она постепенно забудет меня и полюбит другого? Ведь говорил же мне Костя не раз: «Чухна, она не для тебя. Когда-нибудь она уйдет и не вернется». Ну что ж, значит, это судьба. Шикзаль, как говорит тетя Люба. Нет, я не возненавижу Лелю за это, она по-прежнему будет самой лучшей на свете. Но только пусть она будет с другим счастлива, пусть она не нарвется на какого-нибудь прохвоста, она очень доверчивая и совсем не знает, какие сволочи есть на земле... А я буду помнить ее всю жизнь. Говорят, из батальона выздоравливающих посылают в пехоту, а пехота долго не живет. Ну что же, довольно летной практики, пора и на войну, мистер Чухна.

Я изрядно устал, пока дошел до Тучкова моста. Но теперь недалеко. Сойду с моста — и начнется родной Васильевский... Здесь мы в декабре расстались с Лелей. Здесь она дотронулась варежкой до перил и сказала: «Вот Тучков мост». Когда кончится война, мы через этот мост пойдем к Ждановке на лодочную станцию, и я в этом месте дотронуся рукой до теплых, нагретых летним солнцем деревянных зеленых перил и скажу: «Вот Тучков мост. Ты помнишь, Леля?..» Она улыбнется и скажет: «Да-да-да! Я помню!» Это, конечно, если буду жив.

Вот дом, где живет Леля. Он в полном порядке, пробоин нет. Правда, окна заколочены фанерой, но это уже давно, тут уж ничего не поделаешь. Я стал взбираться по лестнице. Она оказалась не такой скользкой, как в прошлый раз; лед, наросший на ступени, теперь густо посыпан золой. Я довольно быстро добрался до верхней площадки.

Осторожно постучал в дверь и стал ждать. Но никто не торопился впустить меня в прихожую. Было тихо. Я постучался сильнее и приложился к двери щекой. Сквозь шапку-ушанку ничего не слышно. Развязав тесемки, я приник к двери голым ухом. Дверь очень холодная. В квартире слышна тишина. Я принялся колотить в дверь изо всей силы.

Тогда открылась дверь квартиры напротив. Вышла женщина в серой беличьей шубе, в толстом сером платке.

— Вы зря стучите, — сказала она. — Любовь Алексеевна три недели как в стационаре.

— А Леля? — спросил я. — А где Леля?

— Лели нет, — ответила женщина. — Уже дней... — она прищурила глаза, припоминая. — Уже недели две.

— Леля эвакуировалась, да?

— Лели нет, — повторила она. — Леля при обстреле убита.

Женщина притворила за собой дверь и стала говорить мне, что Леля с Риммой из девятнадцатой квартиры пошли в тот день на Неву за водой, и начался обстрел. Их убило

первым же снарядам...

— Нет ли у вас хлеба? Я, конечно, вам заплачу.

— Вот, нате, — я вынул из противогазной сумки кусок хлеба и протянул ей.

— Сейчас я вам вынесу... — она открыла дверь.

— Нет, не надо... Вы не знаете, где похоронили?

— Теперь никто не знает, где кого хоронят, — ответила она. Потом повторила: — Теперь никто не знает, никто... Ну, спасибо вам большое.

Она вернулась в свою квартиру, а я еще постоял перед Лелиной дверью. Потом начал спускаться. Костя как-то сказал, что у меня плохая теплопроводность, как у кирпича, — все до меня очень медленно доходит. И теперь до меня доходило очень медленно. Я понимал, что все так оно и есть, а поверить сразу в это не мог.

Может быть, и сейчас, через двадцать четыре года, это еще не совсем дошло до меня.

34. Окончание

Из батальона выздоравливающих я попал в пехотный полк, который держал оборону правее Белоострова. Летом сорок третьего меня направили из части в Ленинград, в школу младших лейтенантов. Казарма помещалась на окраине, но теперь опять ходили трамваи, и по воскресеньям, получив увольнительную, я ехал в город. Первым делом заходил домой — занести тете Ёре чего-нибудь съестного. Потом направлялся на Симпатичную линию, тихо проходил мимо Лелиного дома. По лестнице не поднимался: не к кому. Лели нет на свете, а тетя Люба эвакуировалась на Большую землю еще в апреле сорок второго.

Но однажды, когда я поравнялся с домом, начался обстрел района, и дежурные загнали меня в подъезд. Теперь уже не по своей воле очутился я на знакомой лестнице. Я и те несколько прохожих, которых загнали вместе со мной, и те, которых на время обстрела выставили из аптеки, стояли и ждали отбоя на той самой площадке, где когда-то в незапамятные времена разбилась «соблазненная» девушка и где когда-то шлепнулась на плитки коробка с пирожными от «бывшего Лора».

Сквозь зафанеренные окна лестницы слышался грохот разрывов. Снаряды рвались где-то на соседней улице или даже в ближних дворах. Мы стояли и нервно молчали. Каждый старался не шуметь, не шевелиться — каждый слушал и соображал: приближаются или отдаляются разрывы. И вот, в промежутке между двумя ударами, мне послышались Лелины шаги, откуда-то с третьего или четвертого этажа. Будто это она там поднимается по лестнице. Может быть, она жива? — мелькнуло у меня. Я сорвался с места и побежал вверх. На лестнице никого не было. Но когда я добежал до пятого этажа, мне снова послышались ее шаги, а потом будто бы хлопнула дверь на шестом этаже.

Я взбежал выше и стал колотить кулаками по Лелиной двери и по жестяной кружке для писем. Потом опомнился, понял, что просто психанул. Надо скорее уходить отсюда, а то я здесь совсем свихнусь. Стал спускаться, но, когда дошел до площадки четвертого этажа, меня будто кто-то ударил по поджилкам. Ступеньки вздрогнули под ногами, раздался резкий оглушающий грохот, внизу сразу стало светло — это взрывной волной высадило из лестничных окон фанеру.

Когда я спустился на площадку перед аптекой, там разило тротилевым дымом и горячим железом, в воздухе густо висела известковая пыль. Снаряд разорвался в самых дверях парадной. Из аптеки слышались крики и плач — туда втащили раненых. Женщина в синем платье, которая стояла справа от меня, переживая обстрел, и мужчина в железнодорожной форме, который стоял от меня слева, неподвижно лежали на плитках пола.

Ко мне подошла дежурная и сказала, чтобы я шел в аптеку. Я не понял зачем. Потом увидел, что с рук у меня течет кровь. Это я исколотил их о дверь и о кружку для писем. С такими царапинами стыдно было идти на перевязку, когда тут же рядом лежат убитые и когда перевязывают раненых. Дождавшись отбоя, я пошел на свою линию, домой. Тетя Ёра обмыла мне руки кипяченой водой и смазала коллодием, потом дала выпить полстакана

водки. Она ни о чем не стала меня расспрашивать, а мне не хотелось рассказывать, где это я искровенил руки.

В следующее воскресенье я не поехал на Васильевский. Сойдя с трамвая на Невском, я побрел вдоль канала Грибоедова, по четной стороне. Чем дальше я шел, тем тише и малолюднее становилась набережная. Многие умерли, многие эвакуировались; никогда город не был таким безлюдным, как в то лето. Начавшийся было утром обстрел давно прекратился, и лежала такая тишина, будто настал вечный мир. Там, где канал делает поворот, я остановился, прислонился к решетке. Вода в канале текла совсем чистая, как в лесной речке; над нею толклись мелкие комарики. Мальки, будто серебряные иголки, сновали над зелеными водорослями; подплыв стайкой к замшелой гранитной стенке, они делали поворот все вдруг и уходили в глубину.

Все кругом было очень странно, вроде как во сне. Издали, далеко позади меня, слышались шаги двух прохожих, а впереди, по ту и по эту сторону канала, — ни души. Стоял не солнечный, но светлый августовский день, а мне на миг почудилось: это белая ночь. Если б Леля была рядом со мной, я сказал бы ей об этом и она сразу бы поняла. «Да-да-да. Это белая ночь, — серьезно и тихо ответила бы она. — Второй такой белой ночи не будет в этом городе никогда, никогда, никогда...»

Я ушел с канала, сел на Сенной площади на трамвай и поехал в сторону техникума. Давно я там не был.

На здание техникума упала пятисотка, а может быть, и тонная. Среди развалин высились две стены с отслаивающейся масляной краской. Из щебня торчали погнутые взрывом ржавые двутавры перекрытий. На кирпичных обломках, на мусорных осыпях уже всюду росла сорная трава. Подойдя к уцелевшей правой стене, я спустился к железной двери бомбоубежища, заглянув в подвал. Там неподвижно стояла густая черная вода, пахло тинной и тлением. В зарослях крапивы возле другой стены я заметил несколько осколков стекла телесного цвета — все, что осталось от Голой Маши. «Надо поскорее уходить отсюда, — подумал я. — Здесь тоже мало радости».

До вечера было далеко, и я решил зайти к Люсенде и Веранде, благо их дом близко от техникума. Интересно, в городе ли они?

Дверь мне открыла Люсенда. Она открыла, не спрашивая кто, и, увидев меня, побледнела. На ней было платье «день и ночь», волосы причесаны гладко — почти такая же Люсенда, как до войны, только глаза грустнее.

— Ты... — сказала она. — Ты...

— Я. А что? Ты недовольна, что пришел?

— Я рада... Я думала...

— Знаю, что ты думала. Это, конечно, еще может случиться. Но пока жив и здоров.

— Идем, идем ко мне в комнату, — заторопилась она. — Я тебе так рада, что ты даже не знаешь как!

В комнате по-прежнему было очень пусто. Возле двери на гвоздиках висели два одинаковых серых пальто. Они сразу бросились мне в глаза.

— У меня всего по двое, — сказала она, перехватив мой взгляд. — Два пальто, два выходных платья, две пары туфель... Всего по двое, а я одна. Сестренки нет.

— Когда это случилось? — спросил я.

— В прошлом году, в феврале.

— Леля тоже в феврале в прошлом году, — сказал я.

Потом начал рассказывать Люсенде все, что пережил за это время. Она слушала молча. Если б она начала меня утешать, начала бы говорить, как говорят в таких случаях, что, мол, все перемелется, — я бы просто повернулся и ушел. Но она слушала молча. Потом тихо заплакала. И тогда утешительные слова стал говорить я. И еще я сказал ей, что мне стыдно: взвалил на нее новое горе, будто у нее своего мало.

— Но ведь мы друзья, — ответила она. — Так и должно быть между друзьями... Сейчас мне пора на работу, а ты не забывай меня и заходи, когда можешь. А если будешь

далеко — пиши. И скажи мне, когда кончится война?

— Не знаю, когда она кончится, — сказал я. — Чем кончится — знаю, а когда кончится — никто не знает.

* * *

Осенью 1945 года я по демобилизации вернулся в Ленинград в звании старшего лейтенанта с тремя орденами и двумя нашивками за ранения. Через несколько дней после получения паспорта я расписался с Люсей в загсе. С того дня прошло много лет. Мы живем дружно. У нас взрослые сын и дочь. В позапрошлом году мы переехали в новую отдельную квартиру, в новый дом, расположенный в новом районе. Это на самой окраине города, но близко к Люсиному и к моему месту работы. И это очень далеко от Васильевского острова.

Иногда по выходным я встаю раньше всех в квартире. Тихо завтракаю, тихо надеваю лучший костюм, тихо выхожу на лестницу. Люсенда знает, куда я собрался, но ни о чем не спрашивает. Она настоящий друг, она не ревнует к прошлому. А если и ревнует — никогда этого не покажет.

Трамвай везет меня долго-долго. Я схожу у стадиона Ленина и иду через мост. Он теперь не деревянный, а бетонный, и настил не дощатый, а асфальтовый, и нет больше тех темно-зеленых перил, которых коснулась варежкой Леля при последней нашей разлуке, сказав: «Вот Тучков мост».

Опять я на своем Васильевском острове.

Я начинаю бродить по проспектам и линиям, переименованным мною и непереименованным. Вот Кошкин переулок — это Леля присвоила ему такое наименование; он все такой же узкий, и такие же невзрачно-уютные в нем дома. Вот Четвертая линия. Здесь Леля бросила на булыжную мостовую флакон «Камелии». Теперь улица залита асфальтом, но мне чудится, что сквозь асфальт пробивается слабый-слабый цветочно-спиртовой запах. А вот Приятная улица. Вот роддом имени Видемана, где родилась Леля. Вот Пивная линия, но уже нет той пивнушки, в которую мы — Костя, Гришка, Володька и я — иногда заглядывали. А Похоронную линию надо бы переименовать: хоть она по-прежнему ведет к кладбищу, но на Смоленском давным-давно не хоронят, ворота его открыты только для живых.

Я выхожу на Большой, на проспект Замечательных Недоступных Девушек. Потом сворачиваю на ту линию, где стоит мой дом. Он теперь покрашен в светло-желтый цвет. Интересно, кто живет в нашей кафельно-изразцовой комнате? Ведь кто-нибудь да живет там. Но теперь это трудно узнать. Знакомых там нет, тетя Ыра давно обменялась. В прошлый Костин приезд мы с ним подвыпили, поехали на Васильевский и хотели было зайти в наше прежнее жилье. Уже дошли до площадки, и тут Костя заявил:

— Чухна, а зачем это? Давай будем думать, что в той комнате обитаем мы. Все четверо, как прежде. Ведь если считать, что время не просто промежуток между двумя событиями, а субстанция, то все существовавшее в прошлом так же реально, как и все существующее в настоящем

Костя остался работать в Челябинске. Он прочно женат, у него тоже взрослые дети, но душевно он мало изменился. Мне даже кажется, что он по-прежнему лелеет мечту о прозрачной жизни, только никому не говорит об этом. Почти каждый год, во время отпуска, он приезжает в Ленинград и останавливается у меня. К его приезду Люся запасает «Волжского» — как теперь называется плодоягодное вино. Первый стакан мы пьем молча — за отсутствующих. После второго Костя говорит:

— Люсенда, поставь что-нибудь довоенное-несовременное.

Люся долго выбирает в шкафчике пластинку, потом ставит ее на радиолу. Пластинка шипит и не помнит, что на ней записано. Потом, под уколами корундовой иглы, начинает что-то припоминать. Чем ближе к концу, тем яснее можно расслышать слова:

Не опаздывай в строй, наш боец молодой,
Береги ты родные края,
А вернешься домой — и станцует с тобой
Гордая любовь твоя.

Костя закуривает «Шипку» и неожиданно высказывается:

— И не такие уж мы старые! Если начнется какая-нибудь военная заваруха, мы еще пригодимся как боевые единицы. Детдомовцы не подведут! Верно, Чухна?

— Верно, Синявый!

* * *

Я возвращаюсь на Большой и с него сворачиваю на Симпатичную линию. Лелин дом — на месте. Вхожу в парадную. Из-под дверей аптеки тянет горьковатым полынным сквозняком. По лестнице подниматься нет смысла: в Лелиной квартире давно живут чужие люди. Но не хочется сразу уходить из этого дома. У меня есть законный повод задержаться — сердце последние два года пошаливает; я захожу в аптеку и спрашиваю таблетки валидола. Потом выхожу на площадку и прислушиваюсь. Но шагов не слышно.

И опять иду бродить по василеостровским линиям и проспектам.

От того, что я не видел, как ее убило, и даже не знаю, где она похоронена, я не могу представить ее себе мертвой, я помню ее только живую. Она живет в моей памяти, и когда меня не станет, ее не станет вместе со мной. Мы умрем в один и тот же миг, будто убитые одной молнией.

И в этот миг для нас кончится война.

1963-1968